

HISTORY

1 | 2022



HISTORY

1 | 2022



РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Александр Каменский
Москва, Россия

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО
РЕДАКТОРА**

Леонид Горизонтов
Москва, Россия

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
Олег Морозов
Москва, Россия

РЕДАКТОР
Анна Комзолова
Москва, Россия

ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ

Евгений Акельев
Москва, Россия

Олег Будницкий
Москва, Россия

Динара Гагарина
Пермь, Россия

Александр Мещеряков
Москва, Россия

Александр Семёнов
Санкт-Петербург, Россия

Пётр Стефанович
Москва, Россия

Игорь Федюкин
Москва, Россия

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Владимир Аракчеев
Москва, Россия

Михаил Бойцов
Москва, Россия

Дмитрий Бондаренко
Москва, Россия

Роланд Венцлхьюмер
Мюнхен, ФРГ

Иероним Граля
Варшава, Польша

Майкл Дэвид-Фокс
Вашингтон, США

Аскольд Иванчик
Москва, Россия

Нэнси Коллманн
Стэнфорд, США

Александр Лавров
Париж, Франция

Марина Могильнер
Чикаго, США

Сергей Плохий
Кембридж, США

Ирина Савельева
Москва, Россия

Павел Уваров
Москва, Россия

Адрес редакции:
105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 21/4, стр. 3
тел.: +7 (495) 772-95-90, доб. номер: 15641
history.journal@hse.ru | <https://history.hse.ru>

Издается с 2022 года
Выпускается ежеквартально
Позиция авторов может не совпадать с мнением редакции

© Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

EDITORIAL BOARD

EDITOR

Alexander Kamenskii
Moscow, Russia

ASSOCIATE EDITOR

Leonid Gorizontov
Moscow, Russia

MANAGING EDITOR

Oleg Morozov
Moscow, Russia

ASSISTANT EDITOR

Anna Komzolova
Moscow, Russia

MEMBERS OF EDITORIAL BOARD

Evgeny Akelev
Moscow, Russia

Oleg Budnitskii
Moscow, Russia

Dinara Gagarina
Perm, Russia

Alexander Meshcheryakov
Moscow, Russia

Alexander Semyonov
St. Petersburg, Russia

Petr Stefanovich
Moscow, Russia

Igor Fedyukin
Moscow, Russia

EDITORIAL COUNCIL

Vladimir Arakcheev
Moscow, Russia

Mikhail Boytsov
Moscow, Russia

Dmitri Bondarenko
Moscow, Russia

Roland Wenzlhuemer
Munich, Germany

Hieronim Grala
Warsaw, Poland

Michael David-Fox
Washington DC, USA

Askold Ivanchik
Moscow, Russia

Nancy Shields Kollman
Stanford, USA

Alexander Lavrov
Paris, France

Marina Mogilner
Chicago, USA

Serhii Plokhly
Cambridge, USA

Irina Savelieva
Moscow, Russia

Pavel Uvarov
Moscow, Russia

Address:

21/4 Staraya Basmannya str., 105066 Moscow, Russia

Phone: +7 (495) 772-95-90, extension: 15641

history.journal@hse.ru | <https://history.hse.ru>

Published quartely science 2022

The author's opinion may not coincide with the position of the editorial board

© National Research University
Higher School of Economics

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ РЕДАКЦИИ

9

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ И ИСТОРИОГРАФИЯ

Владимир Петрухин

Античная традиция и начало славянской историографии: юбилейные заметки

13

Дмитрий Боровков

Завещание Ярослава I в полемике В. И. Сергеевича, С. М. Соловьева и их современников

31

Станислав Рошак

Культура рукописи в шляхетской Речи Посполитой раннего Нового времени

44

Андрей Туторский

Равенство, индивидуализм, холизм: перспективы «дюмоновской этнографии»

61

ВОЙНА И МИР В ИСТОРИИ ДОМА РОМАНОВЫХ

PAUL WERTH

In the Flesh: The Grand Tour of Tsesarevich Alexander Nikolaevich in 1837

82

MIKHAIL DOLBILOV

A Courtier's Services near the Battlefield: Count Alexander Adlerberg as Empress Maria Aleksandrovna's Epistolary Confidant amid the Russo-Turkish War of 1877–1878

102

СОДЕРЖАНИЕ

ПАМЯТЬ И НАРРАТИВ

SERGEY EHRLICH

Three Base Mythic Narratives of Memory, Identity — Solidarity and Ethics (Invitation for Discussion Regarding the Narrative Core of Collective Memory)

137

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ ЭКОНОМИКИ

Анастасия Банщикова, Дмитрий Бондаренко

Международный центр антропологии факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ: историческая антропология между отечественной научной традицией и современными мировыми трендами

161

Екатерина Болтунова

Международная лаборатория региональной истории России НИУ ВШЭ

166

АВТОРЫ

185

Динара Гагарина, Илиана Исмакаева, Анна Кимерлинг, Сергей Корниенко, Виталий Мингалёв

В поисках научных приоритетов: исторические исследования в пермском кампусе НИУ ВШЭ

171

Владимир Комаров

Рец. на кн.: Туманова А.С. Общественные организации в России: правовое положение. 1860–1930-е гг. М.: Проспект, 2019. 480 с.

180

CONTENTS

EDITORIAL

11

SOURCE CRITICISM AND HISTORIOGRAPHY

VLADIMIR PETRUKHIN

Antique Tradition and the Beginning of
Slavic Historiography: Jubilee Notes

13

DMITRIY BOROVKOV

The Testament of Jaroslav I in the Polemic
of V. I. Sergeevich, S. M. Soloviev and Their
Contemporaries

31

STANISŁAW ROSZAK

Manuscript Culture of the Polish-Lithuanian
Commonwealth in the Early Modern Period

44

ANDREY TUTORSKI

Equality, Individualism, Holism:
Perspectives of “Dumontian” Anthropology

61

WAR AND PEACE IN THE HISTORY OF THE ROMANOVS

PAUL W. WERTH

In the Flesh: The Grand Tour of
Tsesarevich Alexander Nikolaevich
in 1837

82

MIKHAIL DOLBILOV

A Courtier’s Services near the Battlefield:
Count Alexander Adlerberg as Empress
Maria Aleksandrovna’s Epistolary Confidant
amid the Russo-Turkish War of 1877–1878

102

CONTENTS

MEMORY AND NARRATIVE

SERGEY EHRLICH

Three Base Mythic Narratives of Memory, Identity — Solidarity and Ethics (Invitation for Discussion Regarding the Narrative Core of Collective Memory)

137

HISTORICAL SCIENCE IN THE HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS

ANASTASIA BANSCHIKOVA, DMITRI BONDARENKO

International Centre of Anthropology at the HSE Faculty of Humanities: Historical Anthropology between Russian Academic Tradition and Modern Global Trends

161

EKATERINA BOLTUNOVA

The International Lab “Russia’s Regions in Historical Perspective” of HSE University

166

CONTRIBUTORS

187

DINARA GAGARINA, ILIANA ISMAKAEVA, ANNA KIMERLING, SERGEI KORNIENKO, VITALIY MINGALEV

Looking for Scientific Priorities: Historical Research at the Perm Campus of HSE University

171

VLADIMIR KOMAROV

Book Review: *Obshchestvennye organizatsii v Rossii: pravovoe polozhenie. 1860–1930-egg.*, by A. S. Tumanova, Moscow, Prospekt, 2019, 480 pp.

180

ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые читатели!

Перед вами первый номер нового научного журнала по историческим наукам, издаваемого Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики».

История — и как учебная дисциплина, и как область научных исследований — существует в нашем университете уже не одно десятилетие. Еще двадцать лет назад в НИУ ВШЭ была создана первая историческая кафедра, в 2002 г. возник Институт гуманитарных историко-теоретических исследований, который за годы своего существования превратился в крупный и авторитетный международный междисциплинарный научный центр, известный своими многочисленными публикациями, конференциями и семинарами. В конце 2009 г. Ученый совет университета принял решение о создании факультета истории (в 2015 г. преобразован в Школу исторических наук), первый набор на который состоялся в 2010 г. Вскоре образовательные программы по истории были открыты в Пермском и Санкт-Петербургском кампусах НИУ ВШЭ. В эти же годы стали появляться новые научные подразделения исторического профиля. В Москве это Международный центр истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий (ныне — Институт советской и постсоветской истории), Лаборатория медиевистических исследований, Центр истории России Нового времени, Международный центр антропологии, Международная лаборатория региональной истории России. В Санкт-Петербурге был создан Центр исторических исследований с Лабораторией экологической и технологической истории и Отделом социальной антропологии, в Перми — Сектор исторических исследований. В 2017 г. в НИУ ВШЭ появился Институт классического Востока и античности, в составе которого работает Центр античной и восточной археологии. Все эти научные подразделения университета активно

сотрудничают с научными центрами в России и за рубежом, реализуют масштабные исследовательские проекты и хорошо известны в академическом сообществе.

Вполне естественно, что на протяжении последних десяти лет неоднократно возникал вопрос о создании исторического журнала, но мы долго не решались на это начинание, осознавая всю его серьезность и ответственность и внимательно изучая опыт наших коллег.

На наш взгляд, в настоящее время рынок академической исторической периодики в России крайне неоднороден. За последние двадцать лет появилось много новых журналов, некоторые из которых, просуществовав недолго, были закрыты. Другие продолжают издаваться, хотя так и не сумели обрести серьезную репутацию. Существует ряд уважаемых «старых» журналов («Вестник древней истории», «Средние века», «Российская история», «Новая и новейшая история» и т. д.) с устоявшимися традициями редакционной политики, структурой и составом авторов. Одновременно есть ряд созданных в последние десятилетия динамичных изданий тематического характера, заслуживших в последние годы высокую академическую репутацию («Ab Imperio», «Древняя Русь: Вопросы медиевистики», «Диалог со временем», «Quaestio Rossica», ЭНОЖ «История» и др.).

Однако большинство существующих журналов носят проблемно-тематический характер и фактически делят сферу своей «ответственности» по принципу «русской / нерусской» тематики, что не способствует преодолению «цеховых» барьеров. На наш взгляд, в России в настоящее время есть потребность в периодических изданиях общепрофессионального характера, которые задавали бы структуру научного поля, определяли стандарты качества, формировали общенациональную

исследовательскую программу, систематически публиковали новаторские исследования, отражающие изменения в быстро развивающейся современной исторической науке, были бы площадкой для представления результатов и обмена идеями между исследователями из разных (суб)дисциплин и предметных полей, стимулируя междисциплинарные, компаративные и глобальные исследования. Следует заметить, что в международном академическом пространстве также мало журналов, которые позволяли бы историкам вести диалог с представителями других дисциплин.

Заполнить эту нишу мы и хотим попытаться нашим новым журналом. «History HSE» будет ориентирован на широкий междисциплинарный и компаративный синтез, с особым вниманием к диалогу между историками, политологами, социологами и экономистами, что соответствует профилю исследований НИУ ВШЭ в целом. Приоритетными для журнала станут исторические исследования на пересечении с другими дисциплинами и субдисциплинами (науки о языке, социальные теории, антропология, география, медицина, биология, право, криминология, экономика, digital humanities и т. д.). Мы надеемся, что журнал станет площадкой для публикации результатов практических исторических исследований по проблематике и с применением методов, разработанных в других дисциплинах. Особый интерес для журнала будут представлять исследования в следующих областях:

- теория и история исторического знания, а также история науки, идей, понятий, источниковедение;
- политическая, социальная, культурная и экономическая история, историческая антропология, социальная история войн и конфликтов, история искусства;
- история повседневности, эмоций, преемственности, запахов, цвета, смерти, детства,

времени, сексуальности и другие предметные поля новой социальной и новой культурной истории;

- новая институциональная история, предполагающая изучение институтов государственности и гражданства, развития state capacity, взаимоотношений государства и общества, особенностей этих процессов в России и других странах, их соотносимости с моделями исторических процессов, познаваемых на западноевропейском и глобальном материале;

- макро- и микроистория, историческая социология, сравнительная, транснациональная и глобальная история;

- public history, memory studies, genocide studies, trauma studies, gender studies, film studies, game studies, digital history и аналогичные предметные поля;

- вспомогательные исторические дисциплины.

Мы планируем также публиковать полемические материалы, информацию о научных мероприятиях, новых книгах и т. д. Журнал будет издаваться на русском и английском языках как электронное сетевое издание с открытым доступом к публикациям.

Перед вами наш первый номер, собрать который, признаемся, было непросто. В силу известных обстоятельств серьезные российские исследователи предпочитают сегодня публиковать свои работы в журналах, входящих в международные наукометрические базы, вследствие чего количество статей, поступающих в эти журналы из России, значительно возросло, а время от поступления статьи в редакцию до ее публикации достигает иногда нескольких лет. Но подлинная наука измеряется не только и даже не столько цифрами, сколько новизной познания. В нашем случае — познания прошлого. Мы призываем к сотрудничеству всех, кто всерьез занимается познанием прошлого во всех его ипостасях, для кого это занятие — и профессия, и образ жизни.

**Редакция журнала
«History HSE»**

EDITORIAL

Dear readers,

With this issue, the National Research University Higher School of Economics is launching a new academic history journal.

History has had a major presence in our university both as a subject of study and as research area for well over a decade. Twenty years ago, HSE University established its first department of history. In 2002, the Institute for Theoretical and Historical Studies in the Humanities was formed and over the years it has evolved into a large influential international and interdisciplinary research centre famous for its numerous publications, conferences, and workshops. In late 2009, the HSE Academic Council adopted the decision to establish the Faculty of History (which was transformed into the School of History in 2015) with the first students admitted in 2010. History programs were soon launched at the HSE's Perm and St. Petersburg campuses. New historical research centers appeared around the same time. The HSE Moscow campus saw the launch of the International Center for the History and Sociology of World War II and Its Consequences (now the Institute for Advanced Soviet and Post-Soviet History), the Center for Medieval Studies, the Center for Modern Russian History, the International Center of Anthropology, and the International Laboratory "Russia's Regions in Historical Perspective". The St. Petersburg campus established the Center for Historical Research and the Laboratory for Environmental and Technological History and the Division of Social Anthropology, and the Perm campus formed the Group for Historical Research. In 2017, the HSE opened the Institute for Oriental and Classical Studies, which includes the Centre of Classical and Oriental Archaeology. These academic divisions actively collaborate with academic centers in Russia and abroad, implement large-scale research projects, and are well known in the academic community.

The issue of launching an academic journal on history has naturally come up numerous times over the past decade. However, given the importance of such an undertaking and the responsibility it entails, we took our time and carefully studied the experience of our colleagues.

In our opinion, the history journals published in Russia today are a mixed bunch. A large number of journals have appeared over the past two decades, with some of them folding after just a few issues. Others have survived to this day, even if they have failed to develop a solid professional reputation. There are several respected "old" journals (*Journal of Ancient History*, *Studies on Medieval and Early Modern History*, *Russian History*, *Modern and Contemporary History*, etc.) with an established structure, editorship policies, and contributors. At the same time, there are several new dynamic thematic publications that have developed an excellent academic reputation (*Ab Imperio*, *Old Russia: The Questions of Middle Ages*, *Dialogue with Time*, *Quaestio Rossica*, *JES History*, etc.).

However, most currently published journals are focused on specific problems and subjects and essentially divide their field of "responsibility" along the Russian / non-Russian lines, which is not conducive to overcoming the "guild" barriers. In our opinion, Russia currently needs periodicals on general historical matters that would set the structure of the academic field, define quality standards, shape a nationwide research program, systematically publish innovative research that reflects the changes in the rapidly developing historical science, serve as a venue for presenting research results and exchanging ideas between academics working in various (sub)disciplines, and stimulate interdisciplinary, comparative and global research. It is worth noting that the number of journals offering

historians the opportunity to engage in a dialogue with academics working in other disciplines are also few and far between.

This is the niche we would like to fill with our new journal. *History HSE* will be geared towards a broad interdisciplinary and comparative synthesis, with special emphasis on a dialogue between historians, political scientists, sociologists, and economists, which aligns with the HSE's overall research scope. The journal will give priority to historical studies intersecting with other disciplines and sub-disciplines (language sciences, social theories, anthropology, geography, medicine, biology, law, criminology, economics, digital humanities, etc.). We hope that our journal will become a venue for publishing the results of practical historical research into problems of other disciplines carried out using methods developed in those disciplines.

The following areas of research will be of particular interest for our journal:

- the theory and history of historical knowledge, the history of science, ideas, and concepts; source studies/source criticism; historiography;
- political, social, cultural, and economic history; historical anthropology; the social history of wars and conflicts; the history of arts;
- the history of everyday life, emotions, crime, smells, colors, death, childhood, time, sexuality, and other subject fields in the new social and cultural history;
- new institutional history that entails studying the institutes of statehood and citizenship, state capacity development, the relationship between state and society;

- the national specifics of these processes in Russia and other states, their correlation with the models of historical processes studied in the Western European and global contexts;

- macro- and microhistory, historical sociology, comparative, transnational, and global history;

- public history, memory studies, genocide studies, trauma studies, gender studies, film and history, historical game studies, digital history, and similar subject fields;

- auxiliary sciences of history.

We also plan on publishing polemic materials, information on academic events, new books, etc. *History HSE* is an open access online journal that publishes articles in English and Russian uploaded onto the journal's page on the HSE's corporate website.

This is our first issue, and we admit that putting it together has not been easy. Current circumstances mean that serious scholars prefer to publish their work in journals indexed in international citation databases. Consequently, there is now a glut of articles submitted to those journals from Russia, and the time that elapses between submitting an article and having it published can stretch into several years. But true science is measured not so much in figures as it is in discovering new knowledge — in our case, knowledge of the past. We invite every scholar who is engaged in the serious pursuit of knowledge about the past in all its dimensions, every scholar for whom scholarship is an occupation, a profession, and a way of life, to collaborate with us.

**Editorial staff of
*History HSE***

Научная статья

Античная традиция и начало славянской историографии: юбилейные заметки

Владимир Петрухин 

Школа исторических наук, факультет гуманитарных наук НИУ ВШЭ, Москва, Россия
Институт славяноведения РАН, Москва, Россия

АННОТАЦИЯ


Историографические заметки приурочены к юбилеям Геродота и Тита Ливия. Начало славянской историографии связано с эпохой становления государственности и христианской культуры в XII в. Первыми историками были клирики: Галл Аноним, Козьма Пражский, русский летописец — составитель Повести временных лет (ПВЛ). Историографическими образцами были латинские и греческие (византийские) хроники, синтезировавшие античную и библейскую традиции. На эти образцы ориентировано описание деяний культурных героев (от Кия до Гостомысла), сюжеты межплеменных конфликтов, основания городов, становления государственного порядка (призвание варягов) и т. п.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Геродот, Тит Ливий, культурные герои, призвание варягов

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Петрухин В. Я. Античная традиция и начало славянской историографии: юбилейные заметки // History HSE. 2022. № 1. С. 13–30.

ПОСТУПЛЕНИЕ СТАТЬИ: 12.06.2021 | **ПРИНЯТИЕ К ПУБЛИКАЦИИ:** 17.10.2021

Начало славянской историографии связано с эпохой становления государственности и христианской культуры в XII в.¹ Первыми историками были клирики: Галл Аноним, Козьма Пражский, русский летописец — составитель Повести временных лет (ПВЛ). Историографическими образцами были латинские и греческие (византийские) хроники, синтезировавшие античную и библейскую традиции². Вводной частью славянских хроник были «предисловия», композиционно восходящие к античной традиции. Можно вспомнить «объективистское» введение Геродота, который «записал (здесь и далее курсив мой. — В. П.) эти сведения... чтобы прошедшие события не пришли в забвение»³,

© Петрухин В. Я., 2022  vpetrukhin@hse.ru.

¹ Об особом развитии латинского «авторского» историописания именно в XII в. см.: Арнаутова 2006, 289–295. Существенно, что такие латинские авторы, как Адам Бременский и Саксон Грамматик, включали в свои истории Русь и славянский мир.

² Творогов 1975; Водолазкин 2008; Вилкул 2019.

³ Геродот 1972, кн. 1, 11.

и сомнения Тита Ливия в том, сможет ли он описать «деяния народа римского от первых начал Города»⁴. Существенно, что конкретные исторические сюжеты — начало греко-персидских войн у Геродота и историю Рима у Ливия — историки сразу включали во всемирный (космографический) контекст: отношения греков, варваров и финикийцев у Геродота, завоевание Трои ахейцами у Ливия⁵. Галл Аноним во введении сетует на отсутствие в польской традиции «достойных памяти» событий, до вокняжения «прославленного» князя Болеслава⁶. Русский летописец связывает начало русской истории с упомянутым в византийской хронографии первым походом руси на Царьград при императоре Михаиле III.

С космографии и деяний культурных героев (*gestae* в латинской историографии) начинались и славянские истории: то были польский Пяст, чешский Пшемьсл, полянский Кий в контексте описания родовых обычаев (Пяст) или архаических преданий о трёх братьях в ПВЛ (трех сестрах — у Козьмы Пражского), основавших свои поселения («на горах» начальной русской летописи). Типичные для архаического фольклора фигуры культурных героев и привязка их деяний к реальным локусам (*мнемотопам*)⁷ провоцируют на их восприятие как персонажей древнего славянского фольклора и даже реальных исторических деятелей, хотя книжные образцы — распространенный в восточнохристианском мире библейский псевдоэпиграф Малое Бытие (Книга юбилеев) и латинский (начальный сюжет истории Тита Ливия⁸ с заселением библейских и римских гор выходцами из Трои, предками Ромула и Рема)⁹ были известны в славянском мире. Персонажами истории или архаического фольклора долго считали и Ромула (и Рема); имя Ромула, основателя Рима (Roma), имеет оттопонимическое происхождение, как и имя Кия (Щека и Хорива)¹⁰. Начальные сюжеты, связанные с деянием, именуется¹¹ «эпической историографией»; универсальным началом историописания был переход от космогонического мифа (у Коллингвуда — теократического)¹² к собственно истории¹³.

Средневековые славянские книжники, несмотря на разные культурные ориентиры — восточное/византийское христианство на Руси у составителя Начальной летописи (ПВЛ), западная/латинская традиция у Козьмы Пражского и других западнославянских авторов, согласно опускают начальную космогонию (в т. ч. характерный для средневековой хронистики библейский Шестоднев) и приступают сразу к описанию своих народов, включая их в число 72 «языков», разделенных при строительстве вавилонской башни (ПВЛ, Козьма Пражский), или соотносятся с древними «языческими» народами латинской космологической традиции (о соседях поляков — сарматах и гетах — указано во введении к «Хронике» Галла Анонима).

⁴ *Ливий Тит* 1989, т. 1, кн. I (1).

⁵ С космогоническими сюжетами связаны многочисленные отсылки историка на знамения и чудеса, характерные и для византийской, и для древнерусской исторических традиций. См.: *Кнабе* 1993, с. 622.

⁶ *Галл Аноним* 1961, 26.

⁷ *Ассман* 2004, 63, 64.

⁸ *Ливий Тит* 1989, т. 1, кн. I (3).

⁹ Т. Л. Вилкул, отрицающая существование реконструированного А. А. Шахматовым Начального свода, демонстрирует позднее воздействие на Новгородскую Первую летопись (НПЛ) т. н. Хронографа по великому изложению (ХВИ) и настаивает на непосредственном знакомстве составителя Начальной летописи с полным переводом Хроники Малалы: по ее мнению, распространенный топоним — город на горе — восходит в ПВЛ к этой хронике (см.: *Вилкул* 2019, 157). См. там же о многочисленных мотивах («микроцитатах») и лексике, характерных для языка ПВЛ.

¹⁰ «Орудийное» значение имен культурных героев — Пяст, Кий — очевидно указывает на связь этой ономастики с земледельческой колонизацией славян (ср.: *Трубачев* 2002, 146–149).

¹¹ Ср.: *Кузнецова* 1984; *Суриков* 2006.

¹² *Коллингвуд* 1980, 16–20.

¹³ О «раннеисторических описаниях» см. работы В. Н. Топорова, восходящие к культурной антропологии М. Элиаде (*Топоров* 1997; *Элиаде* 1987); в отношении начала русского летописания см.: *Петрухин* 2019(6).

Существенно иную тенденцию демонстрирует Введение к Новгородской первой летописи младшего извода (НПЛ), традиционно (со времен гипотезы А. А. Шахматова) воспринимаемое как Введение к предшествующему ПВЛ киевскому Начальному своду. «Временник, еже есть нарицается летописание князеи и земля Руския, и как избра богъ страну нашу на послѣднѣе время (курсив мой. — В. П.), и грады почаша быти по мѣстом, преже Новгородчкая волость и потом Киевская, и о поставлении Киева, како во имя назвася Киевъ». Далее следует рассуждение, основанное, как считалось, на Хронографе по великому изложению (ХВИ)¹⁴, компиляции, использованной составителем Начального свода: как Рим был назван «во имя» царя Рима, Антиохия в честь Антиоха и Александрия в честь Александра, «тако жъ и в нашей странѣ званъ бысть градъ великим княземъ во имя Кия, его же нарицают тако перевозника бывша; инѣ же: ловы деяше около города»¹⁵. Композиционная несообразность этого текста давно бросалась в глаза: после заявления о первенстве Новгородской волости следовало бы и рассказывать о Новгороде. Но Шахматов настаивал, что текст этот составлен как раз в Киеве, и усматривал даже в упоминании гор, где «древле погании жряху бѣсомъ», а ныне стоят церкви, киевские реалии. Конечно, этот библейский фразеологизм нельзя прямо относить к каким бы то ни было «реалиям», но противоречия в тексте введения к НПЛ, на первый взгляд, снимаются, если признать, что фраза о первенстве Новгородской волости вставлена позднейшим новгородцем-патриотом¹⁶.

Однако во введении к НПЛ наименование Кия «великим княземъ», а затем «перевозчиком» и «ловцом» явно отсылает к некоему тексту, где это противопоставление было бы как-то прояснено. Этот текст и содержится в упомянутой легенде ПВЛ о Кие, Щеке и Хориве (включенной в космографическое введение к этой летописи), где говорится, что Кий был князем, а не перевозчиком, и ходил на Царьград. Но он был изъят из варианта киевской легенды новгородской летописи, где Кий князем не именуется. Можно понять, почему новгородец изъясил, казалось бы, актуальный для него рассказ о походе Кия в Царьград и получении им княжеских почестей от царя: ведь киевская легенда перемещена в НПЛ из вводной части в летописную — статью 6362 г., повествующую о царствовании византийского царя Михаила III, но при нем на Царьград ходил не Кий, а варяги Аскольд и Дир, о чем и рассказывается в той же статье НПЛ¹⁷. Составитель НПЛ использовал «киевские» мотивы космографического введения к ПВЛ, сократив всю космографию: совмещение в исторической части этой летописи «полянскою» Кия и варягов Аскольда и Дира породило продолжение в виде средневековой генеалогической конструкции, возводящей «династию» Аскольда к Киею у польского хрониста XV в. Яна Длугоша, настаивавшего на полянской (т. е. польской) принадлежности начальной Руси¹⁸.

К универсальным тенденциям христианской хронистики, в т. ч. ориентированной на локальную историю, следует причислить соотнесение этой истории с эсхатологией

¹⁴ Согласно древнерусским хронографам, в т. ч. и реконструируемому ХВИ, Рим был основан, естественно, Ромом (Ромулом), но не Римом (Ремом) (ср.: Творогов 1999, 78–82). Приводимая Шахматовым параллель из Чудовского списка Еллинского летописца, где старшим братом, основавшим город, назван Рим, может прояснить источник Введения к НПЛ, который, однако, не связан с начальным летописанием. Ср. указание того же Шахматова на рассуждение составителя Тверского сборника: «Якоже древле Ром постави полату и нарече град Ром, потом преименова его Рим, убиения ради брата своего Рима» (см.: Шахматов 2003, 410, 408). С этой конструкции начинается «Софийский временник», следующий уставке НПЛ на первенство Новгородской волости (Рогожский летописец 2000, стб. 26).

¹⁵ НПЛ 2000, 103.

¹⁶ Ср.: Лихачёв 1947, 95. А. А. Гиппиус предполагал, что вставка была произведена при составлении владычной новгородской летописи т. н. свода 1167 г. (см.: Гиппиус 1997, 40, 41).

¹⁷ Ср.: Тихомиров 1979, 51–53.

¹⁸ Флоря 1990.

— последними временами¹⁹. Но риторическое введение к НПЛ ставит конкретные исторические вопросы, на которые призван ответить последующий летописный текст, — это вопросы о становлении городов и волостей и, главное, повторяющийся вопрос о начале Русской земли, завершающий и само введение: «Мы же от начала Рускы земля до сего лѣта и все по ряду извъѣстно да скажем, от Михаила цесаря до Александра и Исакья»²⁰. Эта концовка неслучайна, ибо НПЛ включает «Повесть о взятии Царьграда фрягами» (приписывается русскому свидетелю разгрома Константинополя крестоносцами в 1204 г.): «...и тако погубе царство богохранимаго града Костянтина и земля Грѣчьская въ свадѣ царствѣ (царев, здесь и далее курсив мой. — В. П.), еюже обладают Фрязи»²¹. Показательно, что НПЛ следует и здесь своему Введению, где говорится, что «за несытость навел Бог на ны поганья, а и скоты наша и села наша и имѣния за тѣми суть»²². Новгородский летописец, настаивавший на первенстве новгородской волости, деликатно умалчивает здесь о «сваде» (усобицах) князей, подменяя распри князей алчностью²³ — «несытством» — дружины. Но наступление последних времен на Руси связано не с преходящим половецким набегом XI в., как думал Шахматов, а с монголо-татарским нашествием XIII в.: «Да кто, братье и отци и дети, видѣвши божие поущение се на всеи Руской земли; грѣх же ради наших попусти богъ поганьи на ны». Новгород «заступи богъ» и святая София, но вся Русская земля оказалась во власти поганых, ибо «усобная же рать бываетъ от сважения диаволя...»²⁴

Установка на первенство Новгорода, отделяющее его от прочей Русской земли, требовала специальных изысканий, не связанных с призванием варяжской династии князей, — ведь она утвердилась в Киеве при первом же наследнике Рюрика — Олеге²⁵, оставив Новгород. Сам сюжет призвания оказывается перемещенным в НПЛ в киевскую историю; список собственно новгородских князей открывает Вышеслав, примечательный тем, что он был старшим сыном крестителя Руси Владимира Святославича (и мог соотноситься с идеей первенства Новгорода)²⁶. Ничего не известно и о первом в списке посадников Гостомысле: он явно должен был претендовать на роль культурного героя — основателя традиции. Существенно, что он «оторван» от исторических посадников, в списке пропущен дядька князя Владимира Добрыня, и за Гостомыслом сразу следует сын Добрыни Константин; посадничья власть оказывается в этой конструкции древнее княжеской²⁷. Отсутствие известий о Гостомысле начиная с эпохи позднего Средневековья (от новгородских летописей XV в.²⁸ и московского «Сказания о князьях Владимирских» до «Иоакимовской летописи» в изложении В. Н. Татищева)²⁹ провоцирует на

¹⁹ Ср.: Гене 2002, 176, 177; Арнаутова 2006; Петрухин 2006.

²⁰ НПЛ 2000, 106.

²¹ Там же, 240–246.

²² Там же, 106.

²³ Кстати, Й. Хейзинга заметил, что мотив алчности, ведущей к гибели мира, получил распространение в европейской книжности с XIII в. (Хейзинга 1988, 29–30).

²⁴ НПЛ 2000, 289.

²⁵ Радикальному сокращению подвергся в НПЛ и сюжет о гибели Олега от коня. Конь, предвещающий судьбу хозяина, — едва ли не универсальный мотив фольклора. Помимо давно отмеченных скандинавских параллелей, показательна римская традиция: Светоний свидетельствует, что сам Цезарь при переходе Рубикона посвятил табуны своих коней богам «и отпустил пастись на воле»; накануне убийства диктатора кони отказывались от еды и проливали слезы (см.: Стендер-Петерсен 2021, 140–161; Светоний Транквилл Гай 1988, 46–47).

²⁶ НПЛ 2000, 161.

²⁷ Янин 2003, 66–67.

²⁸ Показательно, что эти своды восстанавливают космографическое введение ПВЛ, замененное в НПЛ «патриотическим» введением: Гостомысл там упоминается как «старейшина», которого сажают в основанный Новгород расселяющиеся на Ильмене словене (Янин 2003, 65).

²⁹ О фантастичности конструкции В. Н. Татищева, в т. ч. вымышленных им имен, см.: Мельникова 2014, 200.

конструкцию пространных сюжетов с инициативным участием этого героя в призвании варяжских князей и т.п. Традиционно постулируются и фольклорные основы этой фигуры, хотя в летописях с Гостомыслом не связаны никакие фольклорные сюжеты и мотивы. Но само имя было безусловно древним: точным соответствием летописному Гостомыслу является праславянское **gostomyslъ*.

Это имя хорошо известно латинской анналистике: Фульдские и Ксантенские анналы под 844 г. сообщают о победе Людовика Немецкого над ободритами и гибели их короля (rex) Gostomuizli. Сходное известие содержат иные латинские хроники (в Ксантенских анналах он назван одним из королей балтийских славян — винидов / вендов)³⁰, Кведлинбургские, Альтайхские и Хильдесхаймские анналы приписывают расправу с Гостомыслом императору Лотарю³¹. Многочисленные попытки отождествить этого ободритского «короля» Гостомысла с первым посадником новгородского летописания, и игнорируя свидетельства о его смерти, и продлив ему жизнь до эпохи призвания варягов (862 г. в ПВЛ), безосновательны.

Очевидны вместе с тем свидетельства постоянных контактов Новгорода с Балтийским регионом, в т. ч. с миром балтийских славян. Автор предполагает, что имя ободритского Гостомысла могло проникнуть в новгородскую традицию при посредстве латинской книжности³², и свидетельство такого воздействия содержит та же НПЛ. В упомянутой «Повести о взятии Царьграда фрягами» содержится список «воевод», руководивших взятием Царьграда. Первый — некий «Маркос от Рима». И.Э. Клейненберг³³ показал, что этим личным именем передан титул предводителя крестового похода маркграфа Бонифация, и, «чтобы вызвать у читателей или слушателей “Повести” знакомые ассоциации, автор, поясняя, добавляет»: «...въ градъ Бърне, идеже бе жиль поганьи злыи Дедрикъ»³⁴. Речь идет о Теодорихе Готском (Великом), завоевавшем Италию (в т. ч. Верону / Берн) в конце VI в. и ставшем героем германского эпоса. Согласно позднейшей исландской «Саге о Тидреке Бернском», он дошел вместе с гуннами до Прибалтики. Клейненберг предположил, что выходцы из нижненемецких городов могли быть «передатчиками» своих преданий и песен в Новгороде, тем более что в упомянутых Кведлинбургских анналах Тидерик из Берна характеризуется как персонаж, о «котором некогда пели сельские жители»³⁵. Фигура Гостомысла виделась достаточно авторитетной, чтобы обозначить начало власти посадников, ответственных (наряду с князьями) за международные отношения на Балтике (со всем «латинским языком»)³⁶. Следует отметить, что фигура Гостомысла (в отличие от «поганого» Дедрика — приверженца арианской ереси) выглядит конфессионально нейтральной, не связанной с язычеством (и ересью). В отличие от иных культурных героев — античного Геракла или англосаксонских Хенгиста и Хорсы, — ни Гостомысл, ни Кий не считались в анналах и летописях потомками языческих богов.

Древнерусскую историографию от античной (языческой), византийской и латинской отличала невозможность евгемеризма — генеалогий, возводящих культурных героев к языческим богам: эти боги воспринимались³⁷ начальным древнерусским христианством как бесы; на Руси уникальным памятником, возводящим к этим богам «русичей» — Дажьбожьих внуков, или Бояна — Велесова внука, считалось «Слово о полку Игореве»³⁸. Посредником в восприятии античной мифологии на Руси выступала византийская

³⁰ Сидоров 2019, 416.

³¹ Немецкие анналы 2012, 37, 96, 229.

³² Петрухин 2019(а).

³³ Клейненберг 1974, 129.

³⁴ НПЛ 2000, 49.

³⁵ Немецкие анналы 2012, 25.

³⁶ Грамоты Великого Новгорода и Пскова 1949, 55.

³⁷ Живов 2002, 509–510; Суриков 2006, 66–68; Водолазкин 2008, 48, 95, 165.

³⁸ Анчиков 2009, 153–177.

литература, для которой языческие боги могли быть риторическими фигурами³⁹ или, в более христианизированном варианте, падшими ангелами⁴⁰.

Начальное летописание в уникальной глоссе откликлось на античную традицию, сохраненную византийской литературой. Так, комментируя под 1114 г. «чудо» падения с небес предметов и животных, виденное в Ладогe, летописец ссылается на греческий «фронограф» (ХВИ/Хронику Амартола)⁴¹, подтверждающий реальность этого чуда: «по разделении язык» небесные боги учредили у людей на земле брачные обычаи; греческий Гефест / Феост считался царем в Египте и отождествлен был летописцем со славянским Сварогом, сын Феоста Солнце (в евгемерической трактовке хронографа и Хроники Иоанна Малалы)⁴² — с Дажьбогом.

Наиболее дискутируемыми в контексте воздействия на русскую раннесредневековую книжность экзогенных сюжетов остаются истоки книжных преданий о происхождении государственности — прежде всего русская легенда о призвании варяжских князей. В своем сравнительно-историческом труде о переселенческих сказаниях К. Тиандер (1915) давно продемонстрировал «англосаксонские» истоки сюжета и проанализировал латинскую параллель в «Деяниях саксов» Видукинда Корвейского⁴³. Б. А. Рыбаков в духе т. н. исторической школы обнаруживал непосредственную передачу этой традиции на Русь беженцами из Англии (и окружения Гиды Гаральдовны) — они внедрились в летопись легенду о призвании варягов-руси (будущую «норманскую теорию»), изъяв из ПВЛ исконные сведения о славянском происхождении народа руси⁴⁴. Рыбаков не учел трансформацию в сюжете легенды русской летописи: у Видукинда бритты, лишенные защиты Рима и «изнуренные постоянными вторжениями врагов», отправили послов со словами призвания к саксам; отбив вторжения скоттов и пиктов, саксы заключили с ними мир и изгнали бриттов, «а самую страну подчинили своей власти». Англосаксами они стали называться, по этимологической конструкции Видукинда, потому что остров Британия располагался «в углу» (in angulo) моря. Беда Достопочтенный конкретизирует специфику конфликта: у него правитель бриттов призвал англосаксов, которые прибыли на *трех кораблях* и, освоившись на острове на правах защитников бриттов, вызвали из-за моря три племени — англов, саксов и ютов. Первыми вождями переселенцев были два брата Хенгист и Хорза, потомки Водена Одина (клирик Беда⁴⁵ не говорит о его языческой божественной природе)⁴⁶. Призванные племена «хлынули на остров» и стали требовать у бриттов снабжения, угрожая разорвать договор и опустошить остров. Бритты вынуждены были принять «вечное рабство»⁴⁷. Существенно, что в легенде ПВЛ нет мотива завоевания страны и рабства подданных.

Дальнейшее изучение параллелей интересно в отношении сравнительно-исторических исследований сюжетов призвания и переселенческих сказаний, не связанных

³⁹ Ср.: *Мандо* 1980, 194–196; *Аверинцев* 1996, 284.

⁴⁰ Ср.: *Веселовский* 2009, 130; *Доддс* 2003, 189–190.

⁴¹ Ср.: *Вилкул* 2019, 138.

⁴² *Истрин* 1994, 69.

⁴³ *Видукинд Корвейский* 1975, 68/128.

⁴⁴ *Рыбаков* 1982, 142, 298–301.

⁴⁵ *Беда Достопочтенный* 2001, XV.

⁴⁶ «Лошадиные» имена братьев явно отсылают к архаическому индоевропейскому мифу о культурных героях-близнецах (см.: *Петрухин* 2009, 90–93). Сравнительный анализ «историописания» средневековой Англии и Руси предложил Т. В. Гимон, но архаические начальные сюжеты историописания не занимали исследователя (см.: *Гимон* 2012).

⁴⁷ Гильдас Премудрый, которому следует в описании этих бедствий Беда, приписывает несчастья бриттов, претерпеваемые от язычников, Божьему гневу за грехи (см. приложения в кн.: *Беда Достопочтенный* 2001, 218–219; ср.: *Зверева* 2006, 238–239; *Гимон* 2012, 202, 203). Эта общехристианская интерпретация, объясняющая нашествие врагов, сохранялась в английской анналистике в отношении норманнского завоевания 1066 г. и, как уже говорилось, была характерна для русского летописания (см.: *Горелов* 2006).

с англосаксонской традицией⁴⁸. В частности, характерен для переселенческого сказания и рассказ Геродота⁴⁹ о происхождении народа савроматов: элины возвращались *на трех кораблях* с плененными амазонками, тем удалось расправиться с победителями, но неуправляемые корабли прибились к землям «свободных скифов», где амазонки вступили в брачные связи со скифскими юношами, с которыми они и разделили земли «свободных скифов», произведя на свет савроматов.

Античную (и англосаксонскую) традицию характеризует мотив *рабства* подданных, связанный с происхождением государственной власти. Так, у Геродота⁵⁰ мидийские племена, жившие отдельными деревнями и не имевшие общего правопорядка, избрали славившегося справедливостью Деиока *судьей*⁵¹, и тот добился царской власти, построив для себя «новый» город; доступ подданным за городские стены был закрыт⁵².

Античная традиция едва ли не со времен Аристотеля различала две формы подданства — «договор» и «вручение себя»⁵³. Последней «форме» следует, в частности, легенда о призвании саксов бриттами в редакции, близкой изложению Беды Достопочтенного, но украшенной средневековой риторикой, что очевидно из речи, которую Видукин⁵⁴ вкладывает в уста британских послов: «Благородные саксы, несчастные бритты, изнуренные постоянными вторжениями врагов и поэтому очень стесненные, прослышав о славных победах, которые одержаны вами, послали нас к вам с просьбой не оставить [бриттов] без помощи. *Обширную, бескрайнюю свою страну*, избилующую разными благами (курсив мой. — В. П.), [бритты] готовы вручить вашей власти. До этого мы благополучно жили под покровительством и защитой римлян, после римлян мы не знаем никого, кто был бы лучше вас, поэтому мы ищем убежища под крылом вашей доблести. Если вы, носители этой доблести и столь победоносного оружия, сочтете нас более достойными по сравнению с [нашими] врагами, то [знайте], какую бы повинность вы ни возложили на нас, мы будем охотно ее нести».

Ситуация, рисуемая начальной летописью, принципиально отличается от той, которую передает англосаксонская традиция: жителям будущей новгородской волости угрожают не внешние враги, а внутренние усобицы. Внешних врагов — собиравших дань с ильменских словен, кривичей, чуди и мери варягов — данники изгнали за море и «почаша само в собѣ володѣти и не бѣ в нихъ правды и вѣста родъ на родъ <...> и ркоша: “поищемъ сами в собѣ князя иже бы володѣль нами и рядилъ по ряду по праву”. Идоша за море к Варягомъ к Руси, сѣце бо звахуть ты Варягы Русь яко се друзии зовуться Свее, друзии же Урмани, Аньгяне, инѣи и Готе, тако и си. Ркоша Руси, Чюдъ, Словенѣ, Кривичи и вся: “земля наша велика и обилна, а наряда в ней нѣтъ, да поидете княжить и володѣть нами”». Три «избравшихся» брата-предводителя взяли с собой дружину — «всю русь» — и сели в «городах», традиционно связанных с балтийским регионом: «старейший» Рюрик в Ладоге, Синеус в Белоозере, Трувор в Изборске⁵⁵. По смерти братьев Рюрик «приял» власть один, «срубил»

⁴⁸ Ср. из недавних обзоров: Стефанович 2012.

⁴⁹ Геродот 1972, кн. 4, 110–117.

⁵⁰ Там же, кн. 1, 96.

⁵¹ См. об архаических функциях судей в античной традиции: Фролов 2004, 80–81. Ср. ниже о судьбе Либуше и др.

⁵² См. о конструировании нового образа государственной власти: Бойцов 2010, 20–21.

⁵³ Аристотель 1984, т. 4, кн. 3, IX, 3–5.

⁵⁴ Видукин Корвейский 1975, кн. I, 8.

⁵⁵ Совокупность «всех людей» как правомочного коллектива характерна для библейской традиции (весь избранный народ — свидетель Завета / договора). Приведенная славянская параллель — формула призвания Пшемысла у Козьмы Пражского: «Госпожа наша Либуше и *весь* (здесь и далее курсив мой. — В. П.) наш народ просит тебя прийти поскорей к нам и принять на себя княжение» (Козьма Пражский 1962, кн. 1, 42). Сходным образом в Скандинавии считался правомочным тинг «всех людей» (альтинг в Исландии, «собрание всех людей» на Готланде, см.: Сванидзе 1999, 115). Ср. также в чешской традиции: правителя Спитигнева выбрали «все чехи, как великие, так и малые» (см.: Козьма Пражский 1962, кн. 2, 122). Это сопоставимо с выборами польского правителя знатью и дружиной — «всеми воинами», см.: Флоря 2012, 258. Впрочем,

город на Волхове и назвал его Новгород. Здесь цитируется ипатьевская редакция ПВЛ⁵⁶, лучше сохранившая текст легенды о призвании (лаврентьевской редакции⁵⁷ неизвестен был город, в котором вокняжился Рюрик)⁵⁸. Не сохранила лаврентьевская редакция и мотив, роднящий древнерусское призвание князей с англосаксонской традицией: это мотив *договора* — «ряда» и права, на которое должны были опираться призванные князья⁵⁹.

Библейскую традицию земли обетованной можно считать самодовлеющей в древнерусском и англосаксонском сказаниях⁶⁰, но библейское повествование продолжается *завоеванием* Ханаана, обетованной земли, в процессе освобождения от египетского рабства; античная же традиция основывается на *договоре*.

Сравните мольбы, с которыми обращаются к римлянам (отцам-сенаторам) послы «народа кампанского» (ему угрожали⁶¹ самниты): «...мы передаем под власть и покровительство ваше и народа римского народ кампанский и город Капую, земли, святылища богов и все, что принадлежит богам и людям»⁶². Впрочем, «вручение себя» здесь оформляется *договором* — правовой лейтмотив отношений Рима и федератов у Тита Ливия.

В славянской (чешской) традиции *судья* Либуше указывает чехам князя — пахаря Пшемысла (что значит «наперед обдумывающий», — комментирует этот текст Козьма)⁶³, но перед призванием князя произносит характерную увещательную речь. «Вы добровольно отказываетесь от той свободы, которую ни один добрый человек не отдает иначе, как со своей жизнью, и перед неизбежным *рабством* добровольно склоняете шею». Далее пространное повествование о гнете княжеской власти представляет собой парафраз из библейской 1-й книги Царств, где судья пророк Самуил предрекает неразумному народу, требующему себе царя, рабскую зависимость от правителя («сами вы будете ему рабами»), а затем помазывает на царство пахаря Саула. Как уже говорилось, этого мотива *рабства* нет в ранних редакциях легенды о призвании варягов: князей призывают, чтобы они правили «по ряду, по праву». Однако в позднесредневековой (московской) Никоновской летописи XVI в. говорится⁶⁴ под 864 г. (начало единовластия Рюрика): «Того же лета оскорбишася новгородци, глаголюще: “яко быти нам рабом и многа зла всячески пострадати от Рюрика и от рода его”. Того же лета уби Рюрик Вадима Храброго и иных многих изби новгородцев, съветников его».

обращение ко всей совокупности подданных и т. п. было свойственно и римской правовой терминологии, воспринятой «варварами» (см. об этом, в частности, об эдиктах, адресованных «всем готам и римлянам», в кн.: *Шкаренков 2004*, 19). Франкский майордом Пипин, получив поддержку папы, созывал ассамблею «всех франков», чтобы провозгласить себя королем (*Лебек 1993*, 240). Кроме того, обозначение своего этноса как совокупности правомочных индивидов было известно и собственно «варварской» этнонимии: ср. значение имени алеманов — «все мужи». Также ср. обычай обращения к федератам у Тита Ливия: «Посол, прият к границам тех, от кого требуют удовлетворения, покрывает голову ... и говорит: “Внемли, Юпитер, внемлите рубежи племени...; да услышит меня Высший Закон. Я вестник всего римского народа, по праву и чести прихожу я послом, словам моим да будет вера”» (*Ливий Тут 1989*, 39). Особую архаику можно усмотреть в обращении к верховному богу Рима — громовержцу Юпитеру в сравнении с обращением руси к Перуну при заключении договоров с греками, см.: *Белова 2019*.

⁵⁶ Ипатьевская летопись 1998, стб. 14.

⁵⁷ ПВЛ 1996, 13, 404 (коммент.).

⁵⁸ В хронографах сюжет призвания заимствован из летописной традиции (см.: *Вилкул 2019*, 214–218).

⁵⁹ *Мельникова 1995*.

⁶⁰ Ср. о Русской земле в ПВЛ: *Барац 1927*, 794; *Данилевский 2019*, 330–331.

⁶¹ *Ливий Тут 1989*, т. 1, кн. VII, 30–31.

⁶² Субъектом архаического права оказывался не индивид, а народ (ср. о «праве народов»: *Кнабе 1993*, 626).

⁶³ То же значение имеет имя более знаменитого культурного героя — Прометей (см.: *Суриков 2006*, 85), но Прометей не был существом земного происхождения — он был титаном, относился к мифологическому поколению великанов (ср. библейских исполинов и т. п.).

⁶⁴ Летописный сборник 2000, 9.

Легенда о призвании варягов в начальном летописании синтезирует мотивы *передачи под власть* призванных князей великой и обильной земли и *договора* — «ряда», который должны соблюдать варяжские князья. Деяния летописного Рюрика, призванного в Новгород судить и рядить по праву, не увязываются с «рабством» подданных в начальном летописании (это отличает летопись от Хроники Козьмы Пращского): мотив «рабства» новгородцев (и восстания некоего Вадима, носителя имени не менее экзотического для древнерусского ономастикона, чем имя *Гостомысл*) возникает лишь в «московский» период (Никоновская летопись).

Вполне очевидная ориентация летописного изложения на библейскую традицию относится ко всем редакциям «варяжской легенды». Существен в этом отношении сюжет, связанный с правлением праведного библейского царя Асы: пророк Азария предупреждает царя⁶⁵, что в правление живущего «без закона» «народ будет сражаться с народом, и город с городом»; разные племена собрались тогда в Иерусалиме, и весь народ вступил в завет с Всевышним, скрепив договор клятвой.

2-я книга Паралипоменон неизвестна в ранних славянских переводах, но близкий мотив неурядиц, предшествующих всемирному потопу, повторяется в широко распространенном (с X в.?) апокрифе — славянской книге Еноха, известной (судя по упоминанию «енохических» сюжетов) и ПВЛ. Во сне Господь является сыну Еноха Мефусалому и предвещает, что «языкъ на языкъ възмутитъ ся рать, наполнитъ вся земля крови и нестроения зла», что приведет к потопу; Мефусалом «призва вся старца людския⁶⁶, и повѣда все... и (по смерти Мефусалом. — В. П.) бысть миръ и устройство по всей земли», но в следующем поколении стали «людие на люди възмушаху ся, и языкъ на языкъ въста бранью, и бысть мятеж великъ», что привело к потопу⁶⁷. Впрочем, Т. Л. Вилкул указывает вслед за И. И. Срезневским и параллели из Хроники Малалы, но касающиеся римской истории⁶⁸: «после того ка убиен бысть от Рома Римъ», «народи мястися начяша и бысть в нихъ оусобица»⁶⁹.

Специфика варяжской легенды Новгородской первой летописи (НПЛ) заключается в особой роли городов в распрях между изгнавшими насильников-варягов «людьми, рекомии Словени и Кривици и Меря», которые «начаша владѣти сами собѣ и *города ставити*», затем «въсташа сами на ся воевать, и бысть межѣ ими рать велика и усобица, и *въсташа град на град* (езде курсив мой. — В. П.), и не бѣша в нихъ правды»⁷⁰. Так понимал историю В. О. Ключевский: «Туземцы, собравшись с силами, прогнали пришельцев и для обороны от их дальнейших нападений наняли партию других варягов, которых звали русью. Укрепившись в обороняемой стране, нарубив себе “городов”, укрепленных стоянок, наемные сторожа повели себя завоевателями»⁷¹.

Кроме того, летописный мотив создания городов, предвещающий распри, характерен для другого апокрифического (псевдоэпиграфического) источника начального летописания, исследованного С. Франклином⁷² вслед за любителем древнерусской словесности Г. М. Барацем, — «Книги Юбилеев или Малого Бытия»⁷³. Архетипическим началом этого процесса, естественно, оказывается строительство Вавилона с его башней,

⁶⁵ Паралипоменон 2.15.6. Ср.: Барац 1927, 790.

⁶⁶ Замечу, что и фигура старцев («старцев градских» и т. п.) — характерный для начального летописания библеизм (см.: Вилкул 2014, 3–14).

⁶⁷ БЛДР 1999, 232–236.

⁶⁸ Вилкул 2019, 154–155.

⁶⁹ Ср. о распрах Рима с соседними городами, куда Ромул отправил посольства для соглашения о браках: Ливий Тут 1989, т. 1, кн. I. 9 (1).

⁷⁰ НПЛ 2000, 106.

⁷¹ Ключевский 1987, 155.

⁷² Franklin 1982.

⁷³ Вилкул 2019, 144–145.

затем следует сюжет вторжения Ханаана в жребий Сима, который в рассказе ПВЛ⁷⁴ о распре между Ярославичами благочестиво заменен на общего предка праведных народов Сифа⁷⁵. После этого «начали сыновья Ноевы воевать друг с другом ... и возводить мощные города, и стены, и башни, и люди возвысились над племенами, и обрели начала царств, и пошли войной народ на народ, и племя на племя, и город на город» и т. д. до рождения Авраама, оказавшегося от идолослужения и заключившего завет с Богом: и здесь «Малое Бытие» следует цитированному выше Паралипомену⁷⁶. Псевдоэпиграф широко использовался средневековыми византийскими хрониками, но не главным источником начального летописания — Хроникой Амартола, греческий источник широкого использования псевдоэпиграфа составителем Начальной летописи неизвестен⁷⁷, как до конца не известен состав и другого предполагаемого византийского по происхождению источника летописания — упомянутого Хронографа по великому изложению⁷⁸.

В позднесредневековый период — эпоху Московского царства — традиции летописания трансформировались: представления об античном этногенезе славянских народов развивались под влиянием польского «сарматизма» — возведения элиты Польши к степным всадникам сарматам. Иными представлялись истоки русских (России), происхождение которых возводилось в соответствии с принципами средневековой этимологии к сарматскому объединению роксоланов, казачество находило свои истоки (на основании того же «этимологического» сходства имен) у хазар⁷⁹. Власть московских государей возводилась к императору Августу (в теории «Москва — Третий Рим»), Новгород воспринимался как исконная вотчина русских князей⁸⁰.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

БЛДР	Библиотека литературы Древней Руси
НПЛ	Новгородская Первая летопись младшего извода
ПВЛ	Повесть временных лет
ХВИ	Хронограф по великому изложению

ЗАЯВЛЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

БЛАГОДАРНОСТИ

Статья подготовлена на основе доклада на Международной научной конференции «Исторический нарратив: прошлое, настоящее, будущее» (к 2500-летию со дня рождения Геродота Галикарнасского и 2000-летию со дня смерти Тита Ливия) 21–22 сентября 2018 г.

⁷⁴ ПВЛ 1996, 79.

⁷⁵ Вслед за ХВИ/Хроникой Малалы (?). Ср.: *Истрин* 1994, 39; *Mango* 1980, 194. (См. об источниках сюжета: *Вилкул* 2019, 76–77, 138–143). Сифовы «внуци» у Малалы были первыми составителями истории, записавшими на возведенных ими столпах все события «от Адама» (*Истрин* 1994, 22).

⁷⁶ Ветхозаветные апокрифы 2000, 38.

⁷⁷ *Franklin* 1982, 19.

⁷⁸ *Вилкул* 2019; ср. предшествующий содержательный обзор: *Гимон* 2012, 194–195.

⁷⁹ Ср.: *Петрухин* 2018.

⁸⁰ Ср.: *Лурье* 1994.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

- Аверинцев, С. С. Риторика и истоки европейской литературной традиции. М.: Яз. рус. культ., 1996. 446, [1] с.
- Аничков, Е. В. Язычество и Древняя Русь. М.: Академ. проект, 2009. 538 с.
- Аристотель. Политика // Аристотель. Соч. В 4 т. Т. 4 / пер. с древнегреч. С. А. Жебелева; общ. ред. А. И. Доватура. М.: Мысль, 1984. С. 375–645.
- Арнаутова, Ю. А. Образ истории и историческое сознание в латинской историографии X–XIII веков // История и память: Историческая культура Европы до начала Нового времени / под ред. Л. П. Репиной. М.: Кругъ, 2006. С. 277–307.
- Ассман, Я. Культурная память: письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности / пер. с нем. М. М. Сокольской. М.: Яз. слав. культ., 2004. 363 с.
- Барац, Г. М. Собрание трудов по вопросу о еврейском элементе в памятниках древнерусской письменности. В 3 т. Т. 1, отд. 2. Памятники религиозно-духовные, бытоописательные, дружинно-эпические и т. п. Париж: [Impr. d'art Voltaire (O. Leluk)], 1927. 916 с.
- Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов / пер. с лат., вступ. ст., комм. В. В. Эрлихмана; отв. ред. С. Е. Федоров. СПб.: Алетейя, 2001. 361, [1] с.
- Белова, О. В. Почитание «чужих» богов: историко-этнографические заметки / О. В. Белова, В. Я. Петрухин // Этнография/Etnografia. 2019. № 3 (5). С. 86–108.
- Библиотека литературы Древней Руси / под ред. Д. С. Лихачёва и др. Т. 3. XI–XII века. СПб.: Наука, 1999. 413 с.
- Бойцов, М. А. Что такое потестарная имагология? // Власть и образ: очерки потестарной имагологии / отв. ред. М. А. Бойцов, Ф. Б. Успенский. СПб.: Алетейя, 2010. С. 5–37.
- Веселовский, А. Н. Избранное: традиционная духовная культура / отв. ред. и сост. Т. В. Говенько. М.: РОССПЭН, 2009. 622 с.
- Ветхозаветные апокрифы / пер. Е. В. Витковского. М.: АСТ, 2000. 754 с.
- Видукинд Корвейский. Деяния саксов / пер. с лат.; вступ. ст., пер. и комм. Г. Э. Санчука; отв. ред. В. Д. Королюк. М.: Наука, 1975. 272 с.
- Вилкул, Т. Л. Летопись и хронограф: Текстология домонгольского киевского летописания. М.: Квадрига, 2019. 459, [3] с.
- Вилкул, Т. Л. «Старцы» и «старейшины» древнерусской летописи: свидетельства Повести временных лет и славянского Восемикнижия // Славяноведение. 2014. № 2. С. 3–14.
- Водолазкин, Е. Г. Всемирная история в литературе Древней Руси (на материале хронографического и палейного повествования XI–XV веков). 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: Пушкинский Дом, 2008. 493 с.
- Галл Аноним. Хроника и деяния князей или правителей польских / пер. с лат., предисл. и примеч. Л. М. Поповой; отв. ред. В. Д. Королюк. М.: Изд-во АН СССР, 1961. 171 с.
- Гене, Б. История и историческая культура средневекового Запада / пер. с фр. Е. В. Баевской и Э. М. Береговской; отв. ред. И. И. Соколова. М.: Яз. слав. культ., 2002. 494 с.
- Геродот. История в девяти книгах / пер. и примеч. Г. А. Стратановского; под общ. ред. С. Л. Утченко. Л.: Наука, 1972. 600 с.
- Гимон, Т. В. Историописание раннесредневековой Англии и Древней Руси: сравнительные исследования. М.: Ун-т Дмитрия Пожарского, 2012. 689 с.
- Гиппиус, А. А. К истории сложения текста Новгородской первой летописи // Новгородский исторический сборник. Вып. 6 (16). СПб.: Дмитрий Буланин, 1997. С. 3–72.
- Горелов, М. М. Нормандское завоевание в английском историописании XII–XIV веков // История и память: Историческая культура Европы до начала Нового времени / под ред. Л. П. Репиной. М.: Кругъ, 2006. С. 369–387.
- Грамоты Великого Новгорода и Пскова / под ред. С. Н. Валка. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. 408 с.

- Данилевский, И. Н.* Герменевтические основы изучения летописных текстов. Повесть временных лет. 2-е изд. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2019. 438 с.
- Династия Каролингов. От королевства к империи. VIII–IX века: источники / отв. ред. А. И. Сидоров. СПб.: Евразия, 2019. 512 с.
- Доддс, Э. Р.* Язычник и христианин в смутное время: Некоторые аспекты религиозных практик от Марка Аврелия до Константина / пер. с англ. А. Д. Пантелеева и А. В. Петрова. СПб.: Гум. Академ., 2003. 317, [2] с.
- Живов, В. М.* Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. М.: Яз. слав. культ., 2002. 758 с.
- Зверева, В. В.* Образы прошлого у раннесредневековых христианских историков // История и память: Историческая культура Европы до начала Нового времени / под ред. Л. П. Репиной. М.: Кругъ, 2006. С. 223–241.
- Из ранней истории шведского народа и государства: Первые описания и законы / под ред. А. А. Сванидзе. М.: РГГУ, 1999. 332, [2] с.
- Ипатьевская летопись. Репр. воспроизведение изд. 1908 г. / отв. ред. В. И. Бутанов // Полное собрание русских летописей. Т. II. М.: Яз. рус. культ., 1998. 648 с.
- Истрин, В. М.* Хроника Иоанна Малалы в славянском переводе / подгот. изд. М. И. Чернышовой. М.: Джон Уайли энд Санз, 1994. 473 с.
- Клейнберг, И. Э.* «Дедрик Бернский» в Новгородской I летописи // Летописи и хроники: Сб. статей. Посвящается памяти А. Н. Насонова / отв. ред. Б. А. Рыбаков. М.: Наука, 1974. С. 129–136.
- Ключевский, В. О.* Сочинения / под ред. В. Л. Янина. В 9 т. Т. 1. М.: Мысль, 1987. 430, [1] с.
- Кнабе, Г. С.* Рим Тита Ливия — образ, миф, история // *Ливий Тит*. История Рима от основания города. В 3 т. Т. 3 / отв. ред. Е. С. Голубцова. М.: Наука, 1993. С. 590–655.
- Козьма Пражский*. Чешская хроника / вступ. ст., пер. и комм. Г. Э. Санчука; отв. ред. Л. В. Разумовская и В. С. Соколов. М.: Изд-во АН СССР, 1962. 296 с.
- Коллингвуд, Р. Дж.* Идея истории. Автобиография / пер. с англ. и коммент. Ю. А. Асеева. М.: Наука, 1980. 485 с.
- Кузнецова, Т. И.* Античная эпическая историография. Геродот, Тит Ливий / Т. И. Кузнецова, Т. А. Миллер. М.: Наука, 1984. 213 с.
- Лебек, С.* Происхождение франков V–IX вв. / пер. с франц. В. А. Павлова. М.: Скарабей, 1993. 347, [1] с.
- Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью. Репр. воспроизведение изд. 1862 г. / предисл. Б. М. Клосса // Полное собрание русских летописей. Т. IX. М.: Яз. рус. культ., 2000. 288 с.
- Ливий Тит*. История Рима от основания города: в 3 т. / отв. ред. Е. С. Голубцова. М.: Наука, 1989–1993. 3 т.
- Лихачёв, Д. С.* Русские летописи и их культурно-историческое значение. Л.; М.: Изд-во АН СССР, 1947. 499 с.
- Лурье, Я. С.* Две истории Руси XV века. СПб.: Дмитрий Буланин, 1994. 238, [2] с.
- Мельникова, Е. А.* Гостомысл // Древняя Русь в средневековом мире: Энциклопедия / под ред. Е. А. Мельниковой и В. Я. Петрухина. М.: Ладомир, 2014. С. 200.
- Мельникова, Е. А.* Легенда о «призвании варягов» и становление древнерусской историографии / Е. А. Мельникова, В. Я. Петрухин // Вопросы истории. 1995. № 2. С. 44–57.
- Немецкие анналы и хроники X–XI столетий / пер. И. В. Дьяконова и В. В. Рыбакова. М.: Ун-т Дмитрия Пожарского, 2012. 558, [1] с.
- Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. Репр. воспроизведение изд. 1950 г. / предисл. Б. М. Клосса // Полное собрание русских летописей. Т. III. М.: Яз. рус. культ., 2000. 692 с.
- Петрухин, В. Я.* Алангасары — алано-хазарская генеалогия древних народов? // Вертоград многоцветный: Славяне, Русь и их соседи в Средние века и раннее Новое

- время: Сб. ст. к 80-летию Б.Н. Флоря / отв. ред. А.А. Турилов. М.: Индрик, 2018. С. 49–53.
- Петрухин, В.Я. Как начиналась Начальная летопись? // Труды отдела древнерусской литературы. СПб.: ИПП Искусство России, 2006. Т. 57. С. 33–41.
- Петрухин, В.Я. К происхождению новгородского Гостомысла // Славяноведение. 2019(а). № 2. С. 78–83.
- Петрухин, В.Я. «Раннеисторические описания» и начало русского летописания // Славистика. Индоевропеистика. Культурология. Славянское и балканское языкознание: К 90-летию со дня рождения Владимира Николаевича Топорова / под ред. А.Ф. Журавлёва и Ф.Б. Успенского. М.: Ин-т славяноведения РАН, 2019(б). С. 264–278.
- Петрухин, В.Я. Становление государств и власть правителя в германо-скандинавских и славянских традициях // Общественная мысль славянских народов в эпоху раннего Средневековья / отв. ред. Б.Н. Флоря. М.: Рукопис. памятники Древней Руси, 2009. С. 81–150.
- Повесть временных лет / подгот. текста, пер., ст. и комм. Д.С. Лихачёва; под ред. В.П. Адриановой-Перетц. 2-е изд., подг. М.Б. Свердлов. СПб.: Наука, 1996. 668 с.
- Рогожский летописец; Тверской сборник. Репр. воспроизведение. изд. 1863 и 1922 гг. / предисл. Б.М. Клосса // Полное собрание русских летописей. Т. XV. М.: Яз. рус. культ., 2000. 558 с.
- Рыбаков, Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII–XIII вв. М.: Наука, 1982. 590 с.
- Светоний Транквилл Гай. Жизнь двенадцати цезарей / пер. с лат., предисл. и примеч. М.Л. Гаспарова. М.: Правда, 1988. 510 с.
- Стендер-Петерсен, А. Варангика: историко-филологические исследования / пер. с фр., нем. и англ.; под ред. Е.А. Мельниковой. М.: Варфоломеев А.Д., 2021. 384 с.
- Стефанович, П.С. «Сказание о призвании варягов», или *Origo gentis russorum*? // Древнейшие государства Восточной Европы. 2010. М.: Ин-т всеобщ. истории РАН, 2012. С. 514–583.
- Суриков, И.Е. Парадоксы исторической памяти в античной Греции // История и память: Историческая культура Европы до начала Нового времени / под ред. Л.П. Репиной. М.: Кругъ, 2006. С. 56–86.
- Творогов, О.В. Древнерусские хронографы. Л.: Наука, 1975. 320 с.
- Творогов, О.В. Летописец Еллинский и Римский. В 2 т. Т. 1. Текст. СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. 510, [2] с.
- Тихомиров, М.Н. Русское летописание. М.: Наука, 1979. 383, [1] с.
- Топоров, В.Н. О космологических источниках раннеисторических описаний // Из работ московского семиотического круга / сост. Т.М. Николаева. М.: Яз. рус. культ.: Кошелев, 1997. С. 128–170.
- Трубачев, О.Н. Этногенез и культура древнейших славян: лингвистические исследования. 2-е изд., доп. М.: Наука, 2002. 488, [1] с.
- Флоря, Б.Н. Польская общественная мысль на переломе от раннего к развитому Средневековью // Власть и общество в литературных текстах Древней Руси и других славянских стран (XII–XIII вв.) / отв. ред. Б.Н. Флоря. М.: Знак, 2012. С. 231–276.
- Флоря, Б.Н. Русь и русские в историко-политической концепции Яна Длугоша // Славяне и их соседи: Этнопсихологические стереотипы в Средние века: [сб. ст.] / отв. ред. Г.Г. Литаврин. М.: [б. и.], 1990. С. 16–28.
- Фролов, Э.Д. Парадоксы истории — парадоксы Античности. СПб.: Изд. дом СПбГУ, 2004. 419 с.
- Хейзинга, Й. Осень Средневековья / пер. Д.В. Сильвестрова; отв. ред. С.С. Аверинцев. М.: Наука, 1988. 539, [1] с.
- Шахматов, А.А. История русского летописания. Т. 1, кн. 2. СПб.: Наука, 2003. 1021, [2] с.
- Шкаренков, П.П. Римская традиция в варварском мире: Флавий Кассиодор и его эпоха. М.: РГГУ, 2004. 270, [1] с.

- Элиаде, М. Космос и история: Избранные работы / пер. с фр. и англ.; сост. Н. Я. Дороган. М.: Прогресс, 1987. 311, [1] с.
- Янин, В. Л. Новгородские посадники. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Языки славянской культуры, 2003. 511 с.
- Franklin, S. Some apocryphal sources of Kievan Russian Historiography // Oxford Slavonic papers. 1982. Vol. 15. P. 1–27.
- Mango, C. Byzantium: the Empire of New Rome. London: Phoenix / Giant, 1980. 334 p.

Article

Antiquity Tradition and the Beginning of Slavic Historiography: Jubilee Notes

VLADIMIR PETRUKHIN

School of History, Faculty of Humanities, HSE University, Moscow, Russia
Institute of Slavic Studies, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

ABSTRACT

Historiographical notes are timed to coincide with the anniversaries of Herodotus and Titus Livius. The beginning of Slavic historiography is associated with the era of the formation of Slavonic statehood and Christian culture in the 12th century. The First historians were clerics: Gall Anonymous, Kozma of Prague, Russian chronicler — compiler of the Tale of Bygone Years. Historiographical examples were Latin and Greek (Byzantine) chronicles, synthesizing antique and biblical traditions. These samples are focused on the description of the deeds of cultural heroes (from Kyi to Gostomysl), the plots of intertribal conflicts, the founding of towns, and the formation of state order (the vocation of the Varangians), etc.

KEYWORDS: Herodotus, Titus Livy, Bible, cultural heroes, the vocation of the Varangian

FOR CITATION: Petrukhin, Vladimir. 2022. “Antique Tradition and the Beginning of Slavic Historiography: Jubilee Notes.” *History HSE* 1: 13–30. (In Russ.).

SUBMITTED: 12.06.2021 | **ACCEPTED FOR PUBLICATION:** 17.10.2021

DISCLOSURE STATEMENT

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

ACKNOWLEDGEMENTS

This paper is based on a presentation given at the International Academic Conference “Historical Narrative: Past, Present, and Future” (on the 2500th anniversary of Herodotus’ and 2000th anniversary of Titus Livius’ birth) on September, 21–22, 2018.

REFERENCES

- Franklin, Simon. 1982. “Some apocryphal sources of Kievan Russian Historiography.” *Oxford Slavonic Papers* 15: 1–27.
- Mango, Cyril. 1980. *Byzantium: the Empire of New Rome*. London: Phoenix / Giant.
- Anichkov, E. V. 2009. *Yazychestvo i Drevnyaya Rus’*. Moscow: Akademicheskiiy proekt. (In Russ.).

- Aristotle. 1984. "Politika." Translated by S.A.Zhebelev. Vol. 6 of *Sochineniya*, edited by A. I. Dovatur. Moscow: Mysl'. (In Russ.).
- Arnautova, Yu. A. 2006. "Obraz istorii i istoricheskoe soznanie v latinskoj istoriografii X–XIII vekov." In *Istoriya i pamyat': Istoricheskaya kul'tura Evropy do nachala Novogo vremeni*, edited by L. P. Repina, 277–307. Moscow: Krug". (In Russ.).
- Assman, Ya. 2004. *Kul'turnaya pamyat': pis'mo, pamyat' o proshlom i politicheskaya identichnost' v vysokikh kul'turakh drevnosti*. Translated by M. M. Sokol'skoy. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury. (In Russ.).
- Averintsev, S. S. 1996. *Ritorika i istoki evropeyskoj literaturnoy traditsii*. Moscow: Shkola "Yazyki russkoj kul'tury." (In Russ.).
- Barats, G. M. 1927. *Sobranie trudov po voprosu o evrejskom elemente v pamyatnikakh drevnerusskoj pis'mennosti*. Vol. 1, sec. 2, *Pamyatniki religiozno-dukhovnye, bytoopisatel'nye, družinno-epicheskie i t. p.* Paris: [Impr. d'art Voltaire (O. Leluk)]. (In Russ.).
- Beda Venerabilis. 2001. *Tserkovnaya istoriya naroda anglov*. Translated by V. V. Erlikhman. St. Petersburg: Aleteyya. (In Russ.).
- Belova, O. V., and V. Ya. Petrukhin. 2019. "Pochitanie 'chuzhikh bogov': istoriko-etnograficheskie zametki." *Etnografiya/Etnografia* 3: 86–108. (In Russ.).
- Boytsov, M. A. 2010. "Chto takoe potestarnaya imagologiya?" In *Vlast' i obraz: ocherki potestarnoy imagologii*, edited by M. A. Boytsov and F. B. Uspenskiy, 5–37. St. Petersburg: Aleteyya. (In Russ.).
- Bytanov, V. I., ed. (1908) 1998. *Ipat'evskaya letopis'*. Vol. II of *Polnoe sobranie russkikh letopisey*. Edited by A. A. Shakhmatov. Reprint, Moscow: Yazyki russkoj kul'tury. (In Russ.).
- Cosmas Pragensis. 1962. *Cheshskaya khronika*. Translated by G. E. Sanchuk. Moscow: Izdatel'stvo AN SSSR. (In Russ.).
- Danilevskiy, I. N. 2019. *Germenevticheskie osnovy izucheniya letopisnykh tekstov. Povest' vremennykh let*. 2nd ed. St. Petersburg: Izdatel'stvo Olega Abyshko. (In Russ.).
- Dodds, E. R. 2003. *Yazychnik i khristianin v smutnoe vremya: Nekotorye aspekty religioznykh praktik ot Marka Avreliya do Konstantina*. Translated by A. D. Panteleev and A. V. Petrov. St. Petersburg: Gumanitarnaya Akademiya. (In Russ.).
- D'yakonov, I. V., and V. V. Rybakov, eds. 2012. *Nemetskie annaly i khroniki X–XI stoletiy*. Moscow: Univ. Dmitriya Pozharskogo. (In Russ.).
- Eliade, M. 1987. *Kosmos i istoriya: Izbrannye raboty*. Edited by I. R. Grigulevich, M. L. Gasparov. Moscow: Progress. (In Russ.).
- Florya, B. N. 2012. "Pol'skaya obshchestvennaya mysl' na perelome ot rannego k razvito-mu Srednevekov'yu." In *Vlast' i obshchestvo v literaturnykh tekstakh Drevney Rusi i drugikh slavyanskikh stran (XII–XIII vv.)*, edited by B. N. Florya, 231–76. Moscow: Znak. (In Russ.).
- Florya, B. N. 1990. "Rus' i russkie v istoriko-politicheskoy kontseptsii Yana Dlugosha." In *Slavyane i ikh sosedi: Etnopsikhologicheskie stereotipy v Srednie veka*, edited by G. G. Litavrin, 16–28. Moscow: n.p. (In Russ.).
- Frolov, E. D. 2004. *Paradoksy istorii—paradoksy Antichnosti*. St. Petersburg: Izd. dom Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta. (In Russ.).
- Gaius Suetonius Tranquillus. 1988. *Zhizn' dvenadtsati tsezarey*. Translated by M. L. Gasparov. Moscow: Pravda. (In Russ.).
- Gallus Anonymus. 1961. *Khronika i deyaniya knyazey ili praviteley pol'skikh*. Translated by L. M. Popova. Moscow: Izdatel'stvo AN SSSR. (In Russ.).
- Gene, B. 2002. *Istoriya i istoricheskaya kul'tura srednevekovogo Zapada*. Translated by E. V. Baevskaya and E. M. Beregovskaya. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury. (In Russ.).
- Gimon, T. V. 2012. *Istoriopisanie rannesrednevekovoy Anglii i Drevney Rusi: sravnitel'nye issledovaniya*. Moscow: Univ. Dmitriya Pozharskogo. (In Russ.).
- Gippius, A. A. 1997. "K istorii slozheniya teksta Novgorodskoy pervoy letopisi." *Novgorodskiy istoricheskij sbornik* 6: 3–72. (In Russ.).

- Gorelov, M. M. 2006. “Normandskoe zavoevanie v angliyskom istoriopisaniy XII–XIV vekov.” In *Istoriya i pamyat’: Istoricheskaya kul’tura Evropy do nachala Novogo vremeni*, edited by L. P. Repina, 369–87. Moscow: Krug”. (In Russ.).
- Herodotus. 1972. *Istoriya v devyati knigakh*. Translated by G. A. Stratanovskiy. Leningrad: Nauka. (In Russ.).
- Istrin, V. M. 1994. *Khronika Ioanna Malaly v slavyanskom perevode*. Edited by M. I. Chernyshova. Moscow: Dzhon Uayli end Sanz. (In Russ.).
- Kheyzinga, Y. 1988. *Osen’ Srednevekov’ya*. Translated by D. V. Sil’vestrov. Moscow: Nauka. (In Russ.).
- Kleynenberg, I. E. 1974. “Dedrik Bernskiy’ v Novgorodskoy I letopisi.” In *Letopisi i khroniki: Sb. statey. Posvyashchaetsya pamyati A. N. Nasonova*, edited by B. A. Rybakov, 129–36. Moscow: Nauka. (In Russ.).
- Kloss, B. M., ed. 2000. *Rogozhskiy letopisets; Tverskoy sbornik*. Vol. XV of *Polnoe sobranie russkikh letopisey*. Reprint, Moscow: Yazyki russkoy kul’tury. First published in 1863. (In Russ.).
- , ed. (1862) 2000. *Letopisnyy sbornik, imenuemyy Patriarshey ili Nikonovskoy letopis’yu*. Vol. IX of *Polnoe sobranie russkikh letopisey*. Edited by A. F. Bychkov. Reprint, Moscow: Yazyki russkoy kul’tury. (In Russ.).
- , ed. (1950) 2000. *Novgorodskaya pervaya letopis’ starshego i mladshhego izvodov*. Vol. III of *Polnoe sobranie russkikh letopisey*. Edited by M. N. Tikhomirov. Reprint, Moscow: Yazyki russkoy kul’tury, 2000. (In Russ.).
- Klyuchevskiy, V. O. 1987. *Sochineniya*. 9 vols. Edited by V. L. Yanin. Vol. 1, *Kurs russkoy istorii*. Moscow: Mysl’. (In Russ.).
- Knabe, G. S. 1993. “Rim Tita Liviya — obraz, mif, istoriya.” In *Istoriya Rima ot osnovaniya goroda*, edited by E. S. Golubtsova, 590–655. Moscow: Nauka. (In Russ.).
- Kollingvud, R. D. 1980. *Ideya istorii. Avtobiografiya*. Translated by Yu. A. Aseeva. Moscow: Nauka. (In Russ.).
- Kuznetsova, T. I., and T. A. Miller. 1984. *Antichnaya epicheskaya istoriografiya. Gerodot, Tit Liviy*. Moscow: Nauka. (In Russ.).
- Lebek, S. 1993. *Proiskhozhdenie frankov V–IX vv.* Translated by V. A. Pavlov. Moscow: Skarabey. (In Russ.).
- Likhachev, D. S. 1947. *Russkie letopisi i ikh kul’turno-istoricheskoe znachenie*. Leningrad; Moscow: Izdatel’stvo AN SSSR. (In Russ.).
- , et al., eds. 1999. *Biblioteka literatury Drevney Rusi*. Vol. 3, *XI–XII veka*. St. Petersburg: Nauka. (In Russ.).
- Lur’e, Ya. S. 1994. *Dve istorii Rusi XV veka*. St. Petersburg: Dmitriy Bulanin. (In Russ.).
- Mel’nikova, E. A., and V. Ya. Petrukhin. 1995. “Legenda o ‘prizvanii varyagov’ i stanovlenie drevnerusskoy istoriografii.” *Voprosy istorii* 2: 44–57. (In Russ.).
- Mel’nikova, E. A. 2014. “Gostomysl.” In *Drevnyaya Rus’ v srednevekovom mire: Entsiklopediya*, edited by E. A. Mel’nikova and V. Ya. Petrukhin, 200. Moscow: Ladomir. (In Russ.).
- Petrukhin, V. Ya. 2018. “Alangasary — alano-khazarskaya genealogiya drevnikh narodov?” In *Vertograd mnogotsvetnyy: Slavyane, Rus’ i ikh sosedi v Srednie veka i rannee Novoe vremya: Sb. st. k 80-letiyu B. N. Flori*, edited by A. A. Turilov, 49–53. Moscow: Indrik. (In Russ.).
- . 2019. “K proiskhozhdeniyu novgorodskogo Gostomysla.” *Slavyanovedenie* 2 (2019): 78–83. (In Russ.).
- . 2006. “Kak nachinalas’ Nachal’naya letopis’?” *Trudy otdela drevnerusskoy literatury* 57: 33–41. (In Russ.).
- . 2009. “Stanovlenie gosudarstv i vlast’ pravatelya v germano-skandinavskikh i slavyanskikh traditsiyakh.” In *Obshchestvennaya mysl’ slavyanskikh narodov v epokhu ranego Srednevekov’ya*, edited by B. N. Florya, 81–150. Moscow: Rukopisnye pamyatniki Drevney Rusi. (In Russ.).

- . 2019. “Ranneistoricheskie opisaniya’ i nachalo russkogo letopisaniya.” In *Clavistika. Indoeuropeistika. Kul’turologiya. Clavyanskoe i balkanskoe yazykoznanie: K 90-letiyu so dnya rozhdeniya Vladimira Nikolaevicha Toporova*, edited by A. F. Zhuravlev and F. B. Uspenskiy, 264–78. Moscow: Institut slavyanovedeniya RAN. (In Russ.).
- Rybakov, B. A. 1982. *Kievskaya Rus’ i russkie knyazhestva XII–XIII vv.* Moscow: Nauka. (In Russ.).
- Shakhmatov, A. A. 2003. *Istoriya russkogo letopisaniya*. Vol. 1, bk. 2, *Razyskaniya o drevneyshikh russkikh letopisnykh svodakh*. St. Petersburg: Nauka. (In Russ.).
- Shkarenkov, P. P. 2004. *Rimskaya traditsiya v varvarskom mire: Flaviy Kassiodor i ego epokha*. Moscow: RGGU. (In Russ.).
- Sidorov, A. I., ed. 2019. *Dinastiya Karolingov. Ot korolevstva k imperii. VIII–IX veka: istochniki*. St. Petersburg: Evraziya. (In Russ.).
- Stefanovich, P. S. 2012. “Skazanie o prizvanii varyagov, ili Origo gentis russorum?” In *Drevneyshie gosudarstva Vostochnoy Evropy 2010*, 514–83. Moscow: Institut vseobshchey istorii RAN. (In Russ.).
- Stender-Petersen, A. 2021. *Varangika: istoriko-filologicheskie issledovaniya*. Edited by E. A. Mel’nikova. Moscow: Varfolomeev A. D. (In Russ.).
- Surikov, I. E. 2006. “Paradoksy istoricheskoy pamyati v antichnoy Gretsii.” In *Istoriya i pamyat’: Istoricheskaya kul’tura Evropy do nachala Novogo vremeni*, edited by L. P. Repinoy, 56–86. Moscow: Krug”. (In Russ.).
- Svanidze, A. A. 1999. *Iz ranney istorii shvedskogo naroda i gosudarstva: Pervye opisaniya i zakony*. Edited by A. A. Svanidze. Moscow: RGGU. (In Russ.).
- Sverdlov, M. B., ed. 1996. *Povest’ vremennykh let*. Translated by D. S. Likhachev. 2nd ed. St. Petersburg: Nauka. (In Russ.).
- Tikhomirov, M. N. 1979. *Russkoe letopisanie*. Moscow: Nauka. (In Russ.).
- Titus Livius. 1989–93. *Istoriya Rima ot osnovaniya goroda*. 3 vols. Edited by E. S. Golubtsova. Moscow: Nauka. (In Russ.).
- Toporov, V. N. 1997. “O kosmologicheskikh istochnikakh ranneistoricheskikh opisaniy.” In *Iz rabot moskovskogo semioticheskogo kruga*, edited by T. M. Nikolaeva, 128–70. Moscow: Yazyki russkoy kul’tury: Koshelev. (In Russ.).
- Trubachev, O. N. 2002. *Etnogenez i kul’tura drevneyshikh slavyan: lingvisticheskie issledovaniya*. 2nd ed. Moscow: Nauka. (In Russ.).
- Tvorogov, O. V. 1975. *Drevnerusskie khronografy*. Leningrad: Nauka. (In Russ.).
- . 1999. *Letopisetsy Ellinskiy i Rimskiy*. Vol. 1, *Tekst*. St. Petersburg: Dmitriy Bulanin. (In Russ.).
- Valk, S. N., ed. 1949. *Gramoty Velikogo Novgoroda i Pskova*. Moscow; Leningrad: Izdatel’stvo AN SSSR. (In Russ.).
- Veselovskiy, A. N. 2009. *Izbrannoe: traditsionnaya dukhovnaya kul’tura*. Edited by T. V. Goven’ko. Moscow: ROSSPEN. (In Russ.).
- Vilkul, T. L. 2019. *Letopis’ i khronograf: Tekstologiya domongol’skogo kievskogo letopisaniya*. Moscow: Kvadriga. (In Russ.).
- . 2014. “Startsi i ‘stareyshiny’ drevnerusskoy letopisi: svidetel’sstva Povesti vremennykh let i slavyanskogo Vos’miknizhiya.” *Slavyanovedenie* 2: 3–14. (In Russ.).
- Vitkovskiy, E. V. et al., eds. 2000. *Vetkhovzavetnye apokrifyy*. Translated by E. V. Vitkovskiy. Moscow: AST. (In Russ.).
- Vodolazkin, E. G. 2008. *Vsemirnaya istoriya v literature Drevney Rusi (na materiale khronograficheskogo i paleynogo povestvovaniya XI–XV vekov)*. 2nd ed. St. Petersburg: Pushkinskiy Dom. (In Russ.).
- Widukind of Corvey. 1975. *Deyaniya saksov*. Translated by G. E. Sanchuk. Moscow: Nauka. (In Russ.).

- Yanin, V. L. 2003. *Novgorodskie posadniki*. 2nd ed. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury. (In Russ.).
- Zhivov, V. M. 2002. *Razyskaniya v oblasti istorii i predystorii russkoy kul'tury*. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury. (In Russ.).
- Zvereva, V. V. 2006. "Obrazy proshlogo u rannesrednevekovykh khristianskikh istorikov." In *Istoriya i pamyat': Istoricheskaya kul'tura Evropy do nachala Novogo vremeni*, edited by L. P. Repina, 223–41. Moscow: Krug". (In Russ.).
-

Научная статья

Завещание Ярослава I в полемике В. И. Сергеевича, С. М. Соловьёва и их современников

Дмитрий Боровков

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается полемика В. И. Сергеевича, С. М. Соловьёва и их современников А. Д. Градовского, Д. Я. Самоквасова, Н. И. Хлебникова, К. Н. Бестужева-Рюмина, М. А. Дьяконова вокруг постулата родовой теории о лествичном восхождении князей в соответствии с приоритетом «старейшинства», зафиксированным в летописном завещании Ярослава I. Кроме того, подробно анализируется эволюция взглядов В. И. Сергеевича по проблеме развития междукняжеских отношений в Древней Руси, нашедшая отражение в его первой монографии «Вече и князь» (1867) и ее позднейшем варианте, вошедшем в состав компендиума «Русские юридические древности», вышедшего в свет на рубеже XIX–XX вв.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: В. И. Сергеевич, С. М. Соловьёв, Ярослав I, родовая теория

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Боровков Д. А. Завещание Ярослава I в полемике В. И. Сергеевича, С. М. Соловьёва и их современников // History HSE. 2022. № 1. С. 31–43.

ПОСТУПЛЕНИЕ СТАТЬИ: 30.06.2021 | **ПРИНЯТИЕ К ПУБЛИКАЦИИ:** 17.10.2021

Проблема теоретических расхождений между ключевыми разработчиками родовой и общинной теорий, С. М. Соловьёвым и В. И. Сергеевичем, в общих чертах рассматривалась в работах А. Н. Цамутали¹, М. Б. Свердлова², Н. В. Иллерицкой³, А. Н. Шаханова⁴ и других исследователей. Представляется целесообразным сосредоточить внимание на анализе отдельных элементов обсуждаемых теорий. Настоящая статья посвящена анализу расхождений между В. И. Сергеевичем, С. М. Соловьёвым и их современниками, принявшими эстафету этой полемики, — А. Д. Градовским, Д. Я. Самоквасовым, Н. И. Хлебниковым, К. Н. Бестужевым-Рюминым и М. А. Дьяконовым. Их спор разгорелся по поводу ключевого для родовой теории завещания киевского князя Ярослава I, помещенного в «Повести временных лет» под 1054 г.

Гипотеза о приоритете «старейшинства» и лествичном восхождении князей при наследовании волостей была разработана К. Д. Кавелиным и С. М. Соловьёвым, который в

© Боровков Д. А., 2022 ✉ brancaleone85@mail.ru.

¹ Цамутали 1977.

² Свердлов 1996.

³ Иллерицкая 1998.

⁴ Шаханов 2003.

1840-х гг. дал обоснование этим концептам в рамках родовой теории и сделал первые источниковедческие наблюдения над текстом летописного рассказа 1054 г. об установлении Ярославом I приоритета старшей из своих сыновей⁵. Однако в процессе разработки в 1850–1860-х гг. конкурирующей теории общинного быта его выводы были оспорены В.И. Сергеевичем в монографии «Вече и князь» (1867), где постулировалось, что взаимоотношения между членами княжеского рода регулировал не порядок старшинства, а договор.

Отношения между Святославичами Сергеевич представлял как равноправное братское совладение: «Каждый из братьев имел свою особую волость, причем власть одного исключала власть другого...» Отношения между Владимировичами, по его мнению, очень напоминали отношения Святославичей. В этот период он фиксировал появление между князьями договорного начала, которое выразилось в соглашениях, заключенных Ярославом I по результатам вооруженных столкновений с племянником Брючиславом Полоцким (1021) и братом Мстиславом Тмутараканским (1026). Отношения между сыновьями Ярослава I с 1054 по 1073 г. Сергеевич характеризовал как отличавшиеся «более миролюбивым характером», предполагая, что их коллективные действия также регулировались на основании соглашения⁶.

О завещании Ярослава I Сергеевич писал, сравнивая его с завещанием великого князя Московского Ивана III, следующее: «Приказывая, как и Иван Васильевич, “слушаться старшаго в себе место”, он делит между ними города и завещает им “не преступати предела братьня, ни сгонити”»⁷. Это сравнение было обусловлено догматическим подходом юриспруденции, согласно которому «договор всех времен и народов» представлял собой одну и ту же форму⁸, и следствием его являлся вывод о том, что как после смерти Ивана III, так и после смерти Ярослава произошло нарушение «единства власти» в результате появления уделов. «Если у каждого брата свой особый удел, то понятно, что между ними возможны враждебные столкновения. Ярослав, не раз поднимавший оружие на родных братьев, предвидел это. Но и он, как его далекий и знаменитый потомок, не подчиняет младших сыновей суду старшего, а только приказывает ему помогать тому из братьев, на которого восстанут другие. Таким образом, Ярослав оставляет отношения своих сыновей в таком положении, при котором суд Божий был необходимым решителем княжеских споров»⁹.

Сергеевич считал власть старшего из братьев по завещанию Ярослава ограниченной. О летописной формуле «въ отца место» он писал следующее: «Власть отца семейства была единственной недоговорной властью, какую только знали князья; она устанавливалась не в силу свободной воли сторон и была выше человеческого произвола. В семействе не было войны. Состояние членов семейства под властью отца представляется замиренным, прочным; это завидное состояние в эпоху, столь богатую войнами, как княжеская эпоха. Отсюда понятно, что князья ничего лучшего не могли завещать своим детям, как продолжение семейного быта под властью названного отца. Но так как названному отцу не сообщалась действительная отеческая власть, то тоже понятно, что воля отца оставалась только добрым желанием, а выражение “въ отца место” — формой, которой вовсе не соответствовали новые отношения, возникшие между братьями в силу того же завещания»¹⁰.

Из этого высказывания видно, что «старейшинство» князей Сергеевич трактовал как формальное явление. Хотя относительно завещания Ярослава I ученый полагал, что

⁵ Соловьёв 2010, 117, 120, 142–143; Соловьёв 1988, 337.

⁶ Сергеевич 1867, 158–163.

⁷ Там же, 261.

⁸ Милуков 2002, 409.

⁹ Сергеевич 1867, 261.

¹⁰ Там же, 262–263.

оно «сохранено летописцем далеко не вполне», это не помешало ему увидеть в нем одно из первых установлений порядка наследования городов и волостей по праву отчины, переходящей по прямой нисходящей линии от отца к сыну. Доказательство этому утверждению историк видел в рассказе Ипатьевской летописи под 1195 г., где говорилось о том, что потомки Всеволода Ярославича (Мономашичи) безуспешно пытались предъявить потомкам Святослава Ярославича (Ольговичам) ультиматум с требованием отказаться от претензий на Киев — «како разделил нас дед наш Ярослав — по Днепр», — и ограничиться в своих притязаниях левым берегом реки¹¹.

Специальный раздел Сергеевич посвятил критике родовой теории в трактовке Соловьёва, подвергнув сомнению его представления о взаимоотношениях между «старшими» и «младшими» князьями в силу «обычаев родового быта» и основанные на поздних летописных примерах, которые описывали события конца XI–XII в. Ключевое возражение было направлено против тезиса о существовании общего для всего княжеского рода «старейшинства». Сергеевич обратился к завещанию Ярослава I, отметив, что «в Ярославовом завещании не говорится ни слова о правах старшего князя над младшими. Там нет ни малейшего намека на право Изяслава судить своих младших братьев, наказывать их, распределять между ними русские волости по усмотрению, приказывать выступать в поход и пр.; а потому его нельзя приводить в пояснение высказанного автором взгляда. В завещании говорится, правда, о послушании младших братьев старшему, но в то же время говорится и о послушании их друг другу, и, следовательно, о послушании старшего младшим». Вывод Сергеевича сводился к тому, что предположение Соловьёва о «старшем» князе было неверным, и это ошибочное предположение «повело к неправильному представлению о порядке перехода столов, о князьях, исключенных из старшинства, изгоях и пр.». Исследователь указал и на источник этого представления, которое, по его мнению, коренилось в «предшествующем состоянии исторической науки, в некоторых взглядах Эверса и Рейца»¹².

Соловьёв в дополнениях ко 2-му тому «Истории России» (цит. по 5-му изданию, 1879) оспорил мнение Сергеевича об отсутствии родового «старейшинства» среди князей, отметив, что при трактовке междукняжеских отношений он следует взгляду М. П. Погодина, у которого «князья действуют как владельцы, не имеющие никаких отношений между собою», вследствие чего, «читая книгу г-на Сергеевича, мы видим себя среди каких-то зверей, а не людей, всегда чувствующих потребность оправдать свои действия»¹³. В качестве одного из аргументов в пользу своей точки зрения Соловьёв привел летописную статью 1093 г.: «Что признавалось это право, по которому князья должны были занимать стол не захватом, а вследствие родового старшинства, неопровержимым свидетельством служат приведенные в летописи слова великого князя Ярослава сыну его Всеволоду: “Аще ти подаст бог приять власть стола моего, по братьи своей с правдою и не с насилом, то да ляжешу у гроба моего”. Как же г-н Сергеевич разделяется с этим местом летописи, которое он спрятал в длинном примечании, где говорится о завещаниях московских князей? “Так как это место, — говорит г-н Сергеевич, — находится в посмертной похвале Всеволоду, написанной очень дружественной ему рукой, то скорее надо думать, что оно сочинено самим летописцем для оправдания свершившихся событий”. Но отчаянное средство помочь не может: если бы даже и позволительно было предположить, что летописец неизвестно для чего выдумал слова Ярославовы, то его свидетельство несколько не теряет своего значения, ибо он мог высказать только представление о правде, какое господствовало в современном ему обществе»¹⁴. В то же время Соловьёв не обратил внимания на то, что критика родовой теории Сергеевичем

¹¹ Там же, 323–324.

¹² Там же, 271, 272.

¹³ Соловьёв 1988, 663.

¹⁴ Там же, 665.

обусловлена тенденцией к раскрытию междукняжеских отношений как договорных, которая являлась лейтмотивом научного творчества Сергеевича, впервые сформулированным в монографии «Вече и князь».

Эта тенденция с определенными модификациями сохранилась в более позднем трехтомном труде «Русские юридические древности» (во 2-м и 3-м изданиях — «Древности русского права»), вышедшем в свет в период между 1890 и 1911 гг. В этом компендиуме, куда монография «Вече и князь» была включена в качестве второго тома, произошла радикализация представлений Сергеевича о роли договора в междукняжеских отношениях. Если сначала появление договорной практики датировалось третьим десятилетием XI в., то затем ее зарождение было отнесено к несостоявшемуся мирному договору между Владимиром и Ярополком Святославичами, заключение которого, согласно «Повести временных лет» под 980 г., сорвалось из-за убийства последнего в результате предательства воеводы Блуда. Исходя из представления о том, что удельные князья являлись выразителями интересов волостей, Сергеевич предполагал, что служение этим интересам могло разорвать даже естественную связь отца с сыном, приводя в качестве примера конфликт между Владимиром Святославичем и его сыном Ярославом из-за новгородской дани в 1014–1015 гг. Он подразумевал, что если было возможно открытие военных действий отцом против сына, сорванных вследствие внезапной кончины Владимира, то столь же вероятным было и заключение между ними договора о мире. Налицо была тенденция к целенаправленному удревнению договорных отношений, которая опиралась не на летописные факты, а на гипотезы исследователя.

Меньшую трансформацию испытало представление о роли завещания Ярослава в утверждении отчинного принципа наследования уделов, в котором исследователь видел вторую попытку установления подобного порядка наследования после выделения Владимиром полоцкого княжества в отчину своему сыну Изяславу, о чем ретроспективно сообщалось в Лаврентьевской летописи под 1128 г. Подобная точка зрения обусловила утверждение о том, что «переход одного из сыновей Ярослава на стол другого по его смерти является таким же нарушением завещания, как и захват братнина стола при его жизни»¹⁵. Последняя воля князя модифицировалась за счет проецирования концептуальной интерпретации, определяющей раскрытие дальнейшего хода междукняжеских взаимоотношений, на зафиксированный в «Повести временных лет» запрет захвата чужих владений. В результате целый ряд последующих событий, включая изгнание Изяслава Ярославича из Киева младшими братьями в 1073 г., трактовался Сергеевичем как нарушение отчинного принципа наследования волостей, которые, по его мнению, должны были передаваться по прямой нисходящей линии.

Существенные изменения претерпели взгляды исследователя на вопрос о приоритете «старейшинства». Если в 1867 г. Сергеевич считал его формальным явлением, то позднее утверждал следующее: «Есть основание думать, что в княжеских семьях старшему сыну принадлежало некоторое преимущество в наследовании княжеских владений. Наследование в княжеских владениях отличалось от наследования в частной собственности. Собственность делилась на равные части, а при дележе владений образовалась с естественным делением их на волости, а волостей на города и пригороды. При этом доли получались неравные и не одинакового достоинства; одни волости были лучше, другие хуже; города же, по общему правилу, всегда были лучше пригородов. Таким образом, при разделе княжеских отчин всегда возникал вопрос, кому дать лучшую волость, кому следующую за ней по достоинству и т.д. При этом обнаруживалось преимущество старшинства братьев. Старший брат, при всех других равных условиях, получал от отца лучший стол, остальные распределялись между младшими»¹⁶. Установление подобного порядка, наблюдаемого «с древнейших времен», Сергеевич

¹⁵ Сергеевич 2006, 117–119, 135.

¹⁶ Там же, 142.

относил ко времени сыновей Святослава I, хотя в первом издании своего труда писал об их равноправии.

На представления Сергеевича о приоритете «брата старейшего» повлияли летописные примеры, не только относившиеся к X–XI вв., но и встречавшиеся в XII–XIV вв., что стало следствием догматического подхода к интерпретации рассматриваемых явлений, при котором идея развития практически отсутствовала. В представлениях о «старейшинстве» можно было бы констатировать определенную эволюцию взглядов, если бы в том же томе «Древностей русского права», в посвященном родовому «старейшинству» разделе, исследователь не выступил с критикой гипотезы о наследовании киевского стола по старшинству, отстаивая мнение о многообразии вариантов приобретения столов¹⁷.

Подобная тенденция имела место и в отношении концепции Соловьёва, критика которой была существенно расширена за счет вопроса о порядке наследования столов в X–XI вв. В 1867 г. Сергеевич обошел его молчанием. «По смерти Святослава старший его сын получает Киев, младшие — один Древлянскую землю, другой Новгород. По теории, Ярополк делается отцом своих братьев, младшие его братья, Олег и Владимир, — его сыновьями. Но действительные отношения этих князей совершенно не соответствуют такому предположению. Ярополк начинает войну с Олегом и присоединяет волость брата к своим владениям. За этим Владимир начинает войну с Ярополком, изменнически приказывает его убить при входе в свой дворец и завладевает всеми его владениями. Это ли господство родового быта в среде князей, это ли общее, нераздельное владение Русской землей целым родом Рюриковичей? По смерти Владимира старший его сын, Святополк, делается киевским князем и также вступает в братоубийственную войну с братьями из-за владений. Где же тут отец и дети? Победителем выходит Ярослав. Он переживает всех своих братьев за исключением Судислава, но и он не может терпеть подле себя брата, а по родовой теории — сына. Он заключает его в тюрьму и раздает все свои владения сыновьям, ничего не оставляя брату, тогда как, по теории, брату следовало дать первое место. Отчего же устранен Судислав от общего, нераздельного владения Русской землей? Может быть, он изгой в том смысле, как понимает это слово родовая теория? Нет, его отец сидел в Киеве, и с точки зрения теории он имел несомненное право на старейшинство после Ярослава. Он устранен был потому, что наши древние князья и не подозревали о существовании теории родового распределения столов»¹⁸.

Комментируя это высказывание историка, необходимо заметить, во-первых, что оно в некоторой степени вступало в противоречие с его утверждением о том, что право «брата старейшего» на лучший стол складывалось с древнейших времен, а во-вторых, что теоретические несоответствия подобного рода, при всей их справедливости, можно найти и в гипотезе об отчинном порядке наследования волостей, которые списывались на «самовольные распоряжения старших братьев»¹⁹.

Критика родовой теории в «Древностях русского права» распространялась и на гипотезу о лестничном восхождении при распределении волостей. Против этой гипотезы Сергеевич выдвинул несколько возражений. Одно из них заключалось в том, что, основываясь, видимо, на наблюдении Н. М. Карамзина, он утверждал, что при перечислении сыновей Ярослава I в Троицкой летописи Игорь упоминался перед своим братом Вячеславом, которому наследовал в Смоленске в 1057 г., будучи выведен старшими братьями из Владимира на Волыни. «Если принять это свидетельство Троицкой летописи, — писал исследователь, — то будет доказано совершенно противное тому, чего желает родовая теория: старший брат окажется переведенным на место младшего, и получится движение не к старшинству, а в обратную сторону».

¹⁷ Там же, 224–248.

¹⁸ Там же, 279.

¹⁹ Там же, 135.

Сомневался Сергеевич и в том, «можно ли видеть в сыновьях Ярослава верных проводников патриархальных начал и всякое действие их объяснять стремлением к выполнению правил родовой теории», приводя в качестве аргумента как факт изгнания из Киева Святославом и Всеволодом старшего брата Изяслава, так и то, что Изяслав в союзе с Всеволодом «не затруднился обобрать своих племянников, сыновей Святослава и Вячеслава». Он также сближал это событие, имевшее место в 1077 г., с переделом княжений в 1057 г. для обоснования предположения о том, что Игорь Ярославич был переведен братьями в Смоленск «вовсе не для того, чтобы открыть ему радужные перспективы киевского княжения, а чтобы поделиться его волостью, а его самого удовлетворить наследием малолетнего Бориса Вячеславича, который явился в этом случае изгоем в настоящем смысле слова, ибо по малолетству совершенно был обобран своими дядями»²⁰.

Сергеевич провел критический анализ термина «лествичное восхождение», в данном случае пойдя «историческим путем», в отсутствие которого упрекнул его Соловьёв, и пришел к следующему выводу: «Самое выражение “лествичное восхождение” не выдуманно автором теории родовой быта, оно взято им из Никоновской летописи и принадлежит XVI веку. Неизвестный нам составитель Никоновской летописи не ограничивается простой передачей того летописного материала, который он нашел в старых списках летописей. Он заинтересован смыслом описываемых событий и иногда не может отказать себе в попытке объяснить эти события. Но он делает это не со стороны, не от своего имени, он влагает свои объяснения в уста действующих лиц. Вот именно в таком-то сочиненном своим составителем месте и идет речь о лествичном восхождении. Составителя Никоновской летописи заинтересовал и нас занимающий вопрос о том, на каком основании происходило в древности преемство столов. Он начал вдумываться в него и решил, что они достигают Киева лествичным восхождением. Но он не написал об этом особого исследования, как сделали бы люди нашего времени. Он воспользовался приводимым в старой летописи спором князей из-за обладания Киевом и заставил черниговского князя в своем ответе киевскому высказать свою собственную мысль о древнем порядке преемства. Составитель летописи, конечно, был совершенно убежден в правдивости своего объяснения, а потому и не затруднился объяснить старый текст, по всей видимости, мало ему понятный, своим сочинением <...>. Если Соловьёв отдает в этом случае предпочтение тексту Никоновского списка перед списками более древними, это прискорбное недоразумение, и только»²¹. Ранее, в 1867 г., Сергеевич отметил только то, что это место Никоновской летописи «не может быть рассматриваемо как источник, а только как первый и при том очень слабый опыт отечественной историографии XVI века к объяснению порядка перехода столов»²².

Здесь Сергеевич допустил натяжку, приписав авторство родовой теории исключительно Соловьёву, хотя в первом издании своего труда он упомянул и о его предшественниках — И. Ф. Г. Эверсе и А. М. Ф. Рейце. В общих чертах претензии Сергеевича к родовой теории сводились к следующему: «Корень ошибочного толкования источников родовой теорией заключается в том, что она отправлялась от предположения наличности строго выработанного порядка преемства для такого времени, когда люди действовали не столько по правилам, сколько в меру своей силы. Родовая теория заплатила этим дань своему времени: мы понимаем пользу правового порядка, мы говорим — всякий закон лучше произвола; мы думаем, что без закона жить нельзя. Родовая теория перенесла эти воззрения в отдаленную древность. Она была не в состоянии представить себе жизни без точных правил, а наша древность не успела еще выработать эти правила. Наши летописи говорят о старшинстве князей, но предвзятость теории помешала разглядеть,

²⁰ Там же, 280–281.

²¹ Там же, 281–282.

²² Сергеевич 1867, 303, прим. 48.

какое это старшинство. Это — старшинство лет, старшинство по городу, по договору, а она везде видела родовое старшинство, принадлежавшее единому старейшине во всем роде Рюриковичей, занимающему киевский стол. По отношению к этому старейшине все другие князья — младшие и ему подчинены. На такого старейшину в наших источниках нет ни малейшего намека»²³.

Несмотря на то что возражения Сергеевича против гипотезы о лествичном восхождении князей и родовой теории были обоснованными с источниковедческой точки зрения, следует заметить, что, как и его оппоненты, он пользовался методом экстраполяции позднейших явлений на ранний исторический период как в соображениях о приоритете «старейшинства», так и в соображениях о договорных отношениях между князьями. Высказывания Сергеевича о формальном приоритете «старейшинства», о существовании отчинного права наследования волостей, равно как и о том, что завещание Ярослава I являлось лишь одним из этапов его становления, действительно позволяют говорить о его близости к взглядам М. П. Погодина²⁴, от которого его, впрочем, отделяли расхождение в ключевых элементах родовой теории и отсутствие критического подхода к рассказу «Повести временных лет» под 1054 г.

Полемика между Сергеевичем и Соловьёвым получила освещение в трудах ряда исследователей. Первым, в рецензии на монографию Сергеевича, ее коснулся А. Д. Градовский²⁵, в целом разделявший положения общинной теории. Признавая взаимодействие в общественно-политическом процессе князя и народа, он расходился с Сергеевичем в определении веча как формы народных собраний, а не формы «быта народного», т. к. «непосредственная демократия не есть исключительное произведение древней русской жизни» и ее начала «в самых разнообразных формах проявлялись у различных народов». То же самое можно сказать об определении понятия «волость», которую, в отличие от Сергеевича, он рассматривал не как «княжение», а как «цепь общин, связанных между собою иерархическими отношениями». Градовский выступал в защиту некоторых элементов родовой теории, отметив, что «автор отверг идею наследования престолов и с горячностью новатора отрицает ее везде», хотя это «слишком поспешно, да при том и бесполезно».

Разбирая критику Сергеевичем теории Соловьёва, рецензент подчеркнул, что «теория г. Соловьёва очень проста и мало походит на вымышленную теорию», поэтому «мы не видим, почему князья не могли иметь особых правил о наследовании престолов — правил, которые в некоторых случаях противоречили понятиям народа и практике самих князей». В качестве аргумента в пользу порядка лествичного восхождения князей Градовский сослался на то, что он доказывается «распределением столов после смерти Ярослава Мудрого и тем, что впоследствии каждый князь, считавший себя старшим братом, предъявлял права на киевский стол», тогда как племянники могли «занимать его только фактически, силою, но не по праву».

Особое внимание было уделено критике понятия о лествичном восхождении князей: «Г. Сергеевич говорит, что теория “лествичного восхождения” основана на свидетельстве Никоновской летописи и что все это свидетельство есть *сочинение* позднейшего составителя летописи. Всякий, кто читал историю г. Соловьёва, припомнит, что почтенный наш историк строит свою теорию не на основании одного этого места Никоновской летописи. Он приводит его потому, что в нем действительно хорошо сформулировано правило, которым, по мнению г. Соловьёва, определялось наследование престолов. Он видит применение этого закона во многих фактах нашей истории, независимо от слов летописи».

²³ Соловьёв 2010, 282.

²⁴ Погодин 1850.

²⁵ Впервые рецензия А. Д. Градовского на монографию Сергеевича была опубликована в 1868 г. в № 10 «Журнала Министерства народного просвещения» под названием «Государственный строй древней России».

Градовский усомнился в том, что указанный Сергеевичем летописный фрагмент мог быть выдуман летописцем XVI в. Он завершил разбор вопроса таким заключением: «Соловьёв выставил свою теорию. Его противники не выставили никакой. Между тем его теория — самая естественная и наиболее подходящая к фактам истории Рюриковичей»²⁶. Таким образом, построения Градовского в определенной степени являются попыткой синтеза теорий общинного и родового быта.

Альтернативный взгляд в «Заметках по истории русского государственного устройства и управления»²⁷ обосновал Д. Я. Самоквасов. Он отметил, что Соловьёв признает родовой быт у славян, не выяснив значения слова «род», и таким образом «целая система заключений, самых смелых и высшей степени важных для науки, строится на недоказанном положении, и из него выясняются общественные и государственные отношения». Поэтому историк присоединился к мнению Сергеевича, утверждавшего, что в «историческую эпоху Рюриковичей род не существовал как учреждение с определенными правами и обязанностями его членов», в то же время отметив, что «г. Сергеевич, разбивая теории, до сих пор царившие в науке, положил в основание своей книги невыясненное, недоказанное положение, построенное на односторонних или неверно понятых фактах, и потому, желая осветить им весь строй государственного быта и управления России во времена Рюриковичей, впадает в противоречия и ошибки, из которых получилась картина древней жизни, древних государственных и общественных отношений, далеко не соответствующая действительности».

Самоквасов отметил, что предложенная Сергеевичем теория призвания князей на княжение, совместно с теорией «добывания» столов, пытается опровергнуть теорию законного порядка их наследования, «основанную на подлинном свидетельстве летописи, на не подлежащем сомнению завещании Ярослава Владимировича и на множестве исторических фактов, относящихся к порядку преемства великокняжеского стола Киевского». Обратив внимание на взаимосвязь летописной статьи 1054 г. с летописными статьями 1073 г. (рассказ об изгнании Изяслава Ярославича из Киева) и 1093 г. (рассказ о «заповеди» Ярослава Всеволоду), Самоквасов на основании последнего сюжета сделал вывод о том, что в соответствии с завещанием Ярослава «стол Киевский мог быть законно наследуем только по очереди, без насилия, то есть, был учрежден законный порядок перехода Киевского стола, а под 1054 годом об этом порядке не сказано ни слова»²⁸.

Еще раз к этому вопросу Самоквасов вернулся в работе «Главнейшие моменты в государственном развитии ревней Руси и происхождение Московского государства» (1886), где охарактеризовал порядок наследования княжеской власти в период от Рюрика до Ярослава I как распоряжение русской землей на правах полной частной собственности и имения, приобретенного в результате варяжского завоевания, в отношении которого действовали такие юридические процедуры, как завещание, наследование и раздел. После смерти Ярослава русская земля утратила значение «благоприобретенного имущества», получив значение «родовой собственности», переходящей от одного поколения потомков родоначальника к другому «законным порядком помимо воли умирающих князей», когда «все потомки родоначальника имеют право на части в имении, принадлежавшем их общему предку»²⁹.

Свою точку зрения Самоквасов окончательно сформулировал в лекционном курсе «Древнее русское право» (1903). «Ярослав Владимирович разделил между своими сыновьями Русскую землю: старшему сыну Изяславу назначил Туров и поручил ему владение великим княжеством Киевским, Святославу дал Чернигов, Всеволоду — Переяславль,

²⁶ Градовский 1899, 348, 350, 352–354. Выделено в тексте.

²⁷ Также впервые опубликованы на страницах «Журнала Министерства народного просвещения» в 1869 г. (№ 11–12).

²⁸ Самоквасов 1870, 28–30, 35, 41.

²⁹ Самоквасов 1886, 26–29.

Игорю — Владимир, а Вячеславу — Смоленск», — писал исследователь, упуская из виду, что Туров не был получен Изяславом по завещанию Ярослава, а являлся местом его княжения при жизни отца. «Со времени этого распоряжения Русь делается родовым именем потомков завоевателя, долженствующим переходить по наследству между размножавшимися потомками бывшего единодержавного обладателя по определенному законному порядку», — утверждал историк, считая, что этот порядок «несомненно существовал в сознании Ярослава, его современников и потомков, как священная старая правда, данная Богом и не подлежащая произволу людей». Фактами, доказывавшими существование этого порядка, Самоквасов считал рассказ о «заповеди» Ярослава Всеволоду в летописной статье 1093 г. и помещенный там же рассказ об отказе сына Всеволода, Владимира Мономаха, от занятия вакантного киевского стола в пользу своего двоюродного брата Святополка Изяславича. Из сопоставления этих данных следовал вывод о том, что вакантный стол должен был наследоваться строго по старшинству, от представителей старшей ветви к младшей³⁰.

Начав с критической оценки оснований, доминировавших в историографии теорий, Самоквасов ограничился догматической интерпретацией летописного текста о завещании Ярослава, которому придавал значение как акту юридического оформления родовой собственности Рюриковичей на русскую землю и признания приоритетным права наследования по старшинству (что сближало его с приверженцами родовой теории).

Аналогичную позицию занял Н. И. Хлебников. В докторской диссертации «Общество и государство в домонгольский период русской истории» (1872) он выделил три стадии развития древнерусского общества: период механического соединения племен в одно государство, период господства патриархальных идей и отношений, период политической дезорганизации и нравственного упадка. По мнению исследователя, «первое столетие после смерти Ярослава представляет такой своеобразный мир идей, отношений и характеров, что для того, чтобы понять этот мир, освоиться с ним, нужно совершенно отрешиться от окружающей нас жизни». Изложив основные постулаты теории «родового владения» Соловьёва, Хлебников акцентировал внимание на том, что он придал «нравственным идеалам», имевшим определенное влияние на жизнь, «не принадлежавшую им силу закона», а потому «в своих объяснениях удельного периода должен был делать многие натяжки для доказательства, что жизнь шла безусловно по этим идеям». Эти натяжки, утверждал автор, привели к появлению теории Сергеевича, который, «видя, что бесконечное множество фактов противоречат истории г. Соловьёва, видя, что нравственно управляющие идеи, высказанные г. Соловьёвым, имеют относительно малое влияние на жизнь, стал доказывать, что личный эгоизм князей и их случайная сила были единственными двигательными пружинами периода». Хлебников заметил, что «если мы для этой теории развернем летописи, то, действительно, в фактах жизни найдем множество подтверждений ее, но нисколько не менее фактов, поддерживающих г. Соловьёва». Он видел свою задачу в том, чтобы «указать в общих чертах главные моменты периода, не имея в виду исторической полноты».

Первым из таких моментов и стал летописный рассказ о завещании Ярослава I, который историк передал следующим образом: «Ярослав, умирая, созвал своих сыновей и сказал им следующую речь: “Вот теперь я оставляю этот мир, сыновья мои; любите друг друга, потому что все вы братья одного отца и матери; если будете любить друг друга, то Бог будет с вами и покорит всех сопротивляющихся, и сами будете жить мирно, если же будете жить ненавидя друг друга, порознь, то сами погибнете и погубите землю отцов и дедов ваших, которую они приобрели великим трудом. Живите мирно, слушайтесь друг друга; вот я поручаю старейшему сыну моему, а брату вашему, Киев; слушайтесь его, как слушались меня, пусть он будет вам вместо меня; а Святополку (правильно: Святославу. — Д.Б.) даю Чернигов, а Всеволоду — Переяславль, а Игорю — Владимир, а Вячеславу

³⁰ Самоквасов 1903, 325–327. Выделено в тексте.

— Смоленск». Обратившись к Изяславу, он сказал: «Если кто захочет обидеть твоего брата, то ты помогай обиженному»».

Хлебников подчеркивал эпический характер летописного рассказа и отмечал, что «Ярослав устанавливает совершенно не юридические основания, а отношения нравственные. Отец, умирая, далек от мысли установить какую-нибудь простую государственную власть. Он, можно сказать, с совершенной легкостью предвидит усобицы, которые кажутся ему даже неизбежными, и он предостерегает от них своих сыновей только тем, что усобицами они сами себя погубят. Он постановляет своего старшего сына вместо себя, но это только в нравственном отношении; все дети получают отдельные волости, в которых они будут настоящими государями или, лучше, хозяевами, в совершенной независимости от старшего брата. Все отношения их чисто нравственные: младший брат обязан слушаться старшего; старший, как старейший, обязан подавать пример младшим. Старший брат мог вмешиваться в семейную жизнь младших, даже мог советовать им лучше управляться, но он не имел ни малейшего права отнять хотя бы одну волость от братьев, ни требовать ни малейшей части от них, ни вступаться в их управление не как старший брат, а как великий князь русский».

В трактовке вопроса о приоритете старейшинства Хлебников был близок не к Соловьёву, а к Сергеевичу. Он также обратил внимание на взаимосвязь летописных статей 1054 и 1093 гг., на заповедь Ярослава Всеволоду принять власть после своих братьев «с правдой, а не с насилием», придя к выводу о том, что сам Ярослав «считал такой порядок вещей естественным» и установил как закон «порядок смены одного сына за другим, по старшинству, в Киеве». В то же время историк отметил, что идеи родового быта после смерти Ярослава получили только частное применение и уже при первом поколении князей доказали, как «слабы и шатки эти идеи в управлении государством»³¹.

Хлебникова можно было бы считать основоположником антропологического подхода, ориентированного на понимание проблемы с точки зрения людей «другой» эпохи, если бы он не только попытался раскрыть регулирующее значение завещания Ярослава, как в системе междукняжеских отношений, так и в системе идеологических установок Древней Руси, но и действительно дистанцировался от современных ему концепций, вместо того чтобы искать компромисс между позициями Соловьёва и Сергеевича.

Не прошел мимо их спора и К. Н. Бестужев-Рюмин, который писал в первом томе «Русской истории» (1872), что теория Соловьёва «любопытная, как попытка осмыслить русскую историю, во многом неудовлетворительна», поскольку, во-первых, «она ограничивается только княжеским родом, а он был далеко не единственным деятелем истории», а во-вторых, «она имеет в виду идеал, а в действительности мы видим, что родовые отношения наблюдались очень мало», т. к. «стоны получались вследствие призвания, завещания и т. д.». Относительно гипотезы Сергеевича о договорных отношениях между князьями историк писал, что упоминаемые в летописи «ряды» — это «еще не договор, хотя в них зерно договора», вслед за Градовским упрекая исследователя в догматическом изложении предмета. Подчеркивая многофакторность развития государственного быта Древней Руси, Бестужев-Рюмин считал, что порядок междукняжеских отношений «не существовал как нечто готовое, а делался, слагался»³². Под влиянием этих воззрений он писал, что «завещание Ярослава, по которому князья должны слушаться старшего, как отца, и не отымать друг у друга владений, послужило основанием права в период удельный, но, к сожалению, только идеальным», так как «нарушать его начали уже сыновья Ярослава»³³. Факт утверждения приоритета «старейшинства» за великим князем Киевским по завещанию Ярослава исследователем не отвергался, но концептуального развития в его труде не получил³⁴.

³¹ Хлебников 1872, 185–191.

³² Бестужев-Рюмин 2015, 291, 293, 295.

³³ Там же, 258.

³⁴ Там же, 225, 294.

Отголоски полемики Соловьёва и Сергеевича можно найти в «Очерках общественного и государственного строя Древней Руси» (1907) М. А. Дьяконова, который высказался в поддержку аргументов своего учителя Сергеевича против теории Соловьёва. Он считал, что заслугой Сергеевича является как «истинное разъяснение» указанных Соловьёвым фактов, так и «вообще выяснение вопроса о порядке распределения столов». Перечислив эти аргументы (упоминание Игоря перед Вячеславом, изгнание Изяслава Святославом, упоминание лествичного восхождения в Никоновской летописи и отсутствие этого термина в Ипатьевской), Дьяконов пришел к выводу, что эти факты говорят в подтверждение не того, что «столы распределялись по единому началу родового старшинства», а того, что в преемстве столов «вообще не существовало какого-либо единого порядка». При этом исследователь признавал приоритет «старейшинства» внутри одной княжеской семьи, сопряженного с обладанием лучшим столом, но допускал, что оно могло быть условным или фиктивным. Он не связывал установление этого порядка с последней волей Ярослава, которую трактовал лишь как завещательное распоряжение, оговаривая, что летопись не содержит указаний о том, «при каких условиях приводилась в исполнение воля Ярослава»³⁵.

Проблема приоритета «старейшинства» и лествичного восхождения князей в процессе полемики приверженцев родовой и общинно-вечевой теорий свелась к воспроизведению однообразного набора аргументов и не получила удовлетворительного решения. Это поставило на повестку дня вопрос о «переформатировании» родовой теории, которая была осуществлена А. Е. Пресняковым в монографии «Княжое право в Древней Руси» (1909), где система междукняжеских отношений представлена как развитие семейного быта³⁶.

ЗАЯВЛЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

- Бестужев-Рюмин, К. Н.* Русская история. До эпохи Ивана Грозного. М.: Академ. проект: Культура, 2015. 701, [1] с.
- Градковский, А. Д.* Государственный строй древней России // *Градковский А. Д.* Собр. соч. В 9 т. Т. 1. СПб.: Типография М. М. Стасюлевича, 1899. С. 339–381.
- Дьяконов, М. А.* Очерки общественного и государственного строя Древней Руси. СПб.: Наука, 2005. 383, [1] с.
- Иллерицкая, Н. В.* Историко-юридическое направление в русской историографии второй половины XIX века. М.: РГГУ, 1998. 157 с.
- Милюков, П. Н.* Юридическая школа в русской историографии // *Милюков П. Н.* Очерки истории исторической науки / отв. ред., сост. и авт. предисл. М. Г. Вандалковская. М.: Наука, 2002. С. 401–412.
- Погодин, М. П.* Исследования, замечания и лекции о русской истории. В 7 т. Т. 4. М.: Унив. тип., 1850. VIII, 448, [2] с.
- Пресняков, А. Е.* Княжое право в Древней Руси. Очерки по истории X–XII столетий. Лекции по русской истории. Киевская Русь / подгот. текста, ст. и примеч. М. Б. Свердлова. М.: Наука, 1993. 632, [2] с.
- Самоквасов, Д. Я.* Главнейшие моменты в государственном развитии Древней Руси и происхождение Московского государства. Варшава: Тип. К. Ковалевского, 1886. [2], 66, 31 с.

³⁵ Дьяконов 2005, 116–121.

³⁶ Пресняков 1993.

- Самоквасов, Д. Я. Древнее русское право. М.: Унив. тип., 1903. VIII, 378, 56 с.
- Самоквасов, Д. Я. Заметки по истории русского государственного устройства и управления. СПб.: Печ. В. Головина, 1870. 100 с.
- Свердлов, М. Б. Общественный строй Древней Руси в русской исторической науке XVIII–XX веков. СПб.: Дмитрий Буланин, 1996. 330 с.
- Сергеевич, В. И. Вече и князь. Русское государственное устройство и управление во времена князей Рюриковичей. М.: Тип. А. И. Мамонтова, 1867. [4], II, IV, [2], 413, [1] с.
- Сергеевич, В. И. Древности русского права. В 3 т. Т. 2. Вече и князь. Советники князя / под ред. В. А. Томсинова. М.: Зерцало, 2006. 500 с.
- Соловьёв, С. М. История отношений между русскими князьями Рюрика дома // Соловьёв С. М. Древнерусские князья. СПб.: Наука, 2010. С. 109–402.
- Соловьёв, С. М. История России с древнейших времен. Т. 1–2 / коммент. В. Т. Пашуто, В. С. Шульгина // Соловьёв С. М. Сочинения. В 18 кн. Кн. 1 / отв. ред. И. Д. Ковальченко, С. Д. Дмитриев. М.: Мысль, 1988. 797, [1] с.
- Хлебников, Н. И. Общество и государство в домонгольский период русской истории. СПб.: Тип. А. М. Котомина, 1872. XXII, 512, [15] с.
- Цамутали, А. Н. Борьба течений в русской историографии во второй половине XIX века. Л.: Наука, 1977. 256 с.
- Шаханов, А. Н. Русская историческая наука второй половины XIX — начала XX века. Московский и Петербургский университеты. М.: Наука, 2003. 419 с.

Article

The Testament of Yaroslav I in the Polemic of V. I. Sergeevich, S. M. Soloviev and their Contemporaries

DMITRIY BOROVKOV

ABSTRACT

This article discusses the polemic of V. Sergeevich, S. Soloviev and their contemporaries (A. Gradovsky, D. Samokvasov, N. Khlebnikov, K. Bestuzhev-Ryumin, M. Dyakonov) around the postulate of the clan theory of the hierarchy of princes in accordance with the priority of the seniority recorded in the testament of Yaroslav I. In addition, the author analyses the evolution of Sergeevich's views on how the relationship between Russian princes was developed, which was reflected in his first book *Veche i knyaz'* (1867) and its later version included into the compendium *Russkie yuridicheskie drevnosti* published at the turn of the 19th and 20th centuries.

KEYWORDS: Vasilii Sergeevich, Sergey Soloviev, Yaroslav I, clan theory

FOR CITATION: Borovkov, Dmitriy. 2022. "The Testament of Yaroslav I in the polemic of V. I. Sergeevich, S. M. Soloviev and their contemporaries." *History HSE* 1: 31–43.

SUBMITTED: 30.06.2021 | **ACCEPTED FOR PUBLICATION:** 17.10.2021

DISCLOSURE STATEMENT

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

REFERENCES

- Bestuzhev-Ryumin, K. N. 2015. *Russkaya istoriya. Do epokhi Ivana Groznogo*. Moscow: Akademicheskii proekt: Kul'tura. (In Russ.).
- D'yakonov, M. A. 2005. *Ocherki obshchestvennogo i gosudarstvennogo stroya Drevney Rusi*. St. Petersburg: Nauka. (In Russ.).
- Gradovskiy, A. D. 1899. "Gosudarstvennyy stroy drevney Rossii." Vol. 6 of *Sobranie sochineniy of A. D. Gradovskiy*. St. Petersburg: Tipografiya M. M. Stasyulevicha. (In Russ.).
- Illeritskaya, N. V. 1998. *Istoriko-yuridicheskoe napravlenie v russkoy istoriografii vtoroy poloviny XIX veka*. Moscow: RGGU. (In Russ.).
- Khlebnikov, N. I. 1872. *Obshchestvo i gosudarstvo v domongol'skiy period russkoy istorii*. St. Petersburg: Tipografiya A. M. Kotomina. (In Russ.).
- Milyukov, P. N. 2002. "Yuridicheskaya shkola v russkoy istoriografii." In *Ocherki istorii istoricheskoy nauki*, edited by M. G. Vandalkovskaya, 401–12. Moscow: Nauka. (In Russ.).
- Pogodin, M. P. 1850. *Issledovaniya, zamechaniya i lektsii o russkoy istorii*. 7 vols. Vol. 4, *Period udel'nyy, 1054–1240*. Moscow: Universitetskaya tipografiya. (In Russ.).
- Presnyakov, A. E. 1993. *Knyazhoe pravo v Drevney Rusi. Ocherki po istorii X–XII stoletiy. Lektsii po russkoy istorii. Kievskaya Rus'*, edited by M. B. Sverdlov. Moscow: Nauka. (In Russ.).
- Samokvasov, D. Ya. 1903. *Drevnee russkoe pravo*. Moscow: Universitetskaya tipografiya. (In Russ.).
- . 1886. *Glavneyshie momenty v gosudarstvennom razvitii Drevney Rusi i proiskhozhdenie Moskovskogo gosudarstva*. Warsaw: Tipografiya K. Kovalevskogo. (In Russ.).
- . 1870. *Zametki po istorii russkogo gosudarstvennogo ustroystva i upravleniya*. St. Petersburg: Pech. V. Golovina. (In Russ.).
- Sergeevich, V. I. 2006. *Drevnosti russkogo prava*. 3 vols. Vol. 2, *Veche i knyaz'*. *Sovetniki knyazya*, edited by V. A. Tomsinov. Moscow: Zertsalo. (In Russ.).
- . 1867. *Veche i knyaz'. Russkoe gosudarstvennoe ustroystvo i upravlenie vo vremena knyazey Ryurikovichey*. Moscow: Tipografiya A. I. Mamontova. (In Russ.).
- Shakhanov, A. N. 2003. *Russkaya istoricheskaya nauka vtoroy poloviny XIX — nachala XX veka. Moskovskiy i Peterburgskiy universitety*. Moscow: Nauka. (In Russ.).
- Solov'ev, S. M. 1988. *Istoriya Rossii s drevneyshikh vremen*. Bk. 1, vol. 1–2 of *Sochineniya*, edited by I. D. Koval'chenko, S. D. Dmitriev. Moscow: Mysl'. (In Russ.).
- . 2010. "Istoriya otnosheniy mezhdru russkimi knyaz'yami Ryurikova doma." In *Drevnerusskie knyaz'ya*, 109–402. St. Petersburg: Nauka. (In Russ.).
- Sverdlov, M. B. 1996. *Obshchestvennyy stroy Drevney Rusi v russkoy istoricheskoy nauke XVIII–XX vekov*. St. Petersburg: Dmitriy Bulanin. (In Russ.).
- Tsamutali, A. N. 1997. *Bor'ba techeniy v russkoy istoriografii vo vtoroy polovine XIX veka*. Leningrad: Nauka. (In Russ.).

Научная статья

Культура рукописи в шляхетской Речи Посполитой

Станислав Рошак 

Университет Николая Коперника в Торуне, Польша

АННОТАЦИЯ

XVII столетие в польской историографии часто называют веком рукописей. Автор пытается проанализировать культуру рукописей в Речи Посполитой и указать на причины долговечности и популярности рукописных книг, известных как рукописи шляхетской усадьбы, или книги *silva rerum*. Еще в XVIII в. рукопись оставалась важной формой социального общения в шляхетской Речи Посполитой. Типографская продукция была связана прежде всего с королевским двором и его политическими инициативами. Поэтому к печатным материалам подходили осторожно, полагая, что правитель стремится повлиять на мнение дворянства с помощью прессы, меморандумов и книг. В статье анализируются функции источников частного характера, отображающих интересы и взгляды шляхты, а также мир внутренних переживаний. Автор проверяет старые тезисы историографии об уникальном польском характере так называемых домашних книг. В настоящее время, благодаря антропологическому подходу в исследованиях, большее значение получили домашние рукописи, обнаруженные в семейных архивах шляхты и мещан по всей Европе. Они известны во Франции как *livres de raison*, в Италии — *libri di famiglia*, в Германии — *Hausbücher*, в Англии — *commonplace books*, в Польше — *silva rerum*. По мнению автора, книги, созданные в Речи Посполитой в XVII–XVIII вв., можно назвать архивом сарматской памяти. Они представляют собой собрание информации, необходимой для общественной и частной деятельности, которую в шляхетских семьях передавали из поколения в поколение и заносили в домашние книги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дворянская культура, шляхетская Речь Посполитая, рукопись типа *silva rerum*, эго-документ

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Рошак С. Культура рукописи в шляхетской Речи Посполитой // History HSE. 2022. № 1. С. 44–60.

ПОСТУПЛЕНИЕ СТАТЬИ: 12.09.2021 | **ПРИНЯТИЕ К ПУБЛИКАЦИИ:** 11.10.2021

Введение

В польской культуре XVII в. называется веком рукописи. Среди факторов, способствовавших популярности рукописного слова и его преобладанию над печатным, историки указывают на явления политического, общественного, экономического и культурного

характера¹. Подчеркивается важность политической децентрализации, благодаря которой шляхта, жившая в своих усадьбах, создавала особый деревенский образ жизни, имевший мало общего с придворным стилем. В отличие от королевского двора, в шляхетских усадьбах преобладала рукописная литература. Печатное слово обычно было связано с политикой монарха и считалось инструментом королевской пропаганды. Тексты, наиболее затребованные в повседневной жизни шляхты, — панегирики, письма, похоронные и свадебные речи, выступления на сеймиках и сеймах — всё это бралось из печатных книг, а фрагменты по своему усмотрению копировались и распространялись в виде рукописных сборников.

Рукопись, составленная по заказу шляхтича, как гарантировала достоверность, так и была способом защитить себя от возможной придворной пропаганды, которая распространялась в виде печатных брошюр, издававшихся по поручению короля.

Историки литературы, занимающиеся периодом барокко, подчеркивают роль цензуры, которая во всей Европе способствовала неофициальному распространению рукописей. Запреты, введенные государством и церковью, вызвали оживление деятельности нелегальных издательств и отдельных переписчиков, которые выпускали дешевые версии брошюр, газет и публикаций, предназначенные для определенной аудитории.

Среди экономических факторов, обусловивших долговечность рукописной культуры, указывают на упадок издательского производства во время многочисленных войн, которые велись шляхетской Речью Посполитой, и особенно в период кризиса, вызванного Шведским потопом 1655–1660 гг.

Современные историки всё больше внимания обращают на то, что феномен рукописной культуры не исчез и в XVIII в. Хотя эпоха Просвещения привела к развитию типографий и увеличению выпуска книг и газет, тем не менее популярность рукописи сохранилась вследствие целого ряда политических, экономических и культурных причин (децентрализация власти в шляхетском государстве; конкурентные цены на рукописные книги; большее доверие шляхты к устным и рукописным словам, чем к печатным, и др.).

В данной статье хотелось бы остановиться на определенном типе литературы, который в историографии называют домашней книгой шляхетской усадьбы, или книгой *silva regum*. Традиционно среди историков и литературоведов этот тип литературы определяется, с одной стороны, как явление специфически польское, а с другой — как характерное для культуры барокко, типичное для XVII в. Однако ошибочными оказываются оба тезиса — и о польской специфике, и о переломе эпохи Просвещения в XVIII в., приведшем к доминированию печатного слова.

Популярность литературы частного характера в Европе

Изменение восприятия роли рукописи в европейской культуре было вызвано историческими и литературоведческими исследованиями, которые были посвящены так называемым эго-документам, то есть литературе, созданной авторами в основном для них самих, ближайших родственников и друзей. Это были не только мемуары, дневники, но и собрания рукописей, картулярии, записные книжки, содержащие части собственных произведений, а также фрагменты, скопированные из других книг. Изменения в подходе к частной литературе проявились как в кругу историков, которые признали роль источников, созданных «средним» свидетелем истории, так и в кругу историков литературы, которые видели ценность в посланиях, написанных менее образованными людьми, в текстах, далеких от совершенства в литературном плане, но интересных как свидетельство внутренних переживаний автора.

¹ Среди наиболее важных работ, посвященных культуре рукописи, стоит упомянуть: *Dziechcińska 1990; Pelc 1993; Wojtowicz 1993; Rok 2004; Roszak 2004; Wolański 2012; Prejs 2009*. Удачную попытку подытожить т. н. культуру любопытства в современную эпоху предприняла И. Партыка, см.: *Partyka 2019*.

Новые предложения, появившиеся при анализе автобиографической литературы, можно рассматривать как своеобразное зеркало историографических изменений, в котором отражался переход от социальной к культурной истории, а на следующем этапе — к истории способа мышления. Традиционный взгляд на текст как на свидетеля истории, а также как источник, раскрывающий факты, был обусловлен субъективным подходом. Автобиографии и мемуары начали рассматривать как документы с их формой и материальностью, как документы, раскрывающие личность создателя. В ходе обсуждения появились термины «личный документ» (*personal document*), «эго-документ» (*egodocument*), «самосвидетельство» (*selfwriting*)², заменяющие или дополняющие укоренившиеся, относящиеся к истории литературы жанровые термины: мемуары, автобиографии, дневники, признания и т.д. Популярность введенного в 1958 г. голландским исследователем Якобом Прессером термина «эго-документ» (*egodocument*) возникла, с одной стороны, из-за необходимости включать в анализ тексты, отвергнутые историей литературы и не укладывавшиеся в рамки жанров и условностей, а с другой — благодаря желанию историков придать значение автобиографическим источникам³.

Как ранее считалось, документальный характер текста придавал ему большую достоверность. Документ ассоциировался с объективизмом, в отличие от субъективизма мемуаров, дневника и автобиографии. В качестве примеров нового подхода к источникам эго-документального, личного характера можно выделить французские, голландские и немецкие издательские серии. Во Франции работа исследователей в рамках программы «Письма в личном пространстве» («*Les écrits du for privé*») позволила по-новому взглянуть на источники этого типа⁴. В Нидерландах вышла серия публикаций на тему так называемых самосвидетельств («*Egodocuments and History Series*») в издательстве «Брилл», а в Германии издано более двадцати томов в серии «Самосвидетельства в Новое время» («*Selbstzeugnisse der Neuzeit*»), созданной Альфом Людтке, Гансом Медиком, Клаудией Ульбрих, Каспаром фон Грейерц и Доротой Вирлинг⁵.

Открывая частные источники, историки стали задавать новые вопросы о герое — о сущности индивидуализма и его личности. Благодаря подходу, который можно охарактеризовать как экстенсивный, историки «вошли» в новые области, которые для истории литературы были лишь так называемыми особыми формами автобиографии. Были проведены исследования социальных групп и лиц, которые ранее были малоизвестными или недооцененными: женщины, крестьяне, ремесленники — люди, для которых взяться за перо было довольно сложной задачей и значительным усилием. Например, Ян Петерс опубликовал антологию крестьянских мемуаров современной эпохи⁶. Ева Корманн проанализировала⁷ автобиографические тексты женщин XVII в., указывая, как женщины описывают себя, обращаясь к кому-то Другому, к Богу, к миру. Габриэле Янке обратилась к мемуарам художников и ремесленников, реконструируя отношения между покровителем-заказчиком и исполнителем-клиентом⁸. Лоренц Хайлигензетцер проанализировал личные послания духовенства⁹. Отто Ульбрихт опубликовал

² Здесь и далее перевод понятий, названий и цитат с иностранных языков на русский приводится в авторской версии.

³ Dekker 2002, 14.

⁴ Во Франции работа исследователей позволила по-новому взглянуть на этот тип источников в рамках программы «Письмо в личном пространстве» («*Écriture du for privé*»). См. опубликованные результаты этой работы: Bardet 2005; Cassan 2005; Bardet 2010.

⁵ Обсуждение вопроса т.н. самосвидетельств присутствует в немецкой историографии давно и касается, между прочим, сферы применения этого термина. В особенности см.: Krusenstjern 1994, 463–465; Schmolinsky 1999, 25; Bischoff 2009; Dülmen 1997; Greyerz 2001; Jancke 2007, 14–20; Kartschoke 2001, 62.

⁶ Peters 2003.

⁷ Kormann 2004.

⁸ Jancke 2002.

⁹ Heiligensetzer 2006.

воспоминания трех купцов, описывающие их торговые путешествия и дела на рубеже XVII–XVIII вв.¹⁰

В свою очередь, при использовании подхода, который можно назвать интенсивным, были сформулированы вопросы, касающиеся таких сопоставлений, как «индивидуум — общество», «императив — свобода», «субъективизм — объективизм», «частная сфера — публичная сфера», «уникальность — типичность».

Взгляд на мемуар, дневник, письмо как на эго-документ открыл новые перспективы. Во-первых, был поставлен вопрос о том, как историк может проникнуть во внутренний мир автора и раскрыть его чувства. Во-вторых, отдельной проблемой стало изучение формы мемуара, который был написан «обычным» автором, часто неопытным, мало знающим грамматику и литературные условности эпохи. Многие из этих мемуаров были неоднородными по виду и содержанию, и в них личное повествование автора смешивалось с дополнительными «чужими» текстами, включенными в его высказывание. Авторы мемуаров добавляли к своему повествованию фрагменты документов, свои собственные и чужие письма, цитаты, стихи и т.п. Это вытекало из необходимости задокументировать их собственный рассказ, сделать его более достоверным. Такое отношение авторов объясняет феномен современной культуры, который предполагает сохранение печатных и рукописных сборников, содержащих готовые цитаты, формулы и замыслы.

Обращая внимание на материальную основу рукописной книги и ее форму, на способ расположения дополнительных элементов (цитаты, копии), на их место в тексте, историки осознали, что эти «инородные тела», «сборные элементы», составляющие текст, могут дать представление о личности и индивидуальности автора, его интересах и чувствах.

Благодаря антропологическому виду исследований домашние рукописи, обнаруженные в семейных архивах шляхты и мещанства, приобрели новое значение. Оказалось также, что популярные в шляхетской Речи Посполитой рукописные книги, в которых владелец записывал новости из мира политики, экономики, природы, медицины, были известны и в других странах, более развитых в сфере книгопечатания. Во Франции они были известны как «книги мудрости» (*livres de raison*), в Италии — «семейные книги» (*libri di famiglia*)¹¹, в Германии — «домашние книги» (*Hausbücher*), в Англии — «обычные книги» (*commonplace books*). Конечно, эти рукописные книги различались по форме и содержанию, но их общей чертой было то, что они не показывали мир большой политики и дипломатии, а вместо этого открывали богатство интересов авторов, знания о повседневной жизни того времени, отношение к природе, семье и стране.

Сила популярной культуры в шляхетской Речи Посполитой XVIII в.

Как уже упомянуто во введении, XVIII век не стал революционным в подходе к печатному слову. Рукопись по-прежнему играла важную роль в доступной для шляхты массовой культуре¹².

В период правления представителей династии Веттинов Августа II и Августа III Саксонского становится анахронизмом традиционное разделение культуры на популярную, лишенную научных и литературных учреждений, и на официальную с ее состоящим из трех частей описанием функционирования произведения: автор — посреднические учреждения — получатель. XVIII век принес богатство и качественное разнообразие явлений, которые современный исследователь называет расцветом альтернативных форм культуры, таких как рукописные газеты, астрологические и политические календари,

¹⁰ *Ulbricht 2013.*

¹¹ См. наиболее значительное исследование об итальянских домашних книгах: *Mordenti 2001.*

¹² На восьмом конгрессе исследователей XVIII в. в Бристоле была отмечена долговечность феномена рукописной культуры. Результаты обсуждения были опубликованы, см.: *Moureau 1993.*

паломничества¹³. В саксонский период ни королевский двор, ни церковь, ни магнатские учреждения не могли создать единую связующую модель или культурный канон. Лишь в середине XVIII в. оказались успешными первые попытки систематизировать литературные и научные достижения, а также создать институты, определявшие направления литературной деятельности (Библиотека — Академия братьев Залуских, первые библиографические словари Яна Данеля Яноцкого, научные журналы Вавжинца Мицлера де Колофа). Разумеется, следует помнить, что ранее подобные попытки предпринимались учеными Королевства Пруссия. Однако только в середине XVIII в. появились учреждения, которые формировали общественное мнение за рамками местного сообщества (здесь стоит упомянуть, что круг корреспондентов основателя Публичной библиотеки Юзефа Анджея Залуского превышал 600 человек!).

Трудно провести аналогии между Речью Посполитой в саксонский период и Западной Европой того времени, где единая политика официальных культурообразующих учреждений — государства и церкви — вызвала регресс массовой культуры. По мнению Роберта Мачембледа, изучавшего французскую культуру XVII–XVIII вв., политика официальных институтов была репрессивной в отношении массовой культуры, которая во время правления короля Людовика XIV, «короля-солнце», пережила почти полное затмение¹⁴.

Как представляется, вследствие слабости моделей придворной культуры, отсутствия учреждений, формировавших общественное мнение, и недостатка учреждений, организовывавших литературную жизнь, в шляхетской Речи Посполитой XVIII в. укреплялись различные виды популярной культуры. В особых условиях децентрализованного государства они иногда заменяли собой официальные институты, например, в области сохранения исторической памяти, формирования воспитательных образцов или сбора и систематизации знаний в политической сфере. Такие функции замены выполняли также рукописные шляхетские книги *silva rerum*.

Шляхетские книги *silva rerum*

Характерная не только для XVII в., но и для эпохи Просвещения долговечность частной литературы, домашних книг, написанных с учетом текущих социальных и культурных потребностей авторов и их родственников, не была исключительно польским феноменом и не ограничивалась территорией Речи Посполитой Обоих Народов.

Вопрос о том, что собой представляли книги *silva rerum* и как выглядела история развития рукописных книг (картулярий) в шляхетской Речи Посполитой, в научной литературе вызвал множество недоразумений. Термин «*silva rerum*» подвергался постоянным интерпретационным изменениям, так что одно и то же обозначение (рукописная книга) принимало разные названия в зависимости от исследовательских целей. Причины такой концептуальной дифференциации лежат в самом объекте изучения, который неоднороден по структуре и содержанию. Латинский термин «*silva rerum*», использовавшийся старопольскими авторами этих книг, на польском языке означал «лес вещей». Этот термин вводит структурное разнообразие (лес с множеством деревьев) и разнообразие содержания (вещи, которых много). Стефания Скварчиньская, автор теоретического исследования данного типа литературы, указывает на *varietas* (разнообразие) как на основную отличительную черту структуры домашней книги. По ее словам, составными элементами книги *silva rerum* были множество произведений, содержательное и формальное разнообразие этих произведений, а также разное жанровое значение затронутой тематики — от дел простых до важных¹⁵.

Множество определений рукописи *silva rerum* является результатом другого методологического подхода исследователей разных дисциплин. В гуманитарных науках

¹³ Staszewski 1989.

¹⁴ Muchembled 1991, 223–286.

¹⁵ Skwarczyńska 1970, 185.

важность этих рукописей впервые заметили историки литературы, а также исследователи политической истории. Этот интерес был вызван богатством первоисточников в виде книг, содержащих примеры художественной литературы, а также обилием писем, написанных в связи с какими-либо обстоятельствами и зафиксировавших как текущие политические события, так и повседневные дела шляхетской семьи. В книгах был отражен традиционный ритм жизни их авторов, соответствовавший естественному и литургическому календарям, благодаря чему они стали сокровищницей примеров и интересных подробностей из быта шляхетской усадьбы, необходимых для характеристики человека эпохи барокко и Просвещения. В 1990-е гг. были предприняты попытки проанализировать эти книги с антропологической точки зрения, используя присутствие в них фольклора определенной среды, а также текстов, которые имели «пересечения» в устной и письменной культурах¹⁶.

Важный фактор, повлиявший на терминологическую путаницу вокруг *silva rerum*, — это спор по поводу упорядочения архивных и библиотечных ресурсов и открытия доступа к ним, спор о том, куда должны поступить части наследства, содержащие рукописные книги, — в библиотеки или в архив. Одним из элементов полемики между архивистами и библиотекарями оказалось определение книги типа *silva rerum* — книги ли это или архивные материалы? В интересах сохранения всего исторического наследия Хелена Венцковская предложила включить в архивный фонд материалы официальных лиц, военных и политиков, а коллекции ученых, писателей и музыкантов — в библиотечный¹⁷. Таким образом, коллекции должностных лиц должны отправляться в архивы, а собрания частных лиц — в библиотеки.

Теоретически эта идея ясна и разборчива, но такое разделение не оправдано в случае коллекции *silva rerum* XVII–XVIII вв. Зачастую невозможно четко отделить частные функции — литературную и художественную — от должностных обязанностей конкретного автора книги. Многие из рукописей носили частно-публичный характер, то есть содержали материалы, подготовленные для должностных целей, а также личные записи должностного лица (часто на полях официальных писем). Как пример можно указать на коллекцию секретаря в канцелярии маршала Адама Кемпского и старосты ломжинского Игнатия Пшиемского.

Теперь рассмотрим хронологию развития этого типа литературы в шляхетской Речи Посполитой. Настоящий рост и расцвет рукописных форм начался в конце XVI в. и продолжался до распада шляхетской Речи Посполитой. Это явление, связанное с культурной формацией сарматизма, характеризовалось беспрецедентным разнообразием форм и содержания. Отсутствие какой-либо кодификации правил для создания домашней книги привело к формальной и содержательной дифференциации рукописей, созданных среди польской шляхты. Форма и содержание такой книги являлись скорее результатом семейных традиций и изобретательности автора, чем соблюдением формальных письменных правил. Полезными могли быть только учебники поэзии и риторики, которые описывали «сильву» как литературное произведение, показывающее богатство тематики. Так характеризовал свою «сильву» поэт-иезуит Мацей Казимеж Сарбевский. Замыслы названия книг были взяты из популярных риторических справочников, благодаря чему часто вводились латинские названия. На титульных листах рукописей можно найти термины «*miscellanea*» (разное, сборник), «*nihil et omnia*» (ничего и всё), «*penum synopticum*» (кладезь общего знания), «*varia*» (разное), «*vorago rerum*» (бездна вещей), «*otia publica*» (общественный отдых), «*otia domestica*» (домашний отдых).

На страницах рукописей записывались важные сведения из политической и общественной деятельности автора книги, а также из повседневной жизни. В их числе были личные или скопированные произведения, связанные с горестями и радостями

¹⁶ Maciejewski 1971; Partyka 1988.

¹⁷ Więckowska, 1929.

жизни среднего шляхтича и представляющие определенные литературные жанры («genethliacum» — по случаю рождения ребенка, «epithalamium» — свадьбы, «epicedium» — смерти, «proseucticum» — благодарность за благополучие, «arobaterion» — проводы друзей)¹⁸. Обе музы — Клио и Каллиопа — покровительствовали шляхетскому автору, который занимался общественными делами в сейме и сеймике или домашними делами в тиши усадьбы. В конце концов, латинское «otium negotiosum» (неснисходительное безделье) означало время, свободное от работы, землевладельческую жизнь, наполненную интеллектуальной деятельностью. Неудивительно, что это название часто писалось на титульном листе шляхетской рукописи. Это означало, что читатель найдет в книге отражение повседневной жизни шляхтича, автора книги.

Здесь мы подходим к ключевой проблеме, а именно к вопросу о том, как понимали «сильву» сами современники в XVII–XVIII вв. В исследованиях древнепольской литературы существовала тенденция помещать «сильву» в жанр мемуаров. В этой типологии «сильва» понималась как несовершенная, ранняя форма мемуара. Исследователи мемуаров указывали на полиморфизм этого жанра, считая «сильву» собранием многообразия, далеким от литературного совершенства. Историк литературы Алойзы Сайковский, характеризуя мемуары, четко отличает их от «сильвы»¹⁹. Он описывает ее как «vogago regum» (бездну вещей), где материал не подчинялся никаким критериям отбора, а смешивание формы и содержания делало книгу малопонятной, напоминающей лабиринт. С точки зрения исследователя XXI в. «сильва» действительно может показаться своего рода «vogago regum» и лабиринтом.

И здесь возникает один из самых важных вопросов: была ли такая книга понятной для читателей в XVII–XVIII вв.? Исходя из высказываний самих авторов той эпохи, можно утверждать, что да, она была логично и четко построена. Для старопольских авторов это было доступное произведение, вписанное в культурные традиции того времени. В числе первых сохранившихся высказываний авторов книг этого типа, датированных начиная с 1620 г., было заявление Станислава Ружицкого, который утверждал, что предоставил своему читателю упорядоченный материал. Как показывает анализ собрания, в нем использовался тематический критерий. В 1680-х гг. Адам Жихлинский объяснил, что обилие содержания в его рукописи является естественной потребностью для удовлетворения различных интересов: «Подобно тому, у кого есть хороший аппетит, он не удовлетворится одним блюдом, но ищет многих других вкусов. Подобно тому, кто является охотником, он не удовлетворится одной охотой, но отправляется далеко в новые леса и ищет там новое животное»²⁰.

На необходимость собрать различные темы в рамках одной книги также указал автор единственной печатной «сильвы» середины XVIII в. — смоленский кастелян Казимеж Несёловский. В предисловии он обращался к читателю: «Помни, что это против моды, чтобы иметь одно дерево в саду, известны только те сады, которые имеют изобилие фруктов»²¹.

Далее Несёловский отметил то, как читатель должен воспринимать его произведение. По его мнению, именно читатель свободно выбирает из произведения то, что ему интересно в настоящий момент. Таким образом, в данном случае речь идет о понимании *silva regum* как некоего черновика текста для дальнейшей доработки и обработки. Несёловский, который вручил книгу читателю, осознавал, какую функцию должна выполнять книга: «Книге присвоено название *miscellanea*, ты, читатель, можешь похвалить

¹⁸ Michałowska 1998, 483.

¹⁹ Sajkowski 1964, 35.

²⁰ Biblioteka Płockiego Towarzystwa Naukowego, Manuscripta Adama Żychlińskiego, t. 2, sygn. 114, k. VIII.

²¹ «Zacny lektorze uważ, że to przeciw modzie / Byłoby kwiat lub drzewo mieć jedno w ogrodzie / Lecz te są najślawniejsze ogrody i sady / Gdzie z kwiatów rozlicznych, z drzew i fruktów przysady...» (Niesiowski 1743, k. nlb. [без пагинации]).

или осудить стиль, ты можешь выбрать то, что тебе нравится, потому что автор не может догадаться, кому что понравится»²².

Подобную свободу выбора отрывков и порядка чтения в зависимости от интересов предоставлял читателю анонимный автор рукописи второй половины XVIII в., содержащей в основном политические и исторические тексты. Рукопись могла быть прочитана частично или полностью, с начала или конца. Автор давал читателю возможность выбора. Он только потребовал, чтобы после чтения его книги читатель молился за него Богу:

Ты достигнешь добродетели доблести
И знания законов своей родины.
Неважно, какую часть книги возьмёшь,
Читаешь ли Ты быстро или медленно,
Ты получишь много преимуществ,
Но при условии, что произнесёшь молитву²³.

Для того чтобы облегчить восприятие таких разнообразных и разрозненных сообщений, авторы «сильвы» предоставили читателям указатели заголовков и списки скопированных актов. На полях, чтобы подчеркнуть важность информации, были нанесены латинские обозначения — «nota bene» или «notandum». На последующих страницах для облегчения чтения, используя пример печатных книг, иногда указывались так называемые кустоды (рекламанты). Некоторые фрагменты, признанные создателем неудачной поэтической попыткой или вызывавшие возражение следующего владельца книги, были вычеркнуты или стерты (например, непристойные стихи или медицинские советы, которые после испытания оказались неэффективными). Иногда причина путаницы в содержании была весьма прозаична — с целью экономии бумаги. Так, например, староста Сапега, автор составленной в 1720-х гг. книги «Записки о домашних интересах», объяснил хронологический беспорядок желанием использовать все оставшиеся незаполненными страницы. Из-за высокой цены бумаги он использовал каждый пустой отрезок, смешивая разные события из разных периодов.

Таким образом, хаос, замечаемый современными исследователями, обычно был мнимым, потому что и автор, и получатель текста знали об этой типичной коммуникативной ситуации. Как справедливо отмечал в статье «Галактики культуры» Кшиштоф Дмитрук, «шляхтич использовал книгу свободно и даже произвольно. Он часто разделял ход чтения на отрывки, фрагменты, цитаты и выражения. Он нарушал авторский и печатный порядок повествования, не соблюдал драматургию информационной последовательности, накладываемой текстом. Этот читатель черпал из книг материал, который в рамках свободной структуры “сильвы” был интегрирован в совершенно новое и нестандартное целое»²⁴.

Помимо терминологических вопросов, чрезвычайно важной представляется проблема представления польской домашней книги на фоне развития подобных форм литературы в Европе.

В ходе исследований, посвященных развитию рукописных форм типа *silva rerum*, высказывалось мнение о специфически польском характере этого типа рукописных книг. Такое предположение подразумевало, что сравнительный анализ ограничивался

²² Ibid.

²³ «Do osiągnięcia onych cnót dzielności / i praw ojczystych pewnych wiadomości / Z której więc którejkolwiek części swej podziału / Cny czytelniku wiele lub pomału / Z tej mojej księgi możesz mieć czynienie / Zmów proszę za mnie wieczyste [zbawienie]» (Archiwum Historyczne w Wilnie, sygn. 1135, op. 2, 103. Przedmowa do czytelnika).

²⁴ Dmitruk 1989, 17; также ср.: Dziechcińska 1994, 41.

территорией только Речи Посполитой²⁵. Более того, с точки зрения хронологии, выражались сомнения в возможности проводить сравнительные исследования в области циркуляции рукописей в отношении XVIII в., который рассматривается как эпоха преобладания печати. Помимо этого, сам предмет исследований — популярная литература (а к такому кругу принадлежит книга *silva rerum*), в отличие от художественной, элитарной литературы, воспринималась преимущественно с точки зрения национальной литературы²⁶. Но национальную литературу сравнить труднее, чем универсальную.

Отсутствие сравнительных исследований привело к упрощенным мнениям о рукописи типа *silva rerum*, которые возникли благодаря скорее интуиции, чем сравнительному анализу материала. Надо здесь привести два характерных мнения, закрепляющих стереотип об исключительно польской специфике домашней книги *silva rerum*. Первое мнение сформулировал историк книги: «Частичной причиной такого явления (т.е. пренебрежение исследованиями рукописной книги) является ситуация рукописной книги в Западной Европе, где после Средневековья книга потеряла свою независимость. В Речи Посполитой всё же было иначе. После определенного кризиса в XVI в. сформировался особый тип рукописной книги, вероятно единственный в Европе, рукописный сборник исторических и политических текстов, позже названный *silva rerum*»²⁷. Второе мнение сформулировал историк литературы: «Возможно, культурное наследие других народов включает письменные материалы, в общем характере похожие на польское *silva rerum*. Конечно, они не достигли такого значения, и не играли такой роли, и, вероятно, не выглядели столь специфичными, как в Речи Посполитой, поскольку в зарубежных энциклопедиях нет записи *silva rerum*, но зато она повторяется во всех польских энциклопедиях...»²⁸

Как отмечалось выше, оба мнения предполагают уникальный польский характер рукописной книги. Действительно, первый и беглый обзор словарей и энциклопедий, а также учебников европейской литературы может подтвердить правильность таких суждений. Термин «*silva*», «*silve*» или «*sylve*» включает, например, во французских энциклопедиях XVIII в. название общественных развлечений и игр, вид охоты, практикуемой в Древнем Риме, или поэтическое произведение, происходящее от древнеримского поэта Стация, «поэтическое произведение, созданное на энтузиазме, без подготовки, без размышлений, фантазией, шуткой, от жара воображения»²⁹.

Однако в немецком лексиконе Иоганна Генриха Цедлера можно найти простую ссылку латинского «*sylva*» на немецкое «*Wald*». *Silva rerum* — это не только термин для обозначения литературного жанра. Феномен рукописной книги, книги, содержащей различные записи из общественной и частной жизни, существовал с разной интенсивностью и в различных формах практически по всей Европе. Однако, как уже упомянуто, он получил разные названия — *commonplace books*, *les livres de raison*, *Hausbuch*, *notizie della famiglia*, и только на территории шляхетской Речи Посполитой — *silva rerum*. Таким образом, только в шляхетской Речи Посполитой определение жанра «*силва*», известного из литературы, было принято как название домашней книги шляхты (*silva rerum*).

Рукописные книги, появлявшиеся в Европе под разными названиями, объединяет то, что они повсюду были важным элементом поддержания традиций, они помогали участвовать в общественной и семейной жизни, а также служили образцом для

²⁵ Попыткой сломать сложившийся в польской историографии стереотип было исследование Януша Тазбира, см.: *Tazbir 1986*.

²⁶ *Lusebrink 1998*, 143–145.

²⁷ *Wiesiowski 1971*.

²⁸ *Skwarczyńska 1970*, 183.

²⁹ «*Piece de poésie faite d'enthousiasme, sans preparation, sans meditation, par fantasie, par boutade, de chaleur d'imagination*» (*Diderot 1751*).

потомков. Иногда лишённые какой-либо литературной ценности, бедные в смысле повествования, они, однако, играли важную культурную функцию в жизни личности и семьи.

Принципиальные различия между рукописными книгами, особенно в Западной Европе, и «сильвами» в Речи Посполитой были результатом различий в развитии официальной культуры. Если в Речи Посполитой такие книги иногда были основным источником информации, экономическими, политическими и воспитательными учебниками, то например, французские *livres de raison* или английские *commonplace books* оставались на периферии официальной культуры, определяемой печатными публикациями³⁰.

Как представляется, до настоящего времени попытки типологии представляли рукопись типа «сильва» в статической перспективе, назначая ей роль политического, литературного, правового, общественного или морального источника. Однако развитие этой формы литературы следует рассматривать в динамике и целно, как отражение сарматской культуры. В какой мере формация сарматизма (понимаемая как целостность человеческого поведения и его деятельности в рамках общества Речи Посполитой в XVII–XVIII вв.) имела свои взлеты и падения, так и «сильва» изменяла свою форму и содержание.

Домашняя книга была важным элементом шляхетской культуры на протяжении XVII–XVIII вв., а последним периодом большого возрождения и развития этого типа книг был период Барской конфедерации (1768–1772). Книга *silva rerum* участвовала в культурной жизни не только как свидетель событий, но и, даже вернее, как их соавтор. Именно на страницах этих книг записывались и распространялись голоса, которые формировали общественное мнение. В то время как официальную позицию властей можно было найти в виде печатных эдиктов, манифестов, универсалов, домашние книги были отражением настроений в провинции, в шляхетских усадьбах³¹.

Заключение

В конце этих размышлений хотелось бы высказать предложение, что данный тип литературы необходимо рассматривать в качестве архива сарматской памяти, архива, который собирает и делает доступным интеллектуальный ресурс культурной формации сарматизма. В данном случае я использую концепцию архива, предложенную немецкими исследователями Алейдой и Яном Ассманом, и рассматриваю архив как более широкое культурное понятие — не только место, где хранятся документы, но и место, где конструируется прошлое (определяемое как память власти)³². Отличительной чертой такой памяти (*Funktionsgedächtnis*) является связь с человеком, группой или учреждением, которые ее хранят, и, следовательно, субъективизм (избирательность) в выборе запоминаемых и забытых элементов. Такая память предоставляет образцы для построения норм и ценностей, идентифицирующих данную группу. В отличие от такой субъективной памяти, которая связана с определенной группой или человеком, действующими в рамках культурной формации, «историю» следовало бы понимать как память, которая предоставляет истину и укрепляет всё наследие прошлого³³.

K silva rerum — шляхетским домашним книгам — мы будем относиться как к архиву, который не только собирает и открывает доступ к высказываниям их авторов, но и образует «субъективный» мир сарматских ценностей. Помимо так понимаемого архива, оставался слой придворной культуры, который отражал эстетику, существовавшую тогда при королевском дворе. Это не означает, что тексты официальной придворной

³⁰ Partyka 1995.

³¹ Maciejewski 1976, XIV–XV.

³² Assmann 1999, 343–347.

³³ Assmann 1997, 43.

культуры не появлялись в книгах *silva regum*. Когда авторы включали их в эти книги, в основном это был предлог для критики власти (например, сатиры против короля Станислава Понятовского). Это могло также предполагать изменение первичного оригинального образца (например, «Антимонитор» в форме рукописи как реакция на печатный реформаторский журнал из круга королевского двора — «Монитор»)³⁴. Следует подчеркнуть, что в придворной культуре также была в изобилии представлена рукописная литература. Однако для официальных посланий во времена династии Ваза, Саксонской династии и Станислава Августа Понятовского королевский двор преимущественно использовал печатное слово.

Архивы, пополняемые новыми текстами на протяжении всего периода становления формации сарматизма, сохраняли свою актуальность и полезность, систематически предоставляя примеры и образцы, важные для политической и литературной деятельности, а также для повседневного существования. Только в XIX в. к этим книгам начали относиться как к коллекциям, собраниям текстов, документов, которые находились вне текущей политической, административной и экономической жизни. В то время они стали лишь напоминанием о прошлом, используемым в литературных или генеалогических целях, в поисках семейной истории. Только тогда барочная концепция *voago regum* (бездны вещей) стала означать настоящий хаос. Потомки сарматских предков в XIX в. уже не понимали значения книг *silva regum*, написанных предшествующими поколениями.

Предложение прочитать рукописную книгу типа *silva regum* как архив памяти может быть полезно и для других типов источников. Авторы мемуаров, дневников и частных писем также создавали своего рода архив *ad subsidium memoriae* (для укрепления памяти) и *ad posteritatem* (для потомков). Такая запись прошлого имела субъективный и выборочный характер. Вопросы о методах и объеме этого отбора, а также об особенностях такой субъективной записи позволяют открыть новую перспективу для исследований источников в качестве эго-документов или архивов памяти.

Такие исследования также создают возможность сотрудничества историков и литературоведов. Думается, что концепция архива памяти может быть введена как наиболее обобщающий термин, определяющий литературу частного пространства. Принимая во внимание определения, уже существующие в европейской литературе (среди как историков, так и историков литературы), можно сделать вывод, что архивы памяти — это категория, которая включает источники большого формального и тематического разнообразия, но прямо или косвенно описывающие их авторов. Таким образом, архив памяти будет включать классические автобиографии, мемуары, дневники, письма, завещания, показания свидетелей, а также коллекции текстов (фрагментов, выписок, копий) и в целом произведения, созданные автором из конкретных «сборных элементов». Следовательно, эта категория образует самый большой круг в модели литературы автобиографического характера. Эта модель представляет собой четыре концентрических круга в порядке от наименьшего к наибольшему: (1) автобиография; (2) самосвидетельство; (3) эго-документ; (4) архив памяти. Самая полная концепция архива памяти охватывает определенные литературные жанры (дневник, мемуар, автобиография), а также примеры гибридной литературы — сборники произведений, составленных из различных жанровых форм, собственных текстов и отрывков, переписанных из чужих произведений.

Джеймс Амеланг, эксперт по автобиографической литературе в Западной Европе современной эпохи, отмечает разницу между строгим подходом к автобиографии как литературному жанру (источнику художественной литературы) и как к эго-документу (историческому источнику). Автор указывает на возникающие в связи с этим разногласия между историками и историками литературы. Однако он оптимистичен в своих

³⁴ Maciejewski 1994, 73.

рассуждениях. Подчеркивая возможность междисциплинарного исследования автобиографии как литературного произведения и как эго-документа, он риторически вопрошает: какая область может быть лучше для экуменической встречи двух научных дисциплин, чем область автобиографии?³⁵

ЗАЯВЛЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

Archiwum Historyczne w Wilnie. Sygn. 1135 (Towarzystwo Przyjaciół Nauk).

Biblioteka Płockiego Towarzystwa Naukowego. Sygn. 114 (Manuscripta Adama Żychlińskiego).

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

Amelang, J. Saving the Self from Autobiography // *Selbstzeugnisse in der Frühen Neuzeit. Individualisierungsweisen in interdisziplinärer Perspektive* / hrsg. von K. von Greyerz. München: Oldenbourg, 2007. S. 129–140.

Assmann, A. Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses. München: Beck, 1999. 424 S.

Assmann, J. Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen. München: Beck, 1997. 244 S.

Au plus près du secret des coeurs? Nouvelles lectures historiques des écrits du for privé en Europe du XVI au XVIII siècle / edit. J. P. Bardet, F. J. Ruggiu. Paris: Paris-Sorbonne, 2005. 317 p.

Bischoff, N. Über den heuristischen Wert der Konzepte «Selbstzeugnis» und «Ego-Dokument» am Beispiel schlesischer Selbstzeugnisse 1550–1650 // *Berichte und Forschungen*. 2009. Bd. 17. S. 87–117.

De bonne main. La communication manuscrite au XVIII siècle / dir. F. Moureau. Paris: Universitas; Oxford: Voltaire Foundation, 1993. 194 p.

Dekker, R. Jacques Presser's Heritage — Egodocuments in the Study of History // *Memoria y Civilisation*. 2002. Vol. 5. P. 13–37.

Dmitruk, K. Galaktyki kultury // *Kultura żywego słowa* / pod red. H. Dziechcińskiej. Warszawa: Instytut Badań Literackich, 1989. P. 17–23.

Dülmen, R., van. Die Entdeckung des Individuums 1500–1800. Frankfurt a. M.: Fischer, 1997. 176 S.

Dziechcińska, H. Kultura literacka w Polsce XVI i XVII wieku. Zagadnienia wybrane. Warszawa: Semper, 1994. 126 s.

Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers / edit. D. Diderot, J. Le Rond d'Alembert. Paris; Briasson [etc.], 1751 [website]. URL: https://portail.atilf.fr/cgi-bin/getobject_?p.113:79./var/artfla/encyclopedie/textdata/IMAGE// (accessed: 12.09.2021).

Jancke, G. Autobiographie als soziale Praxis. Beziehungskonzepte in Selbstzeugnissen des 15. und 16. Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum. Köln; Weimar; Wien: Böhlau, 2002. VIII, 264 S.

Jancke, G. Patronagebeziehungen in autobiographischen Schriften // *Selbstzeugnisse in der Frühen Neuzeit. Individualisierungsweisen in interdisziplinärer Perspektive* / hrsg. von K. von Greyerz. München: Oldenbourg, 2007. S. 14–20.

³⁵ *Amelang* 2007, 139.

- Heiligensetzer, L.* Getreue Kirchendiener — gefährdete Pfarrherren. Deutschschweizer Prädikanten des 17. Jahrhunderts in ihren Lebensbeschreibungen. Köln; Weimar; Wien: Böhlau, 2006. X, 331 S.
- Kartschoke, D.* Ich-Darstellung in der volkssprachigen Literatur // Entdeckung des Ich. Die Geschichte der Individualisierung vom Mittelalter bis zur Gegenwart / hrsg. von R. van Dülmen. Wien: Böhlau, 2001. S. 61–78.
- Kormann, E.* Ich, Welt und Gott. Autobiographik im 17. Jahrhundert. Köln; Weimar; Wien: Böhlau, 2004. 357 S.
- Krusenstjern, B., von.* Was sind Selbstzeugnisse? Begriffskritische und quellenkundliche Überlegungen anhand von Beispielen aus dem 17. Jahrhundert // Historische Anthropologie. 1994. Bd. 2. S. 463–465.
- Les écrits du for privé. Objets matériels, objets édités / edit. M. Cassan, J. P. Bardet, F. J. Ruggiu. Limoges: Pulim, 2005. 347 p.
- Les écrits du for privé en Europe (du Moyen Age à l'époque contemporaine). Enquête, Analyses, Publication / edit. J. P. Bardet, E. Arnoul, F. J. Ruggiu. Bordeaux: Presses universitaires de Bordeaux, 2010. 657 p.
- Literatura barska. Antologia / oprac. J. Maciejewski. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976. XCVIII, 400 s.
- Lusebrink, H. J.* Littérature populaire et imprimé de large circulation en Europe. Perspectives d'analyse comparatistes et interculturelles // Dix-Huitième Siècle. 1998. Vol. 30. P. 143–153.
- Maciejewski, J.* Dylematy wolności. Zmierzch sarmatyzmu i początki oświecenia w Polsce. Warszawa: Latona, 1994. 257 s.
- Maciejewski, J.* Folklor środowiskowy. Sposób jego istnienia, cechy wyodrębniające (na przykładzie 'folkloru szlacheckiego' XVII i XVIII w. // Problemy socjologii literatury / red. J. Sławiński. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971. S. 249–268.
- Michałowska, T.* Literatura okolicznościowa // Słownik literatury staropolskiej / red. T. Michałowska. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1998. S. 480–485.
- Mordenti, R.* I libri di famiglia in Italia. Geografia e storia. Roma: Edizioni di Storia e Letteratura, 2001. XVI, 226 p.
- Muchembled, R.* Culture populaire et culture des élites dans la France moderne (XV^e – XVIII^e siècle). Paris: Flammarion, 1991. 398 p.
- Niesiołowski, K.* Wstęp Ad librum et lectorem // Otia publica vix domestica próżnoty różne, publiczne, domowe, dawne, późniejsze, terażniejsze, nowe pod tarczą na świat przy dwóch idą mieczach o świętych, świeckich dowiesz się tu rzeczach... [Pińsk], 1743, k. nlb.
- Partyka, J.* Między scientia curiosa a encyklopedią. Europejskie konteksty dla staropolskich kompendiów wiedzy. Warszawa: Instytut Badań Literackich, 2019. 224 s.
- Partyka, J.* Rękopisy dworu szlacheckiego doby staropolskiej. Warszawa: Semper, 1995. 142 s.
- Partyka, J.* Szlachecka silva rerum jako źródło do badań etnograficznych // Etnografia Polska. 1988. T. 33, z. 2. S. 67–93.
- Pelc, J.* Barok — epoka przeciwieństw. Warszawa: Czytelnik, 1993. 358, [2] s.
- Peters, J.* Mit Pflug und Gänsekiel. Selbstzeugnisse schreibender Bauern. Eine Anthologie. Köln; Weimar; Wien: Böhlau, 2003. 357 S.
- Prejs, M.* Oralność i mnemonika. Późny barok w kulturze polskiej. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009. 324 s.
- Rozzak, S.* Archiwa sarmackiej pamięci. Funkcje i znaczenie rękopiśmiennych ksiąg silva rerum w kulturze Rzeczypospolitej XVIII wieku. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004. 288 s.
- Rozprawy z dziejów XVIII wieku. Z dziejów komunikacji socjalnej epoki nowożytnej / red. J. Wojtowicz. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1993. 138 s.
- Sajkowski, A.* Nad staropolskim pamiętnikami. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1964. 147 s.

- Schiffbruch! Drei Selbstzeugnisse von Kaufleuten des 17. / 18. Jahrhunderts / hrsg. von O. Ulbricht. Köln; Weimar; Wien: Böhlau, 2013. 208 S.
- Schmolinsky, S. Selbstzeugnisse im Mittelalter // Das dargestellte Ich. Studien zu Selbstzeugnissen des späteren Mittelalters und der Frühen Neuzeit / hrsg. von K. Arnold, S. Schmolinsky, U. M. Zahnd. Bochum: Winkler, 1999. S. 19–28.
- Skwarczyńska, S. Wokół teatru i literatury. Studia i szkice. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1970. 366 s.
- Staropolska kultura rękopisu / red. H. Dziechcińska. Warszawa: Instytut Badań Literackich, 1990. 227 s.
- Staropolski ogląd świata. Materiały z konferencji / red. B. Rok and F. Wolański. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004. 247 s.
- Staszewski, J. Kultura polska w kryzysie XVIII wieku // Tryumfy i porażki. Studia z dziejów kultury polskiej / pod red. M. Boguckiej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Naukowe, 1989. S. 236–258.
- Tazbir, J. Książka rękopiśmienna w Polsce i Rosji (XVI–XVIII w.) // Przegląd Humanistyczny. 1986. T. 77, z. 4. S. 657–683.
- Von der dargestellten Person zum erinnerten Ich. Europäische Selbstzeugnisse als historische Quellen (1500–1850) / hrsg. von K. von Greyerz, H. Medick, P. Veit. Köln; Weimar; Wien: Böhlau, 2001. X, 461 S.
- Więckowska, H. Archiwum a biblioteka. Odmienność materiału i metod pracy // Przegląd Biblioteczny. 1929. T. 1. S. 14–27.
- Wiesiołowski, J. Wstęp // Katalog rękopisów staropolskich Biblioteki Kórnickiej XVI–XVIII / red. R. Marciniak, M. Muszyński, J. Wiesiołowski. T. 1. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971. S. 7–10.
- Wolański, F. Kaznodziejstwo bernardyńskie w staropolskim systemie komunikacji społecznej schyłku epoki saskiej. Studium kształtowania wyobrażeń i postaw. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. 446 s.

Article

Manuscript Culture of the Polish-Lithuanian Commonwealth in the Early Modern Period

STANISŁAW ROŻAK

Faculty of History, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland

ABSTRACT

The 17th century is often defined in Polish historiography as the age of manuscripts. The author makes an attempt to analyze the manuscript culture in the Commonwealth of Nobility by pointing out the reasons for the permanence and popularity of manuscript books, called manuscripts of a noble court or *silva rerum* books. The manuscript was still in the 18th century an important form of social communication in the Republic of the nobility. Printing was associated primarily with the royal court and its political initiatives. That is why the printed message was approached with caution, considering that by means of the press, memorials and books the ruler would try to influence the opinions of the nobility. In the article the author analyses the functions of private sources, showing the interests and views of the nobility, as well as the world of internal experiences. He will verify the old theses of historiography with

the unique Polish character of so-called home books. Nowadays, thanks to the anthropological perspective of the research, home manuscripts, discovered in the family archives of the nobility and townspeople throughout Europe, have gained in importance. In France they are known as *livres de raison*, in Italy as *libri di famiglia*, in Germany as *Hausbücher*, in England as commonplace books, in Poland as *silva rerum*. The author proposes that the books created in the 17th- and 18th-century Republic of Poland should be referred to as the archives of Sarmatian memory. They were a collection of informations necessary for public and private activities, handed down from generation to generation in noble families and recorded in home books.

KEYWORDS: culture of the nobility, the Republic of the nobility, manuscript of the *silva rerum*, ego-document

FOR CITATION: Roszak, Stanisław. 2022. "Manuscript Culture of the Polish-Lithuanian Commonwealth in the Early Modern Period." *History HSE* 1: 44–60.

SUBMITTED: 12.19.2021 | **ACCEPTED FOR PUBLICATION:** 11.10.2021

DISCLOSURE STATEMENT

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

ARCHIVAL SOURCES

Archiwum Historyczne w Wilnie. Sygn. 1135 (Towarzystwo Przyjaciół Nauk).

Biblioteka Płockiego Towarzystwa Naukowego. Sygn. 114 (Manuscripta Adama Żychlińskiego).

REFERENCES

- Amelang, James. 2007. "Saving the Self from Autobiography." In *Selbstzeugnisse in der Frühen Neuzeit. Individualisierungsweisen in interdisziplinärer Perspektive*, edited by Kaspar von Greyerz, 129–40. München: Oldenbourg.
- Assmann, Aleida. 1999. *Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses*. München: Beck.
- Assmann, Jan. 1997. *Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen*. München: Beck.
- Bardet, Jean Pierre, and François Joseph Ruggiu, eds. 2005. *Au plus près du secret des coeurs? Nouvelles lectures historiques des écrits du for privé en Europe du XVI au XVIII siècle*. Paris: Presses de l'Université Paris-Sorbonne.
- Bardet, Jean Pierre, and Elisabeth Arnoul, François Joseph Ruggiu, eds. 2010. *Les écrits du for privé en Europe (du Moyen Age à l'époque contemporaine). Enquête, Analyses, Publications*. Bordeaux: Presses universitaires de Bordeaux.
- Bischoff, Nora. 2009. "Über den heuristischen Wert der Konzepte 'Selbstzeugnis' und 'Ego-Dokument' am Beispiel schlesischer Selbstzeugnisse 1550–1650." *Berichte und Forschungen* 17: 87–117.
- Cassan, Michel, and Jean Pierre Bardet, François Joseph Ruggiu, eds. 2005. *Les écrits du for privé. Objets matériels, objets édités*. Limoges: Pulim.
- Dekker, Ralf. 2002. "Jacques Presser's Heritage — Egodocuments in the Study of History." *Memoria y Civilisation* 5: 13–37.
- Diderot, Denis, and Jean Le Rond d'Alembert, eds. 1751. *Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers*. https://portail.atilf.fr/cgi-bin/getobject_?p.113:79./var/artfla/encyclopedie/textdata/IMAGE// (Accessed: 12.09.2021).
- Dmitruk, Krzysztof. 1989. "Galaktyki kultury." In *Kultura żywego słowa*, edited by Hanna Dziechcińska, 17–23. Warszawa: Instytut Badań Literackich.

- Dziechcińska, Hanna. 1994. *Kultura literacka w Polsce XVI i XVII wieku. Zagadnienia wybrane*. Warszawa: Semper.
- , ed. 1997. *Staropolska kultura rękopisu*. Warszawa: Instytut Badań Literackich, 1990.
- Dülmen, Richard van. *Die Entdeckung des Individuums 1500–1800*. Frankfurt am Main: Fischer.
- Greyerz, Konrad von, and Hans Medick, and Patrice Veit, eds. 2001. *Von der dargestellten Person zum erinnerten Ich. Europäische Selbstzeugnisse als historische Quellen (1500–1850)*. Köln; Weimar; Wien: Böhlau.
- Jancke, Gabriel. 2002. *Autobiographie als soziale Praxis. Beziehungskonzepte in Selbstzeugnissen des 15. und 16. Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum*. Köln; Weimar; Wien: Böhlau.
- . 2007. “Patronagebeziehungen in autobiographischen Schriften.” In *Selbstzeugnisse in der Frühen Neuzeit. Individualisierungsweisen in interdisziplinärer Perspektive*, edited by Konrad von Greyerz, 14–20. München: Oldenbourg.
- Heiligensetzer, Lorenz. 2006. *Getreue Kirchendiener – gefährdete Pfarrherren. Deutschschweizer Prädikanten des 17. Jahrhunderts in ihren Lebensbeschreibungen*. Köln; Weimar; Wien: Böhlau.
- Kartschoke, Dieter. 2001. “Ich-Darstellung in der volkssprachigen Literatur.” In *Entdeckung des Ich. Die Geschichte der Individualisierung vom Mittelalter bis zur Gegenwart*, edited by Richard van Dülmen, 61–78. Wien: Böhlau.
- Kormann, Eva. 2004. *Ich, Welt und Gott. Autobiographik im 17. Jahrhundert*. Köln; Weimar; Wien: Böhlau.
- Krusenstjern, Benigna von. 1994. “Was sind Selbstzeugnisse? Begriffskritische und quellenkundliche Überlegungen anhand von Beispielen aus dem 17. Jahrhundert.” *Historische Anthropologie* 2: 463–65.
- Lusebrink, Hans Jürgen. 1998. “Littérature populaire et imprimé de large circulation en Europe. Perspectives d’analyse comparatistes et interculturelles.” *Dix-Huitième Siècle* 30: 143–53.
- Maciejewski, Janusz. 1994. *Dylematy wolności. Zmierzch sarmatyzmu i początki oświecenia w Polsce*. Warszawa: Latona.
- . 1971. “Folklor środowiskowy. Sposób jego istnienia, cechy wyodrębniające (na przykładzie ‘folkloru szlacheckiego’ XVII i XVIII w.)” In *Problemy socjologii literatury*, edited by Janusz Sławiński, 249–68. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
- , ed. 1976. *Literatura barska. Antologia*. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
- Michałowska, Teresa. 1998. “Literatura okolicznościowa.” *Słownik literatury staropolskiej*, edited by Teresa Michałowska, 480–5. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
- Mordenti, Raul. 2001. *I libri di famiglia in Italia. Geografia e storia*. Roma: Edizioni di Storia e Letteratura.
- Moureau, François, ed. 1993. *De bonne main. La communication manuscrite au XVIII^e siècle*. Paris: Universitas; Oxford: Voltaire Foundation.
- Muchembled, Robert. 1991. *Culture populaire et culture des élites dans la France moderne (XV^e – XVIII^e siècle)*. Paris: Flammarion.
- Niesiołowski, Kazimeż. 1743. “Wstęp Ad librum et lectorem.” In *Otia publica vix domestica próżnoty różne, publiczne, domowe, dawne, późniejsze, terażniejsze, nowe pod tarczą na świat przy dwóch idą mieczach o świętych, świeckich dowiesz się tu rzeczach...* Pińsk, k. nlb.
- Partyka, Joanna. 2019. *Między scientia curiosa a encyklopedią. Europejskie konteksty dla staropolskich kompendiów wiedzy*. Warszawa: Instytut Badań Literackich.
- . 1995. *Rękopisy dworu szlacheckiego doby staropolskiej*. Warszawa: Semper.
- . 1988. “Szlachecka silva rerum jako źródło do badań etnograficznych.” *Etnografia Polska* 33, no. 2: 67–93.

- Pelc, Janusz. 1993. *Barok — epoka przeciwieństw*. Warszawa: Czytelnik.
- Peters, Jan. 2003. *Mit Pflug und Gänsekiel. Selbstzeugnisse schreibender Bauern. Eine Anthologie*. Köln; Weimar; Wien: Böhlau.
- Prejs, Marek. 2009. *Oralność i mnemonika. Późny barok w kulturze polskiej*. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
- Rok, Bogdan, and Filip Wolański, eds. 2004. *Staropolski ogląd świata. Materiały z konferencji*. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
- Roszak, Stanisław. 2004. *Archiwa sarmackiej pamięci. Funkcje i znaczenie rękopiśmiennych ksiąg silva rerum w kulturze Rzeczypospolitej XVIII wieku*. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
- Sajkowski, Alojzy. 1964. *Nad staropolskim pamiętnikami*. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
- Schmolinsky, Sabine. 1999. "Selbstzeugnisse im Mittelalter." In *Das dargestellte Ich. Studien zu Selbstzeugnissen des späteren Mittelalters und der Frühen Neuzeit*, edited by Klaus Arnold, and Sabine Schmolinsky, and Urs Martin Zahnd, 19–28. Bochum: Winkler.
- Skwarczyńska, Stefania. 1970. *Wokół teatru i literatury. Studia i szkice*. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
- Staszewski, Jacek. 1989. "Kultura polska w kryzysie XVIII wieku." In *Tryumfy i porażki. Studia z dziejów kultury polskiej*, edited by Maria Bogucka, 236–58. Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Naukowe.
- Tazbir, Janusz. 1986. "Książka rękopiśmienna w Polsce i Rosji (XVI–XVIII w.)." *Przegląd Humanistyczny* 77, no. 4: 657–83.
- Ulbricht, Otto, ed. 2013. *Schiffbruch! Drei Selbstzeugnisse von Kaufleuten des 17./18. Jahrhunderts*. Köln; Weimar; Wien: Böhlau.
- Więckowska, Helena. 1929. "Archiwum a biblioteka. Odmiennosc materiału i metod pracy." *Przegląd Biblioteczny* 1: 14–27.
- Wiesiołowski, Jacek. 1971. "Wstęp." In *Katalog rękopisów staropolskich Biblioteki Kórnickiej XVI–XVIII*, edited by Ryszard Marciniak, Marek Muszyński, and Jacek Wiesiołowski, 7–10. Vol. 1. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
- Wojtowicz, Jerzy, ed. 1993. *Rozprawy z dziejów XVIII wieku. Z dziejów komunikacji społecznej epoki nowożytnej*. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
- Wolański, Filip. 2012. *Kaznodziejstwo bernardyńskie w staropolskim systemie komunikacji społecznej schyłku epoki saskiej. Studium kształtowania wyobrażeń i postaw*. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
-

Научная статья

Равенство, индивидуализм, холизм: перспективы «дюмоновской этнографии»

Андрей Титорский 

Исторический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия

АННОТАЦИЯ


Статья представляет вехи биографии, научные труды и теоретические идеи французского антрополога середины XX в. Луи Дюмона. Он занимался изучением французского регионального фольклора и ритуалов, затем исследовал индийскую касту прамалай каллар в штате Тамилнад, а в 1960–1980-е гг. пришел к осмыслению таких понятий, как равенство, холизм и иерархия. Задача статьи — представить Дюмона российскому научному сообществу именно как теоретика, а не как индолога. В центре внимания — видение ученым проблем равенства /иерархии, индивидуализма /холизма. Начав с представления о неразрывности равенства и индивидуализма, ученый сформулировал более сложные соотношения этих понятий. В завершение приводится разбор аргументов критиков теоретических построений Дюмона (М. Моско, П. Коленда), а также их сторонников (Дж. Роббинс). Автор статьи обнаруживает точки соприкосновения между теоретическими построениями Дюмона и М. Стратерна.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: равенство, индивидуализм, иерархия, холизм, Дюмон, динамизм

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Титорский А. В. Равенство, индивидуализм, холизм: перспективы «дюмоновской этнографии» // History HSE. 2022. № 1. С. 61–81.

ПОСТУПЛЕНИЕ СТАТЬИ: 13.07.2021 | **ПРИНЯТИЕ К ПУБЛИКАЦИИ:** 18.10.2021

Луи Дюмон — известный французский антрополог, специалист по социальным системам Индии и идеологии Запада, неординарный мыслитель, впрочем, не оставивший сформированной школы и известный больше социологам и историкам, чем антропологам¹. Данная статья посвящена проблемам равенства и иерархии в работах Дюмона, которые он назвал «принципом эгалитарности» и «принципом иерархичности» и относил к «основным реальностям политической и общественной жизни»². Проблемам, которые прошли красной нитью через все его труды. Однако одни из них — как равенство — постепенно переместились на периферию интересов ученого, а другие — как индивидуализм и холизм — оказались в центре его теоретических построений.

© Титорский А. В., 2022  tutorski@mail.ru

¹ Tcherkézoff 1993, 143.

² Дюмон 2001, 27.

Цель этой работы — познакомить русскоязычных читателей с основными теоретическими идеями французского антрополога, а также продемонстрировать степень включенности этих идей в западную антропологическую науку. Это актуально в настоящее время, поскольку отечественная этнология / антропология ищет новые теоретические рамки и пути дальнейшего развития. В этой связи теоретические идеи Л. Дюмона, отчасти противостоящие мейнстриму англоязычной науки, могут оказаться востребованными отечественными учеными. На данный момент в немногочисленных русскоязычных работах французский ученый преимущественно рассматривается как ученый-индолог³, а не как теоретик этнографической / антропологической науки. Его теоретические построения воспринимаются в России⁴ в первую очередь сквозь призму трудов американских и британских ученых, которые относятся к его идеям настороженно. Подробный разбор идей Дюмона и их научных импликаций на русском языке предпринимается впервые.

Представленная статья будет построена следующим образом: в первом разделе — «Основные вехи биографии Луи Дюмона» — будет кратко охарактеризована его биография с 1911 г. по 1950-е гг., обозначены ключевые этапы жизненного пути. Во втором — «Четыре книги — одна идея» — будут проанализированы основные теоретические идеи об индивидуализме и холизме, а также равенстве и неравенстве. В завершающем разделе — «Критика и перспективы дюмоновской этнографии» — я представлю полемику сторонников и критиков ученого.

Вехи биографии Луи Дюмона

Перед тем как начать разговор непосредственно о важнейших жизненных вехах ученого, уместно будет бросить самый общий взгляд на его жизнь и итог работы. Британский антрополог Мэри Дуглас назвала его книгу «*Homo hierarchicus*» «первым серьезным структуралистским анализом конкретного общества»⁵. Для нее умение сочетать сложные теоретические построения и скрупулезную полевую работу — безусловная похвала. Главный современный критик Дюмона австралийский антрополог Марк Моско считал, что наиболее удачным развитием теорий ученого стала работа без преувеличения великого американского антрополога Маршала Салинса «Острова истории»⁶. Французский исследователь Жан Поль Энтвервен писал, что «за границей его ставят в один ряд с Леви-Строссом и Жоржем Дюмезилем»⁷. С другой стороны, сам Дюмон не считал себя наследником и продолжателем французского антрополога «номер один» (К. Леви-Стросса) и выводил тождественность их методов анализа из общего «моссовского» наследия. Главным же человеком, повлиявшим на него в ученом мире, он считал британца Э.Э. Эванса-Причарда⁸.

Дюмон родился 1 августа 1911 г.⁹ в городе Фессалоники, где прожил значительную часть жизни его отец, железнодорожный инженер, прокладывавший путь в Стамбул. Как почти любой этнограф, Дюмон выбрал профессию своей жизни в значительной степени благодаря случайности. Он учился в весьма престижной политехнической школе — Лицее Людовика Великого в парижском Латинском квартале — и должен был занять очень достойное положение в буржуазном обществе. Однако внезапно им овладело отвращение к ценностям этого мира, и он бросил учебу. Мать выгнала его из дома. Он сменил множество профессий, от страхового агента до корректора типографии, пока

³ Краснодембская 2001, 2004, 94–97.

⁴ См.: Bondarenko 2007, 2011, 2020.

⁵ Douglas 1975, 185.

⁶ Mosko 1992, 698.

⁷ Enthoven 1984, 29.

⁸ Robbins 1994, 25.

⁹ Дата рождения уточнена по: Краснодембская 2012, 481.

Жорж-Анри Ривьер не устроил его на работу в парижский Музей народных искусств и традиций на вспомогательную должность¹⁰.

Дюмон активно включился в работу и понял, что этнология и сохранение народной культуры — это его призвание. В 1938 г. он завершил школьное образование, при этом посещал лекции Марсея Мосса, где значительное место уделялось этнографии Индии и историческим индологическим исследованиям. В 1939 г. он поступил в Школу Лувра с намерением написать работу по элементам кельтской культуры в художественных ремеслах¹¹. Однако Вторая мировая война 1939–1945 гг. скорректировала эти планы: Дюмон провел 5 лет на принудительных сельскохозяйственных работах в пригороде Гамбурга. В свободное время он учил санскрит под руководством профессора Института индологии Вальтера Шубринга.

В 1945 г. он вернулся в Музей народных традиций и искусств, занимался редактированием «Ежемесячника французской этнографии», а летом собирал этнографический материал в Провансе. В 1951 г. на его основании он издал свою первую научную работу «Тараск: очерк местного события с этнографической точки зрения». Тараск — это мифическое животное, чучело которого, покрытое тряпками и перьями, провозят по улицам Тараскона во время ежегодных гуляний¹². В разделах «Ритуал» и «Легенда» автор подробно описал как сами практики обращения с чучелом, так и — гораздо более подробно — историю появления легенды и ее культурные корни, а в заключение представил общие рассуждения о легендах, посвященных драконам.

Параллельно с работой в музее Дюмон завершал свое индологическое образование, а в 1948 г. отправился в южную Индию для длительного полевого исследования. Два года — 1949-й и 1950-й — ученый провел в штате Тамилнад, работая с кастой прамалай каллар, занимающей сравнительно низкое положение в местной иерархии. По итогам поездки через семь лет он издал две важные монографии: «Одна из подкаст Южной Индии: социальная организация и религия прамалай каллар» и «Иерархия и брачные отношения в Южной Индии». В этих работах он использовал метод сочетания взглядов «изнутри» и «извне», который позволил более полно понять значение описываемых явлений в обществе¹³.

В 1951–1955 гг. Дюмон читал лекции для слушателей кафедры социальной антропологии Оксфордского университета. В это время он познакомился с британской традицией социальной антропологии, а также стал близким знакомым Э. Эванса-Причарда¹⁴. Именно в это время происходит трансформация его интересов: от этнографического изучения Индии он переключился на сравнительный анализ Индии и Запада, а позднее — модерности (преимущественно западной) и традиционных государств, хотя сам ученый использовал термины «идеологии» и «конфигурации», о чем будет сказано далее.

В 1955 г. продолжились полевые исследования Дюмона в Индии. На этот раз он отправился на север страны в одну из деревень Уттар-Прадеша, где провел в целом 15 месяцев, разорванные отъездами в Оксфорд и Париж для преподавания. Выбор севера Индии для второй поездки был неслучаен. Дюмон пытался найти общее в индийской культуре — то, что позднее будет названо им индийской идеологией. Неординарным для того времени было его сосредоточение внимания на Индии как на целом. Большинство ученых искали племена или обособленные островные группы, которые могли быть подвержены изучению антропологическими методами¹⁵.

¹⁰ *Toffin 1999*, 7.

¹¹ *Ibid*, 8.

¹² *Dumont 1951*, 162.

¹³ *Краснодембская 2001*, 7.

¹⁴ *Toffin 1999*, 8.

¹⁵ *Assayag 1998*, 168–169.

В 1955–1966 гг. он опубликовал серию работ, причем преимущественно на английском языке, о различных аспектах жизни индийцев¹⁶, а в 1967 г. в издательстве «Галлимар» вышла в свет его работа «*Homo Hierarchicus*. Описание системы каст», русский перевод которой был издан только в 2001 г.¹⁷ Именно в этой работе начинает формироваться новая «дюмоновская антропология», вдохновившая многих англоязычных авторов.

В 1960–1990-е гг. жизнь ученого отдана разработке теоретического подхода в социологии к крупным «целым», которые он называет по-разному.

Четыре книги — одна идея

Представляется правомерным изложить основные тезисы Дюмона о равенстве и неравенстве, не разделяя их на различные работы. Четыре главные работы ученого — «*Homo hierarchicus*» (1967), «*Homo aequalis I*» (1978), «Эссе об индивидуализме» (1983) и «*Homo aequalis II*» (1991) — описывают одну и ту же схему с использованием одних и тех же ключевых понятий. Первая книга, посвященная «человеку иерархическому» и системе каст, начинается с рассуждений о равенстве, европейском обществе и человеке общественном, а итогом книги оказывается схема, в которой тот самый «человек иерархический» занимает всего лишь половину пространства.

Более того, названия дальнейших книг были лишь поводами поразмышлять о различных аспектах этой единой схемы. Так, во второй книге, название которой с латыни и французского можно перевести как «Человек равный I. Генезис и расцвет экономической идеологии», читатель найдет очень мало сведений, касающихся непосредственно идей равенства. Во главе угла здесь будет находиться экономика как форма идеологии, а также появление того, кого Адам Смит и Джон Стюарт Милль называли «*Homo economicus*». Именно поэтому английский перевод этой книги вышел под заголовком «От Мандевиля к Марксу. Генезис и триумф экономической идеологии»¹⁸, не содержащим никаких отсылок к равенству. Рассуждения же о равенстве мы найдем в книге «Эссе об индивидуализме». Четвертая книга — «*Homo aequalis II*» — в англоязычном переводе вновь потеряет слово «равенство» в названии и выйдет под заголовком «Немецкая идеология. Из Франции в Германию и обратно»¹⁹.

Суммируя сказанное выше, четыре ключевые книги Дюмона — рассуждения на близкие темы, с опорой на общий теоретический фундамент. Хотя идеи в этих книгах артикулируются немного по-разному, тем не менее с полным правом можно охарактеризовать эти идеи в комплексе.

Основные понятия. Идеология

В своих книгах Дюмон оперирует несколькими понятиями. Начать следует с понятия «идеология». Под ним ученый понимал «систему идей и ценностей, имеющих хождение в данной социальной сфере». «Я именую современной идеологией систему идей и ценностей, характерных для современных обществ»²⁰, — отмечал он. Начать с этого понятия необходимо по двум причинам, каждая из которых принципиально важна для понимания его наследия.

Во-первых, идеология — это «система идей», т. е. не самих реальных отношений социальных структур, а принципов этих отношений, фундамента реальных отношений. Внимание акцентируется на том, как люди рассказывают о том, что они делают и что они «видят» в своих поступках, а не на том, что реально происходит. Более того, в

¹⁶ Dumont 1957(a), 1957(b), 1958.

¹⁷ Дюмон 2001.

¹⁸ Dumont 1977.

¹⁹ Dumont 1994.

²⁰ Дюмон 1997, 19.

рассказах и суждениях отдельных людей, по убеждению ученого, «говорит общество», а не индивид. Дюмон иллюстрирует это цитатой из К. Маркса: «То, что думает во мне, есть общество»²¹. Важная особенность идеологии заключается в том, что она представляет общие для всего общества особенности культуры, которые позволяют «ценить литературное наследие и “верхушечную” цивилизацию так же высоко, как и “народную” культуру»²². Таким образом, идеология — это то, что объединяет людей одной культуры и одного сложного социополитического организма. И в книге «*Homo aequalis I*» Дюмон прямо пишет о том, что «экономика — это идеология»²³.

Во-вторых, в идеологии для ученого интересны не элементы системы: индивид, общество, иерархия, та или иная ценность, — а отношения между ними. Как индивид, так и взаимозависимость и иерархия есть и в Индии, и на Западе. Дюмон писал: «Мы обнаружили в Индии индивида — вне мира, отвергающего общество»²⁴. Иными словами, хотя индивид есть и в индийском обществе, и в обществе европейском, этот элемент занимает совершенно разные позиции в системе идеологии. Более детальный анализ итоговой схемы обществ будет дан ниже; здесь же следует подчеркнуть, что Дюмон обращался не к отдельным элементам, а к целостностям; не к частностям *per se*, а к их отношениям, схемам их сборки и вариантам пересборки; не к общему как к единому или универсальному, а к различиям в рамках общего. Развивая эту идею в последних двух работах, ученый выдвинул понятие «конфигурация идеологии» — то, как идеология конструируется в трудах конкретного мыслителя, — а также выделил варианты идеологии, которые он связывал с национальными, культурными особенностями западных стран, разделяя французский, немецкий и английский варианты или «субкультуры в идеологии»²⁵.

Внимание к различиям, а не к универсалиям отличает подход Дюмона от марксистского универсализма, а также от релятивизма современных ему социальных антропологов. Для своего времени это, безусловно, был очень важный шаг в этнографическом/антропологическом анализе. Сторонниками анализа совокупности отношений, а не вырванных из контекста социальных фактов являются такие современные ученые, как М. Стратерн²⁶, М. Моско²⁷, Дж. Роббинс²⁸, Р. Сташ²⁹.

Индивидуализм / холизм

Следующие важные понятия — это индивидуализм и холизм. Индивидуализм и холизм суть высшие ценности идеологий. Индивидуализм — идеология, ставящая на первое место индивидуума, а холизм — целое, т.е. общество. Понятие «индивидуум» имеет два значения. Во-первых, это «*частное лицо*» как представитель отдельной группы, расы». Во-вторых, это «*индивид*» как существо, наделенное чувством нравственного (морального) и в силу этого в сущности не социальное»³⁰. Ученого, конечно, в первую очередь интересует индивидуум как «существо с чувством нравственного». Именно его, по мнению Дюмона, ставит во главу угла европейская идеология.

С этой точки зрения индивид становится равен обществу: «Индивид относится к обществу не как часть к целому, а как подобное к подобному»³¹. Такое тождество позволяет

²¹ Дюмон 2001, 128.

²² Там же, 27.

²³ Дюмон 2000, 183.

²⁴ Дюмон 2001, 257.

²⁵ Дюмон 2000, 24; 1997, 129, 147.

²⁶ Strathern 1988, 2020.

²⁷ Mosko 1992.

²⁸ Robbins 1994, 21–70.

²⁹ Stasch 2009.

³⁰ Дюмон 2000, 16–17.

³¹ Дюмон 2001, 34.

поставить интересы индивида выше интересов общества: «Он (индивид. — А. Т.) становится мерой всех вещей. <...> То, что еще называют “обществом”, становится средством, а жизнь каждого человека — целью»³². Общество же, в том виде, в котором его мыслит индивидуализм, «никогда нигде не существовало»³³, причем такой взгляд переносится и на общества холистские, иерархические.

Идея холизма для Дюмона наиболее полно и «незамутненно» воплощается в двух понятиях: иерархическом индийском обществе, а более конкретно — в «системе джаджмани», — и социологии или социологическом взгляде. Кроме того, в поздних работах он много пишет о смесях, гибридных формах индивидуалистической и холистической идеологии, причем поскольку речь идет о феноменах новейшей, т.е. относящейся к эпохе преобладания индивидуализма, истории, то наличие холистического подхода в них кажется более важным и удивительным. Это и Новый курс Ф.Д. Рузвельта, и социалистические идеи, и либеральная теория «естественной гармонии интересов» Г. Ч. Кери³⁴, и нацистская «воля народа» (нем. *Gesamtwille*)³⁵.

Первой иллюстрацией идеологии холизма в его работах можно назвать «систему джаджмани» — систему распределения труда и обязанностей в индийской деревне. Разбирая ее очень подробно, Дюмон настаивает на том, что она не является формой эксплуатации, где владельцы земли могут использовать не-владельцев, по своему усмотрению отчуждая результаты труда. «Система джаджмани» — это взаимозависимость, где «богатые зависят от бедных», «неравенство подразумевает гарантии», а функциональность «способствует социальной сплоченности»³⁶.

Иначе говоря, акцент делается на взаимозависимости, гарантиях, продолжительности отношений, а не на любой из форм реципрокности и баланса. Это различие существенное, и оно чрезвычайно важно для понимания как индийского общества, так и идеи холизма. Дюмон добавляет, что «экономический взгляд» здесь не имеет смысла, он только запутывает нас, отдаляет от понимания религиозного взгляда³⁷. В данном конкретном примере ученый вновь подчеркивает «различное», то, что нельзя свести к вариациям универсальных проявлений экономики.

Другим примером холизма, но теперь уже в науке и научных подходах, служит «социология»³⁸, «социальная антропология»³⁹ или «подход М. Мосса»⁴⁰. Моссовский подход Дюмон иллюстрирует ситуацией из жизни одного из своих друзей по университету, учеников Мосса: «Как-то, находясь на автобусной остановке, я вдруг заметил, что смотрю на своих попутчиков не так, как обычно; что-то изменилось в моем отношении к ним; дело было в том, с какой точки зрения я рассматривал себя по отношению к ним. Для меня больше не существовало “я и другие”; я был одним из них»⁴¹. Вновь здесь акцент сделан на отношениях, вновь перед нами целостность «один из них», вновь это не сумма двусторонних отношений пассажиров, а нечто большее.

Такой подход характерен для направления, которое на русском языке принято называть французской социологической школой, а также для ранних этапов немецкой социологической мысли. Социология XX в., по Дюмону, утрачивает такой подход и становится на позиции индивидуализма⁴². В противоположность ей такой подход сохраняется в

³² Там же, 33.

³³ Там же, 34.

³⁴ *Dumont 1991*, 22.

³⁵ *Дюмон 1997*, 156.

³⁶ *Дюмон 2001*, 128.

³⁷ Там же, 129.

³⁸ Там же, 29.

³⁹ *Дюмон 1997*, 10.

⁴⁰ *Дюмон 2001*, 31–32; *1997*, 10–11.

⁴¹ *Дюмон 2001*, 31.

⁴² Там же, 29.

социальной антропологии, которая, сталкиваясь с «инородными обществами», вынуждена сохранять идею целого. Это происходит даже несмотря на то, что англосаксонские антропологи имеют «явную склонность к индивидуализму и номинализму, обусловленную собственной культурой»⁴³.

Равенство / иерархия

Понятия «равенство» и «иерархия», несмотря на то что вынесены в заглавие трех из четырех ключевых работ Дюмона, с каждой новой книгой постепенно утрачивают важность. Если результатом первой книги — «*Homo hierarchicus*» — становится схема, где эти понятия являются центральными, то позднее автор прямо пишет, что за равенством стоит идея индивидуализма⁴⁴.

В первой из четырех книг иерархия-и-холизм выступают как сопутствующие характеристики одного типа общества, а индивидуализм-и-равенство — как характеристики другого. Таким образом, в первой работе Дюмон отталкивается от знания типа доксы в смысле Бурдьё: Восток — это деспотии, иерархия и несвобода, а Запад — свобода и равенство. Сам Дюмон, не критикуя общую схему, тем не менее уточняет идею о Западе: «Англия — это свобода почти без равенства, Америка в значительной степени унаследовала свободу и развила равенство. Французская революция совершена всецело под знаком равенства»⁴⁵.

Важно отметить, что Дюмон почти сразу начинает критиковать и модифицировать эту схему. Сам автор сразу отказывается от сопутствующих такому противопоставлению моральных оценок, согласно которым Восток (иерархия) — это неправильно, а Запад (равенство) — это хорошо. Дюмон считает иначе: «Неудивительно констатировать, что наши современники, переоценивая равенство, находят возможным противопоставлять ему только неравенство». Далее он предлагает свою оппозицию понятию «равенство» и переходит к идее иерархии, которая не является синонимом неравенства: «Принять ценность — значит установить иерархию в социальной жизни. Именно поэтому в социальной жизни необходимо достижение определенного консенсуса относительно ценностей через установление определенной иерархии людей и вещей»⁴⁶.

В работе «*Homo aequalis I*» автор более детально развивает идею о том, что прочной связи индивидуализма и равенства не существует. Буквально на первых страницах он пишет: «В Индии с ее радикальным утверждением иерархии мы видим предельную точку развития холистических обществ. Точно так же, согласно Токвилю, Франция времен Великой революции с характерной для той эпохи яркой акцентировкой равенства в ущерб свободе занимает диаметрально противоположное место по отношению к Англии и Соединенным Штатам как обществам индивидуалистического типа»⁴⁷. Здесь мы видим изменение предыдущего распределения обществ по степени внимания к равенству: если ранее Америка сближалась с Францией, то теперь объединяется с Великобританией. Эту фразу очень удобно представить по принципу «решетки» Мэри Дуглас⁴⁸, однако в несколько модифицированном виде. По оси X в данной прямоугольной системе координат будут расположены признаки холизм / индивидуализм (левая сторона — холизм, правая — индивидуализм. — А. Т.), а по оси Y — иерархия / равенство (нижняя часть — иерархия, верхняя часть — равенство. — А. Т.).

В ней важна не сама классификация обществ, а развернутое исправление первоначальной идеи устойчивого сочетания индивидуализма-и-равенства, с одной стороны, и

⁴³ Дюмон 1997, 10.

⁴⁴ Dumont 1991, 16.

⁴⁵ Дюмон 2001, 37.

⁴⁶ Там же, 43.

⁴⁷ Дюмон 2000, 13.

⁴⁸ Douglas 1970, 84.

иерархии–холизма — с другой. Вновь Дюмон призывает обратить наше внимание на отношения и сочетания элементов, а не на сами элементы. Ключевое понятие этой схемы — «конфигурации», а не «четыре типа». Эти две линии координат предполагают бесконечное множество точек, в которых тем или иным образом сочетаются четыре указанных понятия, но никак не четыре конкретные разновидности. Дюмон писал по меньшей мере о трех конфигурациях: английской, французской и немецкой⁴⁹. В книге «*Homo aequalis I*», впрочем, нет описания какой-либо конкретной конфигурации, хотя больше внимания уделяется английским мыслителям Дж. Локку, А. Смиту и Б. де Мандевилю. В последующих же книгах — «Эссе об индивидуализме» и «*Homo aequalis II*» — более подробно описывается немецкая конфигурация, идеи И. Г. Гердера, И. Г. Фихте, а также А. Гитлера.

Говоря о равенстве и иерархии, также важно отметить, что Дюмон по-разному видит противопоставление «равенство / иерархия» и «равенство / неравенство» и считает ошибочным отождествление неравенства и иерархии. Взаимным пересечениям и сопоставлениям понятий «класс», «каста», «сословие», «стратификация», «иерархия» посвящено приложение А в работе «*Homo hierarchicus*»⁵⁰. Очень четко эту идею выражает исследователь идей Дюмона С. Черкесов: «Нельзя путать, как очень часто делают, дюмоновскую идею иерархии уровней с простым неравенством. <...> Как раз неравенство имеет с равенством общую особенность, что основывается на одном виде практик: те, кто обладает необходимой особенностью [качеством], — равны, всё остальное — неравенство; в противоположность этому иерархия основывается на нескольких видах практик»⁵¹. Иными словами, иерархия — это не простое неравенство, но по-своему логичное и многофакторное ранжирование.

Завершая разговор о равенстве и иерархии, кратко охарактеризуем ключевые исторические идеи, связанные, по мнению Дюмона, с равенством. Анализ этих идей дается в работе «Эссе об индивидуализме», хотя представления о равенстве скорее сопутствуют развитию идеологии индивидуализма, на которой сосредоточено основное внимание книги. Первым этапом развития идей о равенстве и индивидууме являются идеи раннего христианства об «индивидууме-в-отношении-к-Богу»: «То, чего полностью не достигла ни одна индийская религия и что с самого начала заключено в христианстве, составляет как раз братство любви во Христе и через Христа и обусловленное этим обстоятельством равенство»⁵². Важно отметить, что это представление существует первоначально лишь как идея, возможно, как особое внутреннее чувство.

Затем во времена протестантизма и М. Лютера происходит выход идеи равенства за пределы церковной, религиозной сферы. Она становится принципом социальной организации, но пока в рамках протестантских церковных общин. Дюмон пишет: «<...> все верующие обладают равным авторитетом в духовной сфере; равным достоинством облакается каждый человек, будь он священник или крестьянин; иерархическая доктрина Церкви — это всего лишь инструмент власти в руках Папы». Итак, «равенство — впервые — проявляется здесь как нечто большее, чем внутреннее свойство, [становясь] (вставка в квадратных скобках в тексте книги. — А. Т.) императивом существования»⁵³. Иначе говоря, из «внутреннего свойства» и «идеи» равенство превращается в социальный принцип, «императив существования».

Равенство вступает на политическую арену отдельно от религии во время Английской революции 1640–1660-х гг. в идеях левеллеров, однако по-прежнему находится в положении дополнения к индивидуализму. От идеи, что все христиане рождаются

⁴⁹ Дюмон 1991, 23.

⁵⁰ Дюмон 2001, 265–283.

⁵¹ Tcherkézoff 1993, 146.

⁵² Дюмон 1997, 44.

⁵³ Там же, 100.

равными, они переходят к идее, что все англичане рождаются равными, а затем — что все люди рождаются равными и, следовательно, должны иметь равные политические права, в первую очередь право голоса. Однако избирательное право, равное с другими, могут иметь только люди, не подчиняющиеся никому: «Левеллеры предлагали значительно расширить право голоса упразднением избирательного ценза, но отказывали в этом праве слугам, наемным работникам и нищим на том основании, что эти люди не были фактически свободными в осуществлении своего права, так как зависели от тех, кому они не могли противиться»⁵⁴.

Наконец, ключевые события связаны с Французской революцией 1789 г. Дюмон отмечает, что первоначально идея равенства имела второстепенную роль по сравнению с индивидуализмом, но впоследствии, когда либералы уступили свое место радикальным якобинцам, равенство прочно утвердилось рядом со свободой. Он пишет: «Декларация 1789 г. пока близка к американским *Биллям*, равенство здесь направлено (статья первая) против наследственных “общественных различий”, но оно не значит среди основополагающих прав. Во всех последующих Декларациях равенство занимает среди прочих прав место рядом со свободой»⁵⁵.

Иными словами, прочное закрепление равенства среди идеалов революции — в значительной степени историческая случайность, связанная с деятельностью якобинцев Ж. П. Марата и Г. Бабёфа, а не закономерность, предопределенная предшествующим историческим развитием. Закономерным результатом развития идеологии, с точки зрения Дюмона, можно считать американскую конфигурацию идеологии, где равенству сразу уделялась второстепенная роль по сравнению со свободой. Вместе с тем после краха революционного движения и последовавшей реакции отдельные идеи, связанные с холизмом и равенством, нашли отражение во французском социализме и французской школе социологии⁵⁶.

Безусловно, такая «пунктирная» история равенства не является исчерпывающей, однако, по мнению Дюмона, ключевые этапы развития идеи здесь отмечены. Также достойной дальнейшего изучения представляется мысль о равенстве в эпоху Французской революции и ее важности в трудах именно французских мыслителей XIX в. Впрочем, можно согласиться с выводом одного из критиков Дюмона, американской исследовательницы Паулины Коленды, что «в своих работах, следующих за Н[омо] Н[ierarchicus], он (Дюмон. — А. Т.) был больше занят холистским в противоположность индивидуальному и религией в противоположность политэкономии, но мало уделял внимания иерархии в противоположность равенству»⁵⁷.

Сводная схема идеологий состоит из двух частей: слева — Номо мајор, справа — Номо мiног. «Великий человек» обозначает холистский подход, коллективного субъекта, общность людей как нечто целое, обладающее интересами, не сводимыми к интересам отдельных индивидов. «Малый человек» — это индивидуум, человек индивидуальный, где общество — только совокупность отдельных людей, а потому может «воображаться», «конструироваться», но всегда вторично по отношению к индивидууму. В схеме 1 на рисунке 1 левая часть, или Номо мајор, обозначает индийское общество, а Номо мiног — западное общество. Малые прямоугольники внутри более крупных — это идеологии, системы идей и ценностей. Во главе «индийской идеологии» стоит понятие «иерархия», а во главе «западной» — «равенство».

Здесь необходимо сделать еще одно дополнение. Названия «Индия», «Восток», «традиция», с одной стороны, и «Запад», «модерность» — с другой, для общественных дискуссий 1930-х гг., которые оказали внимание на формирование Дюмона, воспринимались

⁵⁴ Там же, 102.

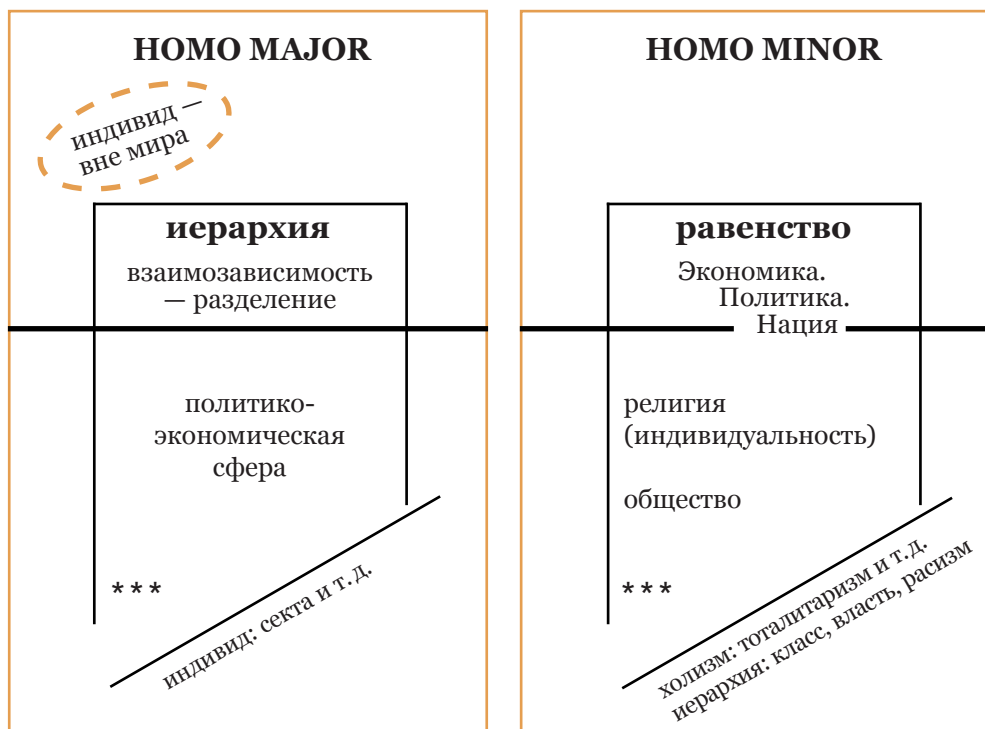
⁵⁵ Там же, 120.

⁵⁶ Там же, 128.

⁵⁷ Kolenda 1976, 593.

как синонимы⁵⁸. Даже для критиков Дюмона 1970-х гг.⁵⁹ эти «синонимы» не вызывали такого неприятия, как в настоящее время. В нашу задачу не входит критический разбор этих соотношений понятий, однако отмечу, что ныне возможность поставить между ними знак равенства кажется намного более призрачной.

Схема 1. Сводная схема идеологий (Дюмон 2001, 256)



Прямоугольники (и большие, и малые) разделены горизонтальной чертой, которую ученый понимает как «порог сознания». То, что расположено ниже ее, воспринимается как второстепенное, дополнительное или «адъектив», по терминологии самого Дюмона. То, что расположено сверху, — «субстантив», основное, важнейшее⁶⁰. Ключевым понятием для индийского мировоззрения является идея взаимозависимости, воплощенная в «системе джаджмани». Для «западной идеологии» ключевым станет идея равенства, а также ее политические и экономические воплощения: политика и политические свободы, экономика и экономические свободы, а также нация, «коллективный политический индивид», предельный уровень юридического действия прав и свобод. В нижней части схемы в индийской идеологии окажется политико-экономическая сфера, а в «западной идеологии» — религия (индивидуальность), возможный, но не обязательный элемент, и общество, представляющее, как было сказано выше, совокупность отдельных индивидуумов, являющееся следствием, а не ключевой ценностью.

Важно отметить две закономерности этой схемы, разговор о которых был начат выше. Во-первых, обе части схемы, две идеологии, которые противопоставлялись в первой части введения к «Номо hierarchicus I», включают в себя одинаковые элементы. Так, и в левой, и в правой частях мы находим индивида. В правой он является синонимом равенства, ключевым понятием для христианской религии. Во всех книгах о равенстве и неравенстве, кроме первой, Дюмон переименовывает ключевую категорию «западного общества» в индивидуализм, а сам тип общества — в «модерновое общество» (фр. *société*

⁵⁸ Assayag 1998, 178.

⁵⁹ См., например: Kolenda 1976.

⁶⁰ Дюмон 2001, 256.

moderne. — А. Т.). В левой части схемы (индийское общество. — А. Т.) индивид существует «вне мира», вне прямоугольника идеологии, — это отшельники. С другой стороны, в этой же левой части индивид присутствует как контркультура — в качестве основы сектантских объединений, игнорирующих целостность общества и «систему варн».

То же самое можно сказать о холизме. В левой части он скрывается за словом «иерархия». По словам Н. Г. Краснодембской, «иерархическое общество представляется ему более гармоничным»⁶¹. В правой части холизм присутствует в виде альтернатив политического развития — тоталитаризма. Во всех книгах, кроме первой, тоталитаризм называется нацизмом, а советский режим четко отделяется от него⁶². Кроме того, общность интересов, единство воли представлено в таких маргинальных для официального дискурса понятиях, как марксовский «класс», гитлеровская «раса», а также в понятии «власть» как противоположности «демократии». Пожалуй, сюда можно добавить не вошедшие в схему, но упоминавшиеся в других текстах социалистические «кооперативы», аналоги «системы джаджмани»⁶³, «Партию» (в этом случае для Дюмона КПСС и НСДАП — схожие формы. — А. Т.)⁶⁴ и даже «общину» (преимущественно русскую поземельную общину, поскольку во французском тексте она называется «l'obchtchina». — А. Т.)⁶⁵.

Важно не наличие / отсутствие в схеме уникальных элементов, характерных культурных черт, того, что по-английски называется понятием «concomitant» (букв. «сопутствующее», «сопровождающий феномен». — А. Т.), а отношения этих элементов, их место в иерархии ценностей. И в первой, и во второй идеологиях есть место индивиду. В обоих случаях есть место общностям и общим интересам. Однако в разных схемах они занимают либо центральное, либо маргинальное положение, что и определяет идеологию в целом.

Критика и перспективы дюмоновской этнографии

В отношении наследия великого французского ученого нет единства: часть исследователей, преимущественно антропологи, подвергают его идеи критике; другая часть, напротив, вдохновляются ими. Эта тенденция очень хорошо видна на примере двух критиков и толкователей Дюмона в англоязычной среде: австралийского антрополога Марка Моско и американского — Паулины Коленды. Так, Моско пишет, что у Дюмона черпали идеи Кеннелм Барридж⁶⁶, Шерри Ортнер⁶⁷, Маршал Салинс⁶⁸, Валерио Валери⁶⁹, а также он сам⁷⁰. Иными словами, Моско, с одной стороны, критикует идеи Дюмона, но с другой — использует их и признает, что вдохновлялся ими. Это вновь подтверждает неоднозначность как идей Дюмона, так и того, что в них становится объектом критики.

Моско выделил две основные линии критики идей Дюмона⁷¹: первая относится непосредственно к его индийским построениям⁷², а вторая — к возможности применения его теории за пределами Индии и Запада⁷³. Остановимся на работах Коленды и Моско, посвященных критике идей Дюмона, что предполагает наиболее близкое знакомство с его работами.

⁶¹ Краснодембская 2004, 96.

⁶² Дюмон 1997, 149.

⁶³ Дюмон 2001, 130.

⁶⁴ Дюмон 1997, 149.

⁶⁵ Dumont 1991, 22.

⁶⁶ Burridge 1979.

⁶⁷ Ortner 1981.

⁶⁸ Sahlins 1985.

⁶⁹ Valeri 1985.

⁷⁰ Mosko 1992.

⁷¹ Mosko 1994, 20.

⁷² Bailey 1959; Kolenda 1976; Quigley 1988.

⁷³ Mosko 1994.

Специалист по антропологии Южной Азии, Коленда ставит задачу выявить различные понимания иерархии в работе Дюмона, надеясь, что это поможет понять «сложную для чтения книгу». Она выделяет семь различных вариантов использования слова «иерархия», которые включают как «ранжирование варн», так и «отшельничество как кульминацию иерархии», причем последнему Коленда не дает ни объяснения, ни оценки. Общие выводы, к которым она приходит, следующие. Во-первых, «Дюмон не изучил идеологии живых индусов», а основывался на общеиндуистских текстах. Во-вторых, указывалось на необходимость продолжать изучение «вопроса интеграции индуистского общества, руководствуясь как опытом Дюмона, так и дальнейшим изучением социального контроля в рамках теории интеграции»⁷⁴.

Такая позиция, к сожалению, не приближает нас к пониманию анализируемых идей, а скорее подчеркивает различия между англоязычной и франкоязычной школами в антропологии. Собственно, это различие Коленда обозначает в первом абзаце статьи. Она констатирует, что идея разобраться в том, что такое «иерархия» у Дюмона, исходит из наличия «нестыковок между дюмоновской моделью индийской кастовой системы и моделью антропологов, получивших образование в Америке»⁷⁵. Кроме того, проблему соотношения «общего и частного» или «группового и коллективного» Дюмон видит через взаимоотношения понятий «холизм / индивидуализм», которые он подробно объяснял в «Эссе об индивидуализме». Ученый специально оговаривает, что для него принципиально движение от общественного, от общей идеологии к личному и частному, что он называет «подход Мосса», а не наоборот. Коленда, как американский антрополог, настаивает на необходимости идти от конкретных людей и их идей к общей идеологии. Иными словами, мы можем констатировать, что речь идет не столько о критике самих идей Дюмона, сколько о критике французского подхода к антропологии вообще.

Очень схожей является критика идей Дюмона австралийским антропологом Моско. Примечательно, что он не критикует идеи самого Дюмона и книги исследователя, а выбирает в качестве объекта критики книгу Валерио Валери «Царство и жертвоприношение: ритуал и общество на Древних Гавайях»⁷⁶, которая основывается на дюмоновских идеях. Моско выделяет семь ключевых, продюмоновских идей Валери: «1) “маргинальная роль” женщин по отношению к мужчинам в системе жертвоприношений по сравнению с 2) “равенством” мужчин и женщин в генеалогической системе; 3) “только мужчинам разрешено совершать жертвоприношения, что есть прямое и очевидное осознание божественных типов”; 4) что мужчины являются “активными”, а женщины — “пассивными” участниками системы жертвоприношений; 5) что соответствующие “божественные типы”, даже если рассматривать только систему жертвоприношений, представлены исключительно богами (т.е. “все люди, независимо от пола, происходят от богов”); 6) при половом, но не жертвенном репродукции гендеры соединяются; и 7) участие женщин в родах обозначает передачу крови детям». Моско отмечает, что все эти пункты должны отражать «всеохватывающее превосходство мужчин»⁷⁷. По мнению Моско, отрыв системы жертвоприношений от контекста родства бессмысленен: «По существу менее чем оправданно отделять систему жертвоприношений, которую Валери поместил на высший дюмоновский “уровень” в качестве “действительно всеохватывающего и объединяющего элемента”, от генеалогической системы. Когда же обе системы или, даже скорее, контексты, а не только один из них, пристально анализируются вместе, мы находим на Гавайях единую систему, состоящую из двойных и обратимых асимметрий или иерархий»⁷⁸.

⁷⁴ Kolenda 1976, 596.

⁷⁵ Ibid, 581.

⁷⁶ Valeri 1985.

⁷⁷ Mosko 1994.

⁷⁸ Ibid, 75.

Вновь, как и в случае с Колендой, основным недостатком — теперь уже Валерио Валери как последователя Дюмона — видится слабая вписанность его построений в повседневные и реальные практики, оторванность «системы жертвоприношений» от других видов практик, конкретно отношений родства. При этом вывод Моско о «существовании единой системы обратимых иерархий» фактически подтверждает идею Дюмона о принципе холизма, т.е. единства всех практик и обратимости одних в другие. Вновь объектом критики становится скорее принцип движения от главного к частностям (у Валерио), которому противопоставляется принцип от множественности частного к общему (у Моско).

Интересно отметить другой подход Моско к критике идей Дюмона, который он предложил в более ранней статье. В ней он рассматривает эти идеи не с инструментальной позиции, т.е. применимости к решению конкретных вопросов в рамках полевого исследования или анализа материала, а с точки зрения того, насколько они отвечают глобальным проблемам, стоящим перед антропологической наукой. Более того, он проводит параллели с построениями другого влиятельного мыслителя-антрополога, кембриджского профессора Мэрилин Стратерн. Он пишет: «Хотя они оба разделяют острый скептицизм в отношении западного понятия “индивидуум”, Стратерн — в отличие от Дюмона — также отвергает ортодоксальный антропологический конструкт “общества” как форму объективации [внутренних ощущений]. Оба автора стремились решить одну и ту же проблему — этноцентризма и социцентризма, связанных с понятием унитарного “индивида”, — но как бы [двигаясь] в противоположных направлениях. Там, где Дюмон холистически охватывал “личность” или сливал множество таких “личностей” в социальную целостность, Стратерн разделяет каждого “человека” на его или ее составные и отделяемые части и отношения»⁷⁹.

В этой цитате важно подчеркнуть, во-первых, что Дюмон и Стратерн были заняты решением одних и тех же проблем высокого теоретического уровня: вопросов о применимости понятия «индивидуум» и «общество» к не-западным группам. Иначе говоря, ученый смотрел в ту же сторону, что и величайшие антропологи. Фактически это означает признание идей Дюмона в качестве важных для антропологической мысли и адекватных вызовам того времени. Но и, во-вторых, вновь Дюмон идет «путем Мосса», т.е. в противоположную сторону от британской традиции, решая проблему с опорой на общее — в качестве которого он видит не культуру и не общество, а идеологию как систему разделяемых людьми идей. М. Стратерн же движется путем британской школы — от частного, предлагая еще более дробное деление «индивидуума» и представление его как «разделяемого человека» (англ. *partible person*), как составного продукта множественных двусторонних отношений.

В остальной части статьи Моско ставит и решает следующую проблему: что является основой агентности и выдающегося характера человека? То, что он возвышается и «охватывает» других людей, или же что он, напротив, остается на одном уровне и отделяет части себя, приобретая через «неполноту», «недостроенность» возможность действовать и совершать великие дела? Моско на примере австронезийского народа мекео, проживающего на юго-востоке Папуа — Новой Гвинеи, однозначно демонстрирует, что второй вариант ближе к «эмным» объяснениям местных жителей. Вместе с тем его линия рассуждения такова: для папуасов центральных нагорий характерна идея «разделяемого человека», что продемонстрировала Стратерн. Если для мекео, которые являются австронезийцами, т.е. в культурном и языковом плане близки к полинезийцам и микронезийцам, также характерны представления о разделяемости человека и неполноте как причине агентности, то, может быть, такие же представления характерны и для полинезийцев? Возможно предположить, что идея вождя, охватывающего все племя, — это «навязанный европейский конструкт», объективирующий европейское же понятие «общества».

⁷⁹ Mosko 1992, 698.

Примечательно, что в деталях Моско очень близок к некоторым дюмоновским идеям. Так, он пишет, что каждый человек мекео тождественен обществу: «Поскольку в ребенке есть кровь обеих половин общества (мать и отец происходят из двух экзогамных половин), то ребенок включает в себя общество в целом»⁸⁰. Иными словами, идеи Дюмона и Моско весьма схожи, они рассматривают очень близкие проблемы, но опираясь на принципиально разные основания.

Так возможна ли «дюмоновская антропология»? Примеров этнографических работ, основанных на дюмоновской традиции, также достаточно. Помимо приведенных выше авторов, которые строили свои теоретические положения на дюмоновском подходе к индивидуализму и холизму в XX в., есть немало авторов, которые продолжают делать это в XXI в.: это Андре Итенау⁸¹, Брюс Кэпферер⁸², Джоэл Роббинс⁸³, Тимо Каллинен⁸⁴. Пожалуй, наиболее последовательным сторонником идей Дюмона среди современных антропологов является Джоэл Роббинс. Ниже представлен взгляд на то, как «дюмоновская этнография» может дать положительный импульс для современной теории антропологической науки.

Вышедшая в 2015 г. статья Роббинса⁸⁵ является частью дискуссии о том, привнесло ли христианство, преимущественно протестантского толка, идею индивидуализма (или ценности индивидуализма) в меланезийские сообщества. Главным противником исследователя становится М. Моско, который выступил с критикой этой идеи. Согласно его взглядам, христианство не привносит индивидуализм в жизнь меланезийских обществ, оно встраивается в концепции «дивидуума», персоны, которая отделяет от себя части, чтобы передать другим людям, конструируя их и конструируя себя как персон из частей (англ. *partible persons*). Многие христианские идеи имеют элементы дробимости (англ. *partibility*). Пасторы воспринимались как люди, которые передают частички божественного слова людям, ходящим в церковь. А те, в свою очередь, отдают «искренние молитвы», которые являются «большим подарком», важным для души»⁸⁶.

Ключевой для Роббинса является идея сложности отношений в обществе: не может быть исключительно индивидуалистических обществ и исключительно холистических. «Динамизм», вынесенный в заглавие статьи, — это способность относительно статичной ценности создавать новые практики и институты, оставаясь относительно стабильной. Он пишет: «Фокусируясь на динамизме как способе, благодаря которому относительно стабильные модели действий в обществе могут регулярно производить активное включение (охватывание) ценностей более низкого ранга ценностью более высокого ранга»⁸⁷. Иначе говоря, заново привнесенная ценность не меняет раз и навсегда социальные отношения, они в значительной степени могут оставаться прежними, но начинается работа по созданию новых форм повседневности, практик, обычаев.

На примере папуасской группы юрапмин, проживающей недалеко от г. Ванимо, в западной части Папуа — Новой Гвинеи, Роббинс демонстрирует наличие двух ценностей, которые могут входить в противоречие друг с другом. Он пишет, что христианство однозначно привносит индивидуализм, поскольку для юрапмин характерны такие высказывания: «Моя жена не может отколоть часть своей веры и передать ее мне». Другой важной идеей, связанной с христианством, является идея второго пришествия и спасения праведников. Юрапмин очень часто рассуждают о предполагаемых случаях, «если

⁸⁰ Ibid, 702.

⁸¹ Itenau 2005.

⁸² Kapferer 2010.

⁸³ Robbins 2013, 2014.

⁸⁴ Kallinen 2014.

⁸⁵ Robbins 2015.

⁸⁶ Mosko 2010, 224.

⁸⁷ Robbins 2015, 174.

Иисус возьмет на небо всю мою семью, но не возьмет меня»⁸⁸. Перед нами однозначные примеры индивидуалистских размышлений и событий, в которых индивидуальное спасение, индивидуальная вера играют решающую роль.

Другой важнейшей ценностью для юрапмин Роббинс называет «реляциональность» (англ. relationality), приверженность отношениям (родственным, дружеским, коллективистским и др.). Вся повседневная жизнь юрапмин основывается на желании создать коллективы и отношения с другими людьми⁸⁹. Создание и использование отношений — это важнейшее в повседневной жизни этой группы. Вместе с тем отношения порождают зависть, ссоры и гнев и в итоге приводят к грехам. Соответственно, они входят в противоречие с ценностью спасения, которое является индивидуальным, а не групповым. И здесь начинает работать дюмоновское понятие «включения» или «охватывания» (англ. encompassment): что окажется для юрапмин высшей ценностью — индивидуализм или реляциональность? Роббинс приходит к выводу, что индивидуализм христианского спасения оказывается важнее «реляциональности» повседневной жизни.

Итоговую мысль он формулирует следующим образом: «Я предположил, что те, кто утверждает, что христианство не продвигает индивидуализм, часто путают наличие отношений или реляционных ценностей в данной социальной среде с отсутствием индивидуализма. Вопрос не в том, присутствуют ли реляционные или холистические ценности — следуя Дюмону, мы должны признать, что фактически они всегда будут присутствовать в любой социальной формации, — а скорее в том, имеют ли они тенденцию организовывать большинство социальных сфер или по крайней мере наиболее важные из них»⁹⁰.

На мой взгляд, подход Роббинса, хотя предполагает чуть более отстраненную перспективу, чем построения Моско, тем не менее представляет более полное и разностороннее описание общества, построенного вокруг нескольких, часто противоречащих, соперничающих идей. Мысль Дюмона, что индивидуализм в принципе не может быть до конца воплощен ни в одном обществе, поскольку любая группа принципиально холистична, т. е. предполагает, что ее члены по меньшей мере имеют представление о своей группе, — чрезвычайно важный тезис в современных дискуссиях о конструировании обществ и придумывании традиций.

Выводы

Анализ взглядов Дюмона, а также дискуссии его последователей с критиками его идей приводят к мысли об углублении пропасти между двумя направлениями в исследовании общества — между сторонниками «индивидоцентричного подхода», или «индивидуалистического», по терминологии Дюмона, и «социоцентричного подхода». Сторонники первого подхода перформативно отрицают наличие объединений, рассматривают их как вторичные реалии, созданные индивидуумом. Сторонники «социоцентричного подхода», по Дюмону — «холистического», или последователи «школы Мосса», как показывает последняя дискуссия, не ставят во главу угла «общество», а лишь указывают на возможность его существования, а не только индивидуумов. В их построениях есть место и индивидууму, и «дивидууму», и «реляциональности», и обществу (и можно прибавить, если брать реалии российской науки, еще и этносу, и нации). Идеи Дюмона с этой точки зрения чрезвычайно важны, поскольку он уже в 1960-е гг. обратил внимание на «целостность» как объект исследования.

Именно из наличия «целого» вытекает ключевое понятие Дюмона — идеология. Она не охватывает всю культуру, не охватывает все социальные институты и практики, а

⁸⁸ Ibid, 183.

⁸⁹ Ibid, 184.

⁹⁰ Ibid, 189.

лишь является теми общими идеями, которые позволяют группе осознавать свою целостность. Именно «общность» идеологии, по Дюмону, есть ее ключевое отличие от культуры или мировоззрения, ее квинтэссенция.

Взгляды Дюмона на равенство / иерархию, индивидуализм и холизм не отличаются стабильностью. Они в значительной степени претерпевают изменения в его четырех теоретических работах. Равенство, вынесенное в заглавие двух книг, постепенно совсем перестает его интересовать, а индивидуализм, напротив, постепенно занимает более важное место. Пожалуй, наиболее разработанными понятиями оказываются «индивидуализм» и «холизм», которые ложатся в основу анализа любого общества, как у самого Дюмона, так и у его последователей.

Несмотря на противопоставление «школы Мосса» и соответственно «дюмоновской этнографии», «англоязычной антропологии», они развиваются параллельно, отвечая на одни и те же вопросы, замечая одни и те же проблемы. Это особенно отчетливо проявляется в дискуссиях сторонников Дюмона (Роббинс, Итеану) и сторонников «новой меланезийской этнографии» (Моско, Стратерн): у них всех в центре оказывается европейский концепт «индивидуума», но изучается и критикуется он по-разному.

В целом можно сказать, что идеи Дюмона имеют огромный потенциал. Именно поэтому величайшие антропологи второй половины XX в. — Э.Э.Эванс-Причард, М.Дуглас, М.Салинс, Д.Шнайдер — внимательно относились к его работам. Безусловно, его теоретические построения слишком сильно отличаются от мейнстрима англоязычной науки, что порождает дискуссии уже почти 30 лет.

В заключение хотелось бы отметить, что работы Дюмона о Европе или том, что он позднее определил как «европейскую модерность», построены по схожей схеме с работами К.Поланьи⁹¹, М.Фуко⁹², Д.Гребера⁹³, а также, например, А.В.Головнева в России⁹⁴. Это историческое повествование, в котором формируется новый дискурс, даются новые оценки событий и с помощью этого происходит «разнакамливание» с «западной культурой». Наверное, это если не единственный, то один из самых эффективных способов обратить «этнографический взгляд» на нас самих, понять и «пересобрать» наше общество.

ЗАЯВЛЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Исследование выполнено в рамках грантового проекта РФФИ № 19-09-00126 «Личность и коллектив в провинциальной России: трансформации культуры и исторической памяти».

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

Головнев, А.В. Антропология движения (древности Северной Евразии). Екатеринбург: УРО РАН; Волот, 2009. 496 с.

Гребер Д. Долг: первые 5000 лет истории / пер. с англ. А.Дунаева. М.: Ad Marginem, 2015. 528 с.

⁹¹ Поланьи, 2002.

⁹² Фуко 2005.

⁹³ Гребер, 2015.

⁹⁴ Головнев, 2009.

- Дюмон, Л. Эссе об индивидуализме / пер. с фр. А. Д. Гарькавого. Дубна: Изд. центр «Феникс», 1997. 304 с.
- Дюмон, Л. Homo Aequalis I. Генезис и расцвет экономической идеологии / пер. с фр. М.: Nota bene, 2000. 239 с.
- Дюмон, Л. Homo hierarchicus. Опыт описания системы каст / пер. с фр. СПб.: Изд. группа «Евразия», 2001. 480 с.
- Краснодембская, Н. Г. Дюмон Луи // Большая российская энциклопедия. В 35 т. Т. 9. Динамика атмосферы — Железнодорожный узел гл. ред. Ю. С. Осипов. М.: Больш. рос. энцикл., 2012. С. 481.
- Краснодембская, Н. Г. Луи Дюмон: кто он по специальности? // Музейные коллекции и научные исследования: материалы годичной научной сессии МАЭ РАН 2000 г.: сборник МАЭ / отв. ред. Ю. К. Чистов. Т. 49. СПб.: МАЭ РАН, 2004. С. 94–97.
- Краснодембская, Н. Г. Предисловие к русскому изданию // Дюмон Л. Homo hierarchicus. Опыт описания системы каст / пер. с фр. СПб.: «Евразия», 2001. С. 5–16.
- Поланьи, К. Великая трансформация. Политические и экономические истоки нашего времени / пер. с англ. А. А. Васильева, С. Е. Федорова и А. П. Шурбелева; под общ. ред. С. Е. Федорова. СПб.: Алетейя, 2002. 320 с.
- Фуко, М. Нужно защищать общество: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1975–1976 учебном году / пер. с фр. Е. А. Самарской. СПб.: «Наука», 2005. 312 с.
- Assayag, J. La construction de l'objet en anthropologie. L'indianisme et le comparatisme de Louis Dumont // L'Homme. 1998. Vol. 38, no. 146. P. 165–189.
- Bailey, F. G. For a Sociology of India? // Contributions to Indian Sociology. 1959. No. 3. P. 88–101.
- Bondarenko, D. M. Homoarchy as a Principle of Sociopolitical Organization. An Introduction // Anthropos. 2007. No. 1 (102). P. 187–199.
- Bondarenko, D. M. Social Institutions and Basic Principles of Societal Organization // The Evolution of Social Institutions / eds. Dmitri M. Bondarenko, Stephen A. Kowalewski, David B. Small. Cham: Springer, 2020. P. 51–78.
- Bondarenko, D. M. The Second Axial Age and Metamorphoses of Religious Consciousness in the Christian World // Journal of Globalization Studies. 2011. No. 1 (2). P. 113–136.
- Burridge, K. Someone, No One: Essays on Individuality. Princeton: Princeton University Press, 1979. 270 p.
- Douglas, M. Implicit Meanings: Essays in Anthropology. London: Routledge and Kegan Paul, 1975. 322 p.
- Douglas, M. Natural symbols. London: Barrie & Rockliff, 1970. 218 p.
- Dumont, L. A. M. Hocart on Caste, Religion and Power // Contributions to Indian Sociology. 1958. Vol. II. P. 45–63.
- Dumont, L. From Mandeville to Marx: The Genesis and Triumph of Economic Ideology. London; Chicago: University of Chicago Press, 1977. 236 p.
- Dumont, L. German Ideology: From France to Germany and Back. Chicago: University of Chicago Press, 1994. 250 p.
- Dumont, L. Homo aequalis II. L'idéologie allemande. France-Allemagne et retour. Paris: Gallimard, 1991. 312 p.
- Dumont, L. La Tarasque. Essai de description d'un fait local d'un point de vue ethnographique. Paris: Gallimard, 1951. 252 p.
- Dumont, L. Une sous-caste de l'Inde du Sud: organisation sociale et religion des Pramalai Kallar. The Hague; Paris: Mouton, 1957. 460 p.
- Dumont, L. Villages Studies // Contributions to Indian Sociology. 1957. Vol. I. P. 23–41.
- Enthoven, J.-P. Dumont, L'intouchable // Revue Européenne Des Sciences Sociales. 1984. Vol. 22, no. 68. P. 29–33.

- Itenau, A.* Partial Discontinuity: The Mark of Ritual // *Ritual in Its Own Right: Exploring the Dynamics of Transformation* / ed. by D. Handelman, G. Lindquist. New York: Berghahn, 2005. P. 98–115.
- Kallinen, T.* Christianity, Fetishism, and the Development of Secular Politics in Ghana: A Dumontian Approach // *Anthropological Theory*. 2014. Vol. 14, no. 2. P. 153–168.
- Kapferer, B.* Louis Dumont and a Holist Anthropology // *Experiments in Holism: Theory and Practice in Contemporary Anthropology* / ed. by T. Otto, N. Bubandt. Oxford: Wiley-Blackwell, 2010. P. 187–208.
- Kolenda, P.* Seven Kinds of Hierarchy in Homo Hierarchicus // *Journal of Asian Studies*. 1976. No. 4. P. 581–596.
- Mosko, M.* Motherless Sons: «Divine Heroes» and «Partible Persons» in Melanesia and Polynesia // *Man*. 1992. No. 27. P. 697–717.
- Mosko, M.* Partible Penitents: Dividual Personhood and Christian Practice in Melanesia and the West // *Journal of the Royal Anthropological Institute*. 2010. No. 2 (16). P. 215–240.
- Mosko, M.* Transformations of Dumont: The Hierarchical, the Sacred, and the Profane in India and Ancient Hawaii // *Transformations of Hierarchy. Structure, History and Horizon in the Austronesian World*. Reading: Harwood Academic Publishers, 1994. P. 19–86.
- Ortner, S. B.* Gender and Sexuality in Hierarchical Societies: The Case of Polynesia and Some Comparative Implications // *Sexual Meanings: The Cultural Construction of Gender and Sexuality* / ed. by S. B. Ortner, H. Whitehead. Cambridge: Cambridge University Press, 1981. P. 359–409.
- Quigley, D.* Is Caste a Pure Figment, the Invention of Orientalists for their Own Glorification? // *Cambridge Anthropology*. 1988. No. 13. P. 20–36.
- Robbins, J.* Dumont's Hierarchical Dynamism: Christianity and Individualism Revisited // *HAU: Journal of Ethnographic Theory*. 2015. Vol. 5, no. 1. P. 173–195.
- Robbins, J.* Equality as a Value: Ideology in Dumont, Melanesia and the West // *Social Analysis: The International Journal of Social and Cultural Practice*. 1994. No. 1 (36). P. 21–70.
- Robbins, J.* Monism, Pluralism, and the Structure of Value Relations: A Dumontian Contribution to the Contemporary Study of Value // *HAU: Journal of Ethnographic Theory*. 2013. Vol. 3, no. 1. P. 99–115.
- Robbins, J.* The Anthropology of Christianity: Unity, Diversity, New Directions (an Introduction) // *Current Anthropology*. 2014. Vol. 55, supp. 10. P. 157–171.
- Sahlins, M.* *Islands of History*. Chicago: University of Chicago Press, 1985. 180 p.
- Stasch, R.* *Society of Others. Kinship and Mourning in West-Papuan place*. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 2009. 336 p.
- Strathern, M.* *Relations an Anthropological Account*. Durham: Duke University Press, 2020. 488 p.
- Strathern, M.* The Gender of the Gift: Problems with Women and Problems With Society in Melanesia // *Melanesian Anthropology*. Vol. 6. Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 1988. 422 p.
- Tcherkézoff, S.* L'«individualisme» chez Louis Dumont et l'anthropologie des idéologies globales. Genèse du point de vue comparatif (1re partie) // *Anthropologie et société*. 1993. Vol. 17, no. 3. P. 141–158.
- Toffin, G.* Louis Dumont 1911–1998 // *L'Homme*. 1999. Vol. 39, no. 150. P. 7–13.
- Valeri, V.* *Kingship and Sacrifice: Ritual and Society in Ancient Hawaii* / transl. by P. Wissing. Chicago: University of Chicago Press, 1985. 446 p.

Article

Equality, Individualism, Holism: Perspectives of “Dumontian” Anthropology

ANDREY TUTORSKI

Faculty of History, Lomonosov Moscow State University, Russia

ABSTRACT

The article presents the milestones in the biography, scientific monographs and theoretical ideas of the French anthropologist of the mid-20th century, Louis Dumont. This researcher began with the study of French regional folklore and rituals, then studied the Indian caste of Piramalay Kallar in Tamil Nadu, and in the 1960s–1980s he conceptualized such notions as equality, holism and hierarchy. The purpose of the article is to shift the attention of the Russian academics from Dumont as an indologist to Dumont as a theorist. The author focuses on the Dumont’s vision of the problems of equality / hierarchy, individualism / holism. Starting with the idea of the fusion of equality and individualism, the scientist comes at more complex correlations of these concepts. At the end of the article, is given the analysis of the works of critics of the theoretical constructions of Dumont (M. Mosco, P. Kolenda), and then the arguments of the supporters of him (J. Robbins). The author of this article reveals points of contact between the theoretical constructions of Dumont and M. Strathern.

KEYWORDS: equality, individualism, hierarchy, holism, Dumont, dynamism

FOR CITATION: Tutorski, Andrey. 2022. “Equality, individualism, holism: perspectives of ‘dumontian’ anthropology.” *History HSE* 1: 61–81.

SUBMITTED: 13.07.2021 | **ACCEPTED FOR PUBLICATION:** 18.10.2021

DISCLOSURE STATEMENT

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

FINANCING

This research was financed by the Russian Foundation for Basic Research, grant no. 19-09-00126 “Personality and Collective in Provincial Russia: Transformations of Culture and Historical Memory”.

REFERENCES

- Assayag, Jackie. 1998. “La construction de l’objet en anthropologie. L’indianisme et le comparatisme de Louis Dumont.” *L’Homme* 38, no. 146: 165–89.
- Bailey, F. G. 1959. “For a Sociology of India?” *Contributions to Indian Sociology* 3: 88–101.
- Bondarenko, Dmitri M. 2007. “Homoarchy as a Principle of Sociopolitical Organization. An Introduction.” *Anthropos* 1: 187–99.
- . 2020. “Social Institutions and Basic Principles of Societal Organization.” In *The Evolution of Social Institutions*, edited by Dmitri M. Bondarenko, Stephen A. Kowalewski, David B. Small, 51–78. Cham: Springer.
- . 2011. “The Second Axial Age and Metamorphoses of Religious Consciousness in the Christian World.” *Journal of Globalization Studies* 1: 113–36.

- Burridge, Kenelm. 1979. *Someone, No One: Essays on Individuality*. Princeton: Princeton University Press.
- Douglas, Mary. 1975. *Implicit Meanings: Essays in Anthropology*. London: Routledge and Kegan Paul.
- . 1970. *Natural symbols*. London: Barrie & Rockliff, 1970.
- Dumont, Louis. 1958. "A.M. Hocart on Caste, Religion and Power." *Contributions to Indian Sociology* II: 45–63.
- . 1977. *From Mandeville to Marx: The Genesis and Triumph of Economic Ideology*. London; Chicago: University of Chicago Press.
- . 1994. *German Ideology: From France to Germany and Back*. Chicago: University of Chicago Press.
- . 1991. *Homo aequalis II. L'idéologie allemande. France-Allemagne et retour*. Paris: Gallimard.
- . 1951. *La Tarasque. Essai de description d'un fait local d'un point de vue ethnographique*. Paris: Gallimard.
- . 1957a. *Une sous-caste de l'Inde du Sud: organisation sociale et religion des Pramalai Kallar*. The Hague; Paris: Mouton.
- . 1957b. "Villages Studies." *Contributions to Indian Sociology* I: 23–41.
- Enthoven, Jean-Paul. 1984. "Dumont, L'intouchable." *Revue Européenne Des Sciences Sociales* 22, no. 68: 29–33.
- Itenau, André. 2005. "Partial discontinuity: The Mark of Ritual." In *Ritual in Its Own Right: Exploring the Dynamics of Transformation*, edited by D. Handelman, G. Lindquist, 98–115. New York: Berghahn.
- Kallinen, Timo. 2014. "Christianity, Fetishism, and the Development of Secular Politics in Ghana: A Dumontian Approach." *Anthropological Theory* 14, no. 2: 153–68.
- Kapferer, Bruce. 2010. "Louis Dumont and a Holist Anthropology." In *Experiments in Holism: Theory and Practice in Contemporary Anthropology*, edited by T. Otto, N. Bubandt, 187–208. Oxford: Wiley-Blackwell.
- Kolenda, Pauline. 1976. "Seven Kinds of Hierarchy in Homo Hierarchicus." *Journal of Asian Studies* 4: 581–96.
- Mosko, Mark. 1992. "Motherless Sons: 'Divine Heroes' and 'Partible Persons' in Melanesia and Polynesia." *Man* 27: 697–717.
- . 2010. "Partible Penitents: Dividual Personhood and Christian Practice in Melanesia and the West." *Journal of the Royal Anthropological Institute* 2: 215–40.
- . 1994. "Transformations of Dumont: The Hierarchical, the Sacred, and the Profane in India and Ancient Hawaii." In *Transformations of Hierarchy. Structure, History and Horizon in the Austronesian World*, edited by Margaret Jolly, Mark S. Mosko, 19–86. Reading: Harwood Academic Publishers.
- Ortner, Sherry. 1981. "Gender and Sexuality in Hierarchical Societies: The Case of Polynesia and Some Comparative Implications." In *Sexual Meanings: The Cultural Construction of Gender and Sexuality*, edited by S. B. Ortner, H. Whitehead, 359–409. Cambridge: Cambridge University Press.
- Quigley, Declan. 1988. "Is Caste a Pure Figment, the Invention of Orientalists for their Own Glorification?" *Cambridge Anthropology* 13: 20–36.
- Robbins, Joel. 2015. "Dumont's Hierarchical Dynamism: Christianity and Individualism Revisited." *HAU: Journal of Ethnographic Theory* 5, no 1: 173–95.
- . 1994. "Equality as a Value: Ideology in Dumont, Melanesia and the West." *Social Analysis: The International Journal of Social and Cultural Practice* 1: 21–70.
- . 2013. "Monism, Pluralism, and the Structure of Value Relations: A Dumontian Contribution to the Contemporary Study of Value." *HAU: Journal of Ethnographic Theory* 3, no. 1: 99–115.

- . 2014. “The Anthropology of Christianity: Unity, Diversity, New Directions (an Introduction).” *Current Anthropology* 55, suppl. 10: 157–71.
- Sahlins, Marshall. 1985. *Islands of History*. Chicago: University of Chicago Press.
- Stasch, Rupert. 2009. *Society of Others. Kinship and Mourning in West-Papuan Place*. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press.
- Strathern, Marilyn. 2020. *Relations an Anthropological Account*. Durham: Duke University Press.
- . 1988. *The Gender of the Gift: Problems with Women and Problems with Society in Melanesia*. Vol. 6 of *Melanesian Anthropology*. Berkeley; Los Angeles: University of California Press.
- Tcherkézoff, Serge. 1993. “L’individualisme’ chez Louis Dumont et l’anthropologie des idéologies globales. Genèse du point de vue comparatif (1^{re} partie).” *Anthropologie et société* 17, no. 3: 141–58.
- Toffin, Gerard. 1999. “Louis Dumont 1911–1998.” *L’Homme* 39, no. 150: 7–13.
- Valeri, Valerio. 1985. *Kingship and Sacrifice: Ritual and Society in Ancient Hawaii*. Translated by P. Wissing. Chicago: University of Chicago Press.
- Golovnev, A. V. 2009. *Antropologiya dvizheniya (drevnosti Severnoy Evrazii)*. Ekaterinburg: URO RAN; ‘Volot’. (In Russ.).
- Greber, D. 2015. *Dolg: pervye 5000 let istorii*. Translated by A. Dunaev. Moscow: Ad Marginem. (In Russ.).
- Dyumon, L. 1997. *Esse ob individualizme*. Translated by A. D. Gar’kavyi. Dubna: Izdatel’skiy tsentr ‘Feniks’. (In Russ.).
- . 2000. *Genezis i rastsvet ekonomicheskoy ideologii*. Translated by G. V. Churshukov. Moscow: Nota bene. (In Russ.).
- . 2001. *Homo hierarchicus. Opyt opisaniya sistemy kast*. Translated by N. G. Krasnodembskaya. St. Petersburg: Izdatel’skaya gruppa ‘Evraziya’. (In Russ.).
- Krasnodembskaya, N. G. 2012. “Dyumon Lui.” In *Dinamika atmosfery — Zheleznodorozhnyy uzel*, edited by Yu. S. Osipov, 481. Vol. 6 of *Bol’shaya rossiyskaya entsiklopediya*. Moscow: Bol’shaya rossiyskaya entsiklopediya. (In Russ.).
- . 2004. “Lui Dyumon: kto on po spetsial’nosti?” In *Muzeynye kolleksii i nauchnye issledovaniya: materialy godichnoy nauchnoy sessii MAE RAN 2000 g.*, edited by Yu. K. Chistov, 94–97. Vol. 49. St. Petersburg: MAE RAN. (In Russ.).
- . 2001. “Predislovie k russkomu izdaniyu.” In *Homo hierarchicus. Opyt opisaniya sistemy kast* by L. Dyumon, 5–16. St. Petersburg: ‘Evraziya’. (In Russ.).
- Polan’i, K. 2002. *Velikaya transformatsiya. Politicheskie i ekonomicheskie istoki nashego vremeni*. Translated by A. A. Vasil’ev, S. E. Fedorov, A. P. Shurbelev. St. Petersburg: Aletyya. (In Russ.).
- Fuko, M. 2005. *Nuzhno zashchishchat’ obshchestvo: Kurs lektsiy, pročitannykh v Kollezhe de Frans v 1975–1976 uchebnom godu*. Translated by E. A. Samarskaya. St. Petersburg: ‘Nauka’. (In Russ.).

Article

In the Flesh: The Grand Tour of Tsesarevich Alexander Nikolaevich in 1837

PAUL W. WERTH 

University of Nevada, Las Vegas, Nevada, USA

ABSTRACT

In order to familiarize his son with the country he would eventually rule, Emperor Nicholas I arranged an extensive tour for him: an excursion of almost 20 000 kilometers that took the heir across vast segments of the world's largest country. Extensively choreographed and featuring novel forms of publicity and intense emotional expression, the excursion of Alexander Nikolaevich provided critical formative experiences for heir and country alike. Many things made the trip remarkable, but among the most important was that the voyage gave tsarist subjects the opportunity to engage with the monarchy directly and viscerally. Indeed, for many people in diverse parts of Russia, 1837 was unforgettable because they had seen the heir to the throne in the flesh.

KEYWORDS: Alexander II, Nicholas I, Vasili Zhukovskii, balls, non-Russians, Siberia, celebrity, emotion

FOR CITATION: Werth, W. Paul. 2022. "In the Flesh: The Grand Tour of Tsesarevich Alexander Nikolaevich in 1837." *History HSE* 1: 82–101.

SUBMITTED: 01.06.2021 | **ACCEPTED FOR PUBLICATION:** 17.10.2021

Russians did not typically express gratitude for being sent to Siberia. But on 3 June 1837 the heir to the throne, 19-year-old Alexander Nikolaevich, wrote to his father from Tobolsk "to thank You, dear Papa, for Your idea of sending me to this distant and curious region, which none of us has seen previously"¹. In order to familiarize his son with the country he would eventually rule, Nicholas arranged an extensive tour for him — an excursion of almost 20 000 km that took the heir across vast segments of the world's largest country. Extensively choreographed and featuring novel forms of publicity and intense emotional expression, the excursion provided critical formative experiences for heir and country alike.

Imperial travel of this sort was not entirely new in 1837. Muscovite tsars had traversed the country on pilgrimages to monasteries and religious sites. Peter the Great became the first Russian sovereign to travel abroad extensively, while Catherine the Great famously sailed down a portion of the Volga River in 1767 and visited new acquisitions in the Russian south

© Werth P. W., 2022  werthp@unlv.nevada.edu

¹ Zakharova 1999, 52.

two decades later. In 1824 Alexander I travelled for over two months to distant points in the Volga and Ural regions, and it was in the south of Russia — in Taganrog — that he died in 1825. And in an effort to forge a sense of connectedness with his people, Nicholas himself traversed many provinces, even breaking a rib and collarbone in a carriage accident in Penza province in 1836. Yet the heir's trip in 1837 was distinctive for several reasons. Lasting over seven months and encompassing some 30 provinces on two continents, his was simply the longest trip in Russia by a tsar or heir to that point. The prince also became the first member of the ruling Romanov family to visit Siberia, which by then had been part of Russia for over two centuries. It was also the first time that an heir to the throne had travelled in this fashion as part of his education, and it was only now that Alexander Nikolaevich faced the people alone, independently of his father. The periodical press meanwhile offered the monarchy new opportunities (and new imperatives) to bolster its legitimacy by fostering the heir's celebrity and focusing charismatic affection on his person through intense sentimentalist rhetoric. The voyage finally gave tsarist subjects the opportunity to engage with the monarchy directly and viscerally. Indeed, for many people in diverse parts of Russia, 1837 was unforgettable because they had seen the tsarevich in the flesh.

Preparation

Born in Moscow in 1818, Alexander Nikolaevich became heir once his father had vanquished the Decembrist rebellion. Indeed, the very afternoon that Nicholas dispersed the rebels, in a ceremony designed to demonstrate the importance of primogeniture for the imperial house, he brought his 8-year-old son before a Guards battalion, whose officers, at the emperor's command, rushed to kiss his hands and feet. In 1834, as the first heir to reach the age of majority (16 years) under the succession law of 1797, the prince participated in a new ceremonial oath that made the maintenance of autocracy a filial obligation and reinforced dynasty as a central theme of the monarchy. His exploration of Russia in 1837 — followed in 1838–1839 by a tour of Europe — represented the culmination of his education. In devising the trip, Nicholas replicated elements of his own three-month tour of the empire in 1816, though at the time few could have foreseen that he was to become emperor (his older brother, Constantine, remained the legal heir right up until the confused succession in December of 1825). It was his mother, the dowager empress Maria Fedorovna, who organized the two tours — one of Russia (1816), the other of Europe (1816–1817) — as the capstone of Nicholas's education, just as they would become for her grandson². Nicholas accordingly took inspiration from his mother's instruction for that trip, incorporating elements of it into his own directives for Alexander Nikolaevich.

“The Heir's trip”, wrote Nicholas to those tasked with executing it, “has a dual goal: to get to know Russia to the extent possible and to make him visible to his future subjects”. Admonishing the heir himself, he remarked, “Parting for the first time with your parents' roof, you in some sense submit yourself to the judgment of your subjects, in a test of your intellectual abilities”. The heir should examine all things equally, “since *everything useful* should be equally important to you; but at the same time you need also to know *the ordinary*, to comprehend the true state of things”. In terms of behavior, the father proposed, “naturalness, simplicity, and tenderness with everyone should incline and bind everyone to you”. People would greet the prince with “genuine joy”, Nicholas predicted, “but do not be blinded by this reception and do not regard it as something that you have deserved, [for] they will receive you as their Hope”. The emperor's letters to his travelling son supplemented the instruction and frequently invoked the trope of “hope” and “pledge” to characterize the people's putative attitude towards the grand prince who would rule them one day. He warned also that the heir was likely to encounter much that would seem amusing. Referring to Nikolai Gogol's famous play (at whose

² Wortman 1995, 247–259, 269–270, 357–362. Nicholas's 1816 trip had gone straight south from Petersburg through Vitebsk and Mogilev to the Black Sea, Crimea, and then back through Voronezh and Tula to Moscow. See: Puteshestvie 1877.

1836 premiere Nicholas “applauded and laughed a great deal”) the prince’s father predicted, “You will see not one but many who are similar to those in *The Inspector General*, but be careful and don’t show in people’s presence that they strike you as funny”³.

Also shaping the voyage’s character — indeed, accompanying the heir as he travelled — were prominent intellectuals of the day. The poet Vasilii Zhukovskii had been appointed the heir’s tutor in 1825 and thus played an important role in the trip’s realization. Elaborating on its purpose in a letter to the empress a few days after the tour began, Zhukovskii compared it to reading a book: “That book is Russia, but the book is animate, one that will itself get to know its reader. That *getting to know* is the main goal of the current trip”. Acknowledging that the heir’s party was sometimes moving too quickly to reap any “practical information about Russia’s condition”, the poet averred that the trip’s “main benefit is entirely moral” — the “benefit of deep, indelible impression” on the young prince as he completed his education and “begins his active life”. For Zhukovskii, then, the trip represented a kind of *Bildungsreise* — a formative expedition designed to stimulate the future tsar’s humanitarian potential⁴. Also present was another tutor, Constantine Arsen’ev, a leading statistician of the day and proponent of Adam Smith. Having previously authored an extensive description of Russia’s towns over the previous two centuries, Arsen’ev composed a guide to the “noteworthy objects” that the heir would encounter in his travels, which focused primarily on towns, trade, and manufactures (these had figured prominently during Nicholas’s own tour of Britain in 1816–1817). It was probably also he who proposed that each locale offer the heir an exhibition of local industry and crafts⁵. Among the other teachers, friends, and retainers joining the travel party was the heir’s aide-de-camp Semen Iur’evich, whose letters to his wife represent a crucial source for our narrative⁶. Thus the trip was designed to have moral as well as practical effect, reflecting both the literary sentimentalism and new forms of knowledge characteristic of the age.

Many matters required attention as the heir’s departure approached. Roads and bridges required urgent repair, and indeed the start of the trip was delayed by several days for this reason. Local doctors were instructed to ensure that the route did not feature “measles, scarlet fever and any contagious or epidemic diseases”. The head of Poltava province wrote with worries that the best building in the town was inadequate to receive such an august guest (even proper furniture was absent), and the city had no money for improvements. Among the greatest logistical tasks was mobilizing horses. Consisting of eleven carriages, the party required 57 horses at each postal station every 20–30 km. During travel, wrote interior minister Dmitrii Bludov to governors, “there cannot be any stoppages or difficulties so that in general the trip will be completed with every possible convenience and tranquility for HIS HIGHNESS”. Smaller stations needed to locate extra animals, though Petersburg insisted that the prince’s carriage itself always be pulled only by postal horses, “well broken in, mild and not afraid of flame, should His Highness deign to travel at night with torches”⁷. To service its twenty stations for the heir, Smolensk province requisitioned 997 private horses to supplement the postal ones, while officials in Penza province, confronted with continuous rains generating “uncommon mud”, had to mobilize extras as well. While the prince’s conveyance usually required six horses, in the upper Volga precipitation brought the road to such a state “that eight horses could barely pull the carriage”⁸.

³ Zakharova 1999, 21, 24–26, 130; Wortman 1995, 363–364; Nikitenko 1975, 64.

⁴ Tatishchev 1903, 73, 74. On Zhukovskii and the heir, see: Wortman 1995, 343–351; Dickinson 2006, 218–229; and two articles by Damiano Rebecchini: Rebecchini 2013, 2014.

⁵ Ukazanie 1837. The description of towns appeared in the interior ministry’s journal in 1832–1834. See: Pertsik 1960, esp. 50–81; Smith-Peter 2018, 84–89; 2007. On Nicholas in Britain: Potapova 2017, 225–233.

⁶ Dorozhnye pis’ma 1887, no. 4–6.

⁷ RGIA, f. 1284, op. 22, otdel 1, stol 1, d. 31 [henceforward: RGIA, “O puteshestvii”], l. 20, 33, 52, 124–124 ob., 138–139, 145–147.

⁸ RGIA, f. 1281, op. 3 (1838), d. 57, l. 16 ob.–17; d. 32, l. 18 ob; Litovskii vestnik 1837, 1 June, 345.

For their part, local authorities took steps of their own. Provinces learned of the impending visit only by circular dated 30 March, which gave those near the start of the trip less than a month to prepare by the time they had received it. Places added to the itinerary at the last minute had only a few days. Initially not on the route, Tver was thus “emptiness and boredom, boredom and emptiness” in late April, but then sprang into action when news of its inclusion arrived: “Suddenly, on 1 May, Tver comes to life, becomes excited, stirs, boils with people”⁹. Worries about the heir’s perception of their provinces agitated governors. Anxious about the hovels punctuating Orenburg, the governor-general there organized the repair of some houses and the demolition of others¹⁰. Trying to limit embarrassment, the Orthodox consistory in Viatka instructed its subordinates to remove from churches “the mentally ill and those susceptible to fits”, and to ensure that singing occur “with appropriate reverence and harmony”, and without haste “or disorderly movements or head-turning”¹¹. In a similar vein, the governor of Tula proudly sent to Petersburg instructions to underlings enjoining them to promote the appropriate “reverence and order” and to ensure that crowds not hinder carriages’ movement, “at the same time removing drunkards and those in outrageous clothing”¹². Such sartorial restrictions were indeed enforced: The heir’s suite learned in Kostroma province, for example, “that peasants and those without good clothes are not being permitted to show themselves and are even locked in their houses”¹³.

The most enthusiastic in his preparations — or at least the most ardent in broadcasting them — was Viatka governor Kirill Tiufiaev. With pride he wrote to Petersburg of his plans to ensure that villages and towns feature “cleanliness, tidiness and order”; that houses and fences be repaired and, in cities, painted (“but with the removal of excessive variegation”); “and that under no pretext livestock roam streets, squares, and roads”. Illuminations of the city were to observe “decorum and safety”, and everyone — “without exception, of any age or sex, wherever they wish” — would have “complete freedom to delight in beholding His Imperial Highness”, but with the added admonition “that they be in clean and tidy dress”. Tiufiaev further proposed shifting a local religious holiday, featuring the procession of a miracle-working icon, by a few days so that the prince could witness the spectacle. Presumably governors everywhere were doing the same, but Tiufiaev’s decision to report his efforts earned him only the emperor’s ire. What exactly Nicholas found so objectionable is unclear, though apparently he wanted his son to see the country as it actually was (“the true state of things”), not as local bosses might spruce it up to be. He thus underlined three times the phrase “that they be in clean and tidy dress” (adding “!!!” in the margin), and commanded on the matter of the holiday: “sternly prohibit any change of time”. The interior minister accordingly conveyed to Tiufiaev the emperor’s “stern reprimand for your ill-advised and inappropriate directives”, insisting that he was to do nothing beyond what he had been instructed to do¹⁴.

But the order to desist came too late. Alexander Herzen (then in exile in Viatka) recounts that Tiufiaev was indeed busy before the visit taking “the most savage measures for the heightened entertainment of his ‘Highness’”. The governor had ordered the repair of wooden sidewalks along the heir’s route, and when an old widow in the town of Orlov had proved too poor to undertake that work, local authorities ripped the floor out of her house in order to accomplish the task. The widow had protested, and attempts to silence her failed¹⁵. Indeed, as he passed through the territory the young prince encountered rumors that measures by Tiufiaev and his subordinates “have been very drastic and have dissatisfied many people, which is all the more

⁹ Pis'mo iz Tveri 1837.

¹⁰ Garan'kin 1999, 174.

¹¹ *Zamiatin* 1897, 3.

¹² RGIA, “O puteshestvii”, l. 157.

¹³ RGIA, f. 1284, op. 22, otdel 1, stol 1, d. 55 (Kavelin to the emperor, 20 May 1837), l. 3.

¹⁴ RGIA, “O puteshestvii”, l. 232–233 ob., 235 ob., 238–239 ob.

¹⁵ *Gertsen* 1969, 250–251. The account is confirmed: RGIA, f. 1284, op. 22, otdel 1, stol 1, d. 55, l. 2–3 ob.

regrettable in that my passage, which ought to be a joy for everyone, has instead become a burden". The emperor wrote to his son that he himself had learned of these "stupidities" too late to intervene. "But there is no evil without good, for [this] serves you as proof of what I have said to you more than once — i.e., how hard it is for us to prevent our best intentions from being fouled up by the stupidities of those who execute them". Tiufiaev was dismissed a few weeks after the heir's departure¹⁶.

On the Road

The heir's sojourn was extensive. Departing from Petersburg on 2 May, he initially visited a series of towns and monasteries in central Russia, and then moved northeast through Kostroma and Viatka into the northern Urals, before crossing into Siberia. The tour then went to the southern Urals, the Volga region, provinces south of Moscow, and the region to its west, where some of the most important Napoleonic battles had occurred a quarter-century earlier. He then retired to Moscow for more than two weeks, to explore Russia's historical capital. In an emotional reunion after three months of separation, the empress joined him on 3 August, and the trip continued on 9 August, as Alexander visited new sites to the east of Moscow. In late August, the imperial family converged on Voznesensk (Kherson province) for ten days of manoeuvres and parades to commemorate the 25th anniversary of 1812 with prominent foreign guests, and then spent time in Odessa and Crimea. The heir joined his father in sailing to Gelendzhik and Anapa (on the Black Sea coast) before returning to Kerch while his father visited the South Caucasus. He travelled back through Crimea and then to parts of Ukraine, joining his father yet again in October at Aksai, a Don Cossack settlement near Rostov. From there the two made their way rapidly north through Novocherkassk, Voronezh, and Moscow, returning finally in December to Petersburg¹⁷.

The distances covered were staggering, and the schedule tight. For example, on 1 June the heir left Tiumen' in the morning, crossed the Tura River — at that point 7 km wide because of the spring thaw — and later had to traverse the Tobol River along with seven ferry crossings over gulfs created by the river's expansion, as well as the Irtysh River. Still, that day the suite covered almost 275 km, arriving at Tobol'sk at midnight¹⁸. When the heir arrived in Moscow — and his trip was still far from over — Metropolitan Filaret could justifiably declare, "Travelling around the country of Russia, you have already extended farther than any of the tsars"¹⁹.

The travel could be taxing and annoyances frequent. As it entered the steppe from the Urals, Zhukovskii reported, the party lunched "with a frightful multitude of flies" and later slept "with a great multitude of cockroaches". In Perm', large crowds produced such clouds of dust that the tsarevich "was compelled to enclose himself in his greatcoat and pull his service cap down further over his face". Rain could be a welcome antidote. Iur'evich noted that a short but strong downpour as the entourage left Perm' allowed them "the pleasure of driving those [next] two days without dust". But if a modest rain happily cleared the air, then a heavy one impeded mobility by mucking up the road. On the approach to Kasimov, a downpour engulfed the heir's carriage in a swampy embankment, and some time elapsed before locals could haul it out. In August Iur'evich complained that the entourage had barely made it to Vladimir, as "the road was exceedingly loathsome and moreover, on account of its solid wooden foundations, extremely jolting". The heir's attempt to visit Chuguev, near Khar'kov, proved to be almost impossible: "Such mud that it's hard even to imagine: on every step of the way the horses stop. This is no longer road travel but mud travel [*ne puteshestvie, a griazeshestvie*]"²⁰.

¹⁶ Zakharova 1999, 42, 133; RGIA, f. 1284, op. 22, otdel 1, stol 1, d. 55.

¹⁷ Compact accounts: Tatishchev 1903, 73–90; Zotov 1857, 246–257; Wortman 1995, 362–369. The final itinerary (from which there were only minor deviations) is Marshrut 1837.

¹⁸ Rastorguev 1841, 13.

¹⁹ Cited in: Odesskiii vetsnik 1837, 14 Aug, no. 65, 790.

²⁰ Garan'kin 1999, 175; Dmitriev 1887, 5; Dorozhnye pis'ma 1887, no. 4, 457; no. 6, 214; Mansurov 1888, 476.

Portions of the trip were dull and hot. Three days of driving on the approach to Orenburg included nothing but hot, open steppe. “Imagine”, Iur’evich wrote, “a naked plain, boundless steppe, without life, without people, without as much as a shrub of greenery”. Zhukovskii concurred: “Not a bush, not a drop of water. Everything empty and covered with feather grass”. After two insufferable nights “in stuffy rooms, filled with flies and similar insects”, Orenburg appeared as “an oasis in the Kazakh steppe”. Yet just after that city began “one of the most difficult legs of the trip in terms of distance, a sandy steppe road and unbearable heat”, as the party moved west towards Uralsk, where almost everyone in the heir’s suite “greedily threw ourselves into the Ural River”. Later, in July, Moscow proved almost as hot, and after banquets, walks, and presentations “we truly had not felt such fatigue in the [previous] three months of our travels”²¹. Just the quantity of new impressions was enough to exhaust. Fewer than two weeks into the trip, Iur’evich wrote from Kostroma, “By evening in cities we all lack use of our legs and our minds. There are so many topics, so many new faces, that one can’t arrange it all in one’s head, one can’t bring order to one’s ideas”. Indeed, it had become apparent fairly early in the trip, to some at least, that the resulting acquaintance with Russia would be superficial. Zhukovskii wrote to the empress already on 6 May that he did not expect “a big harvest of positive [and] practical information about Russia’s condition; for that we are travelling too fast, we have too many objects for inspection, and our itinerary is overly predetermined”²².

Precise activities varied from place to place, but in most instances the heir’s arrival at a town was followed immediately by a visit to its main cathedral. The heir and his entourage would then visit local institutions such as schools, hospitals, prisons, military installations, charitable institutions, monasteries, and factories. Each town was to offer an exhibition of local industry and crafts, an important aspect of the heir’s knowledge of the country. In exile in Viatka, Herzen was charged by the local governor with organizing the exhibition and was the one to walk the tsarevich through²³. The visit also included meals with local dignitaries, while typically the town’s merchants and sometimes coachmen had the privilege of offering bread and salt in a ritual of hospitality. The heir showed himself to ordinary subjects from balconies or windows, almost always to tears of joy, expressions of raptures, sighs, and yells of “hooray!” Countless lanterns and lampions provided impressive illumination at various stops. Thus in Perm’ on 23 May, as the heir’s entourage approached, “The whole city lit up with thousands of lampions and lanterns... From the heights of the bell tower of the main cathedral Perm’ appeared as a fire lost at sea”. At Kremenchug, the bridge across the Dnieper River was illuminated, and on each side several barrels had been ignited and released onto the water, “which with the reflection of the flames on the Dnieper produced a majestic and rather pleasant spectacle”²⁴. The heir commented frequently and approvingly on illumination in his letters.

A staple event during the heir’s voyage in provincial capitals was the ball. These were huge events for local society, offering the intoxicating prospect of dancing in the company of royalty. Alexander reported to his father from Tobolsk that many had come from as far away as Tomsk (some 1 600 km away) to attend the ball, which turned out to be better than the heir and his entourage had expected²⁵. The ones in Kazan’ and Khar’kov were likewise both “excellent, magnificent”²⁶. The ball in Odessa, where the imperial family and many foreign guests had converged in early September, proved an especially impressive affair. Iur’evich could only speculate about what it had cost, adding that the empress “was wearing more diamonds than I had ever seen on her”. (Even so, the “Russian beauties” in places like Penza and Riazan’ had

²¹ *Garan’kin* 1999, 175; *Dorozhnye pis’ma* 1887, no. 4, 466–467; no. 5, 49–50, 66; *Zakharova* 1999, 102.

²² *Dorozhnye pis’ma* 1887, no. 4, 448; *Liamina* 1999, 152.

²³ *Gertsen* 1919, 252.

²⁴ *Dmitriev* 1887, 3; RGIA, “O puteshestvii”, l. 506 ob.

²⁵ *Zakharova* (journal entry, 2 June 1837) 1999, 58. Iur’evich agreed that it has “very good and was no even worse than the one in Iaroslavl” (*Dorozhnye pis’ma* 1887, no. 4, 461).

²⁶ Iur’evich literally used the same two words to describe both balls (*Dorozhnye pis’ma* 1887, no. 4, 53; no. 6, 212).

spoiled Iur'evich, so that in Odessa, by contrast, “there was not one decent female face at the ball”²⁷. Other balls were less impressive but still respectable affairs. The ball in Ekaterinoslav was “quite good” for that city, reported Iur'evich, as locals were able to decorate and illuminate a hall “quite well” and fill it with “female topknots” [*Khokhlachki*]²⁸ from surrounding areas; “some of them had very good dress, while others, it seems, in their mothers’ wedding dresses performed contra dances terrifically”. In Orenburg the military governor assembled an immense gallery amidst a Kazakh encampment in which all the ingredients a European-style ball suddenly appeared, and the prince danced past midnight with the “Orenburg beauties”, of which there were many more than Iur'evich had expected. “This festive occasion was unique, a real steppe event”, declared the heir²⁹.

Some balls left more to be desired. The ball in Kaluga, Iur'evich reported, was “not brilliant compared to the others, though very earnest”. Nor did the one in Voronezh merit any awards. The heir’s entourage was surprised by an invitation in Viatka, as the province had few nobility. It turned out that local merchants had organized the event, which had its curiosities: “A few dressed-up merchants’ wives (half of them even fashionably); and two or three wives of servants in Viatka... stood in a half circle in a rather decently illuminated but not very high room in the home of a local merchant; their husbands, merchants and officials, on the opposite side”. Then the music started. “The musicians, amateurs and lovers of drink, were kept under guard in the gallery to keep them from running off to the drinking house”³⁰. Recalling the event later in life (and undoubtedly drawing on Russian literature’s tendency by then to portray the provincial ball as the height of ineptitude and unbearable triviality), Herzen was dismissive: “The ball was stupid, awkward, excessively poor and excessively gaudy”³¹. Even so, the heir danced two quadrilles with local ladies, and at the time Herzen (perhaps mindful of the likely perustration of his correspondence) expressed far less contempt. As he wrote to his beloved then, “Just now coming from the ball, where the heir was present... Congratulate me: the prince was very satisfied with the exhibition, and the entire suite paid me a mass of compliments, especially the famous Zhukovskii, with whom I spoke for an entire hour”³².

But the many balls also took their toll. Even early in the trip, Iur'evich complained, “We are persecuted with invitations to balls; everywhere we encounter deputies of the nobility from various provinces with invitations”. Circumstances sometimes offered an excuse to decline. The nobility of Vladimir, eager to host like most cities, was disappointed to learn that the heir would visit the town during the Dormition Fast, which excluded festivity. Other balls were unavoidable. As the party went through the provinces of Kazan’, Simbirsk, Penza, and Tambov, the number of balls increased significantly. Iur'evich wrote to his wife: “Just back from the ball in Tambov. And it’s precisely that: ball after ball! Isn’t it fun? How sick I’ll be eventually of these balls! We have entered into a region of balls: there’s one almost every day, no time to come to one’s senses; there’s no time to do any work, no time because of these balls even to write about balls”³³.

The heir’s receipt of petitions along the way — one of his major tasks — allowed him to encounter a whole range of people and problems. Some 16 000 petitions were submitted during the trip, and it was Iur'evich’s job to process them, which clearly began to wear on him. The sheer quantity was perhaps bad enough — “with so many petitions there is no time to bring them into order” — but beyond this it was often an immense task just to make any sense of them. Most petitions involved requests for material aid, and these were forwarded to

²⁷ Ibid, no. 6, 180–181.

²⁸ This was the female form of *Khokhly* (“topknots”), a derogatory term for Ukrainians.

²⁹ *Dorozhnye pis'ma 1887*, no. 4, 468; *Zakharova 1999*, 68.

³⁰ *Dorozhnye pis'ma 1887*, no. 5, 59, 61 (citation at 61); no. 4, 451.

³¹ *Gertsen 1919*, 252. On provincial balls in literature: *Lounsbury 2019*, 29, 41, 67–68, 92.

³² *Gertsen 1919*, 431.

³³ *Dorozhnye pis'ma 1887*, no. 4, 452; no. 5, 56–57; *Stromilov 1888*, 8–9.

governors, who each received 5 000 rubles for distribution to the poor of his province. More serious requests were sent to Petersburg, and in some cases the tsarevich contacted his father directly on behalf of supplicants³⁴. Thus he helped secure Herzen's transfer from Viatka, if not to one of the Russian capitals, then at least to Vladimir³⁵. Iur'evich got the heir to intercede for a landowner in Tambov province whose son had been exiled to Siberia "for mischief"³⁶, and the governor-general of Western Siberia induced the heir to intercede in a few cases as well. The heir gathered a series of petitions from sectarians in Kungur, in the Urals, and sent them directly to his father, noting that while the dissenters were undoubtedly objectionable, "they may be brought to extremes by local authorities, who often attempt to execute the government's good intentions crudely and carelessly". Probably at Zhukovskii's prodding, the heir even raised the case of a few repentant Decembrists in the Siberian town of Kurgan, though he remained more suspicious of Poles exiled after the November Insurrection of 1830–1831 ("They are, as You know, Poles in their souls, they do what is demanded of them, but it's not possible to penetrate their hearts"). The emperor agreed to some of the heir's requests, for which Alexander "could not find words to thank You, dear Papa". Indeed, upon receiving his father's letter in one case he joyfully embraced others in his suite; Zhukovskii called that moment "one of the happiest in my life", though the poet incurred the emperor's ire as a result: In June, several in the travel party received medals from Petersburg commemorating the tsar's twentieth wedding anniversary, but Zhukovskii received "a slap in the face" by getting none³⁷.

This Is Russia

The heir's suite enjoyed some cities more than others. Near the bottom of the list were towns in the northern Ural region, against which Arsen'ev's guidebook (and in-person commentary) probably prejudiced the travellers. "To this day", it declared, "Viatka remains an unimportant provincial city, having neither factories nor mills"; and Perm' "cannot compare to the better provincial cities; it is poorer than Ekaterinburg" (a mere district town at the time). Iur'evich wrote with pleasure on 19 May as the suite prepared to leave Viatka — "boring, doleful, without nobility, but filled with political exiles and criminals and sneaks. We leave Viatka without regret and without reminiscences"³⁸. The heir was bothered that a large number of cantonists blinded by an eye disease had been sequestered in a separate building when he came to visit the local hospital. "In general, by my observation the people in this province are poorer, less educated, [and there is] a mass of destitute people, a frightful multitude of cripples". Perm', at least in Iur'evich's estimation, was even worse: "it is a poor city — worse than all the provincial capitals we have seen and worse than many Great Russian district towns". The heir liked Nizhnii Novgorod, but Iur'evich did not: "The society here is neither large nor distinguishes itself in any particular way. It's amazing that even the trade fair [for which the city was famous] has not made it splendid". Odessa was fine as a city, but the convergence there of the imperial family and numerous guests brought price-gouging: "The residents of Odessa, all of them mercenary, rose up on speculation at the expense of the arrivals; the prices for everything went up frightfully"³⁹.

Other towns earned more positive assessments. The area around Ekaterinburg came across as a "truly golden region of Russia" with many settlements and factories that were in some cases even larger than provincial cities⁴⁰. The heir enjoyed Kazan' immensely, and Siberia decid-

³⁴ Dorozhnye pis'ma 1887, no. 4, 454, 458–459, 463.

³⁵ *Gertsen* 1919, 252.

³⁶ Dorozhnye pis'ma 1887, no. 5, 53.

³⁷ *Zakharova* 1999, 50, 61, 70, 121, 142; *Tatishchev* 1903, 82; *Litovskii vestnik* 1837, 6 Aug., no. 63, 507–509; *Dickinson* 2006, 221–222; *Guzairov* 2017, 72–74 (citation at 73).

³⁸ *Ukazanie* 1837, 38, 48; Dorozhnye pis'ma 1887, no. 4, 450.

³⁹ *Zakharova* 1999, 42, 59, 111–14; Dorozhnye pis'ma 1887, no. 4, 455; no. 5, 69; no. 6, 180.

⁴⁰ Dorozhnye pis'ma 1887, no. 4, 459.

edly exceeded expectations. “Our conception of Siberia was completely false”, wrote Iur’evich to his wife, adding a few days later, “Siberia, or at least the part that we saw, is the best region and the richest out of all that we have seen on our trip”. The heir apparently shared this positive impression. Riazan’ also made a powerful impression on both the heir’s suite and the empress, who had visited the city a short time earlier (“I will never forget Riazan’”, she declared). Khar’kov, too, came across as an excellent city that “teems with life in all respects”, having trade, a university, and “everything, they say, for even the most capricious life”. It — apparently rather than Kiev — represented “the southern capital of Russia or Russian Ukraine”⁴¹.

Especially in the east, the itinerary included territories with substantial non-Russian populations. They figured prominently in the visit to Orenburg province, where the heir, “in conversation with non-Russians, went into petty detail about their life and culture”; and in Kazan’, where Tatars and others were presented to the heir as representatives of their peoples. Nogais, Armenians, German colonists, and Tatars greeted the heir in the south⁴². Some of these non-Russians earned admiration from the heir’s party. The prince praised Bashkirs for their fine performance at regimental exercises in Orenburg, where without even knowing Russian they executed commands flawlessly (“Truly well done!”). And Iur’evich was intrigued by the various camel races, horse competitions, snake charming, and walking on swords that Kazakhs offered. Non-Russian specialties like *kumys* (fermented mare’s milk) that were initially dismissed (Alexander called it “very vile” in a letter to his father) later earned some acceptance (“I am beginning to get used to *kumys*”)⁴³. For the heir, German colonists on the lower Volga represented a bright spot, as they had retained “that venerable German tidiness” and had “the brightest pastors”. And as concerns Ukrainians, Iur’evich noted in Poltava with apparent surprise, “Among the inveterate topknots we found many educated people and even one poet”⁴⁴.

But in many cases non-Russians inspired something between pity and contempt. “By my observations”, the heir wrote to Nicholas, the Votiaks (Udmurts) “are less educated than the rest and stupid”. The “slovenliness and savagery” of their homes amazed him, and “they don’t even know how to count paper money, so it’s hardly surprising that people deceive them”. Echoing these sentiments, and commenting on their departure from Viatka province and the Finnic peoples there, Iur’evich wrote, “How sick we are already of those stupid and savage creatures! It’s as if we had gone to the savage Americans”. The heir found even Kazakh sultans to be “frightful freaks”, although he reportedly smiled when two Kazakhs in national costume presented themselves in flawless Russian (one of them had been among tsarist forces in Paris in 1814). Presented with a pair of Voguls (Mansi) in Tobolsk, Alexander declared the man to be “rather strapping”, but his female companion was “a most frightful freak — small, black, with a flat face, two slits instead of eyes — in short a beast rather than a person”. Bashkirs turned out to be “frightful freaks” as well, “especially in new Cossack uniforms”. True, the heir found the wives of one Kazakh sultan to be “quite nice-looking”, but Iur’evich countered this by proposing that one of the reasons why the women at the Orenburg steppe ball looked so good was because they came “after the ugly Kazakh women we had seen”. As on leaving Viatka province, so too with Orenburg: “How sick we are of those Bashkirs and Kazakhs”. Even arriving in the multinational city of Kazan’ was a relief: “Here again is something native, Russian, despite the large numbers of Tatars and the Tatar name of Kazan”⁴⁵. Such reactions reflect a growing awareness of a core Russian national territory — one that could include Tatars — in contrast to more distant and alien borderlands.

⁴¹ *Zotov* 1857, 254; *Dorozhnye pis’ma* 1887, no. 4, 462, 465; no. 6, 212–223; *Litovskii vestnik* 1837, 2 July, no. 53, 420.

⁴² *Litovskii vestnik* 1837, 30 July, no. 61, 491; 9 July, no. 55, 440; 26 Nov., no. 95, 771.

⁴³ *Dorozhnye pis’ma* 1887, no. 4, 467; *Zakharova* 1999, 62, 68; *Iudin* 1891, 179.

⁴⁴ *Zakharova* 1999, 77–78; *Dorozhnye pis’ma* 1887, no. 6, 213.

⁴⁵ *Zakharova* 1999, 43, 57, 60, 62; *Iudin* 1891, 178; *Dorozhnye pis’ma* 1887, no. 4, 453, 468; no. 5, 49, 52.

Indeed, the trip forcefully revealed the country's religious diversity. In Orenburg, the mufti greeted the prince on behalf of all the region's Muslims and requested that Allah give him "the eagle's eyes, the lion's heart, and the serpent's wisdom". The mufti's speech pleased the prince greatly. Together with his father, Alexander also examined a mosque and the khan's grave in Bakhchisarai (Crimea) after meeting with Muslim nobles. Not long after, they received a delegation of Mennonites. But sectarians were the main cause of concern. They actively petitioned for redress from persecution, and several, as prominent industrialists and merchants, enjoyed substantial authority regionally. Alexander explained: "The whole region is under their influence, for they are wealthier than everyone else, and they attract others as a result". In Ural'sk, Alexander concluded that "all evil" among the Cossacks there was rooted in their inveterate attachment to dissent. His father agreed that sectarians' "willfulness" could not be tolerated, "but to persecute them while they are peaceful is equally unjust and unwise"⁴⁶.

As for Orthodoxy itself, the tsarevich did not shy from criticism. At one end were the comparatively harmless peculiarities of religious life in rural Russia. On his father's birthday (25 June), the heir reported that the suite was on the road and thus attended Mass in a village church, where they found "the complete opposite of the solemnity at Peterhof": The church was "very poor", and there were "two singing sextons, like I had never heard before; they howled at the top of their voices hitting whichever notes". More substantively, he found local church authorities overly aggressive in their persecution of sectarianism. In Vol'sk, on the Volga, the cross had been removed from an impressive sectarian chapel ("which creates a rather strange appearance"). The Orthodox hierarch in the area "is a complete fanatic", which would only damage the cause: "The results of persecuting people for their faith is well known, and already now they [sectarians] are beginning to consider themselves martyrs". Considering the issue more broadly, Alexander complained about the quality of the Orthodox clergy: "This is our main problem: a deficit of good priests", which was especially baleful on the Volga, "where every simple schismatic is smarter than our priests"⁴⁷.

Historical sites also figured prominently in the itinerary. One key destination was Kostroma and the Ipat'evskii monastery, "precious to all Russians" in light of the accession of the first Romanov to the throne there in 1613. The cloister "occupied the Grand Prince's attention for a long time". Kostroma also afforded an opportunity to meet the descendants of Ivan Susanin, the local peasant who purportedly saved the first Romanov tsar from the Poles and was the subject of Mikhail Glinka's opera "A Life for the Tsar". The prince in fact visited many places associated with past Romanovs: in Poltava he attended the church in which Peter the Great had given thanks to God for his victory over the Swedes in 1709. He arrived in Rybinsk 74 years to the day (8 May) after Catherine II had visited, being sure to view the chair, preserved in the cathedral, on which she had sat then. In Kazan', he examined the galley on which she had sailed from Tver. In Taganrog he met the confessor of his uncle Alexander I, who died in that city in 1825, and visited the house in Belev (Kaluga province) where that tsar's wife, Elizabeth Alekseevna, died the next year⁴⁸. Given the 25th anniversary of 1812, sites associated with the Great Patriotic War commanded singular attention. Military officials joined the trip for expert explanations of battle sites, and around Smolensk old-timers who had witnessed the battles provided recollections. The tsarevich "greedily examined the locale, repeating what he had been taught in his courses". The survey indeed made an impression on his young mind. As he wrote to his father from Smolensk, "I cannot express to You, dear Papa, the particular feeling with which one examines these places, where so much blood was shed because of a single man of ambition, who will surely report to God for his actions". There were horrors to be encountered as well. In a ravine near the settlement of Krasnoe, "one may still see the burial mounds

⁴⁶ *Iudin* 1891, 176; *Zakharova* 1999, 50, 71, 139; *Litovskii vestnik* 1837, 13 Oct., no. 82, 667; 19 Oct, no. 84, 684.

⁴⁷ *Zakharova* 1999, 75, 77.

⁴⁸ RGIA, "O puteshestvii", l. 359, 521 ob.; *Litovskii vestnik* 1837, 1 June, no. 44, 345, 347; 9 July, no. 55, 440; 10 Aug., no. 64, 515; 19 Nov., no. 93, 756.

that are sagging from the bodies' putrefaction, and bones are visible". The heir placed a stone in a monument that was then being built to commemorate the battle and later, on his name day (30 August), received the village of Borodino itself as a gift from his father⁴⁹.

The prince's native Moscow and its environs proved rich in historical material for the heir's exploration. Monasteries, in particular, served to link the past, present, and future by situating the heir within a historical process extending back into Russian antiquity. In the Novospasskii monastery, for example, the heir encountered a family tree of Russian princes, from Saints Vladimir and Olga with all their progeny. "The tsarevich proceeded slowly under the canopy of his ancestors in the temple as if thus attaining at the end of that genealogical chain the bright link that was intended for him". In the Dormition Cathedral in the Kremlin itself, he passed by the graves of illustrious hierarchs closely associated with his medieval predecessors and then exited the temple "filled with its past and with himself promising so much for Russia's future". On the way to the famous Trinity-Sergius Lavra in Moscow's environs, the heir "recalled the famous events that occurred on that road at various periods of time". In a special memo prepared for the heir, the historian Mikhail Pogodin meanwhile contended that Muscovites themselves represented the country's history: As Orthodox folk greeted the prince and yelled *hooray*, wrote Pogodin, "Let Him [the heir] look into those faces, let Him take in those sounds: in them He will hear and will read our History, more clearly than in all chronicles"⁵⁰.

The trip of course made history as much as consume it. Of particular significance was the heir's installation as honorary ataman of the Don Cossacks in October, which established a rite for all future heirs to the throne. After father and son had ceremonially entered Novo-cherkassk, Nicholas transferred the mace, the central symbol of the ataman's authority, to his son, commenting to the gathered Cossacks, "May this serve as proof of how close you are to my heart". The event was designed to enhance the direct personal tie between Cossacks and imperial family, but it also came in response, one may presume, to the fact that certain members of the Cossack elite had demonstrably ignored the promulgation of a new statute for that population in 1836. Nicholas's remark the next day on reviewing 20 Cossack regiments ("These are peasants, not an army") and his injunction for the Cossack leadership to pay more attention to their horses ("I fear that neglect of this important matter may leave me without Cossacks") likewise suggests that the relationship was more complicated than public accounts would have us believe⁵¹.

Industry and manufactures were objects of inspection as well. The locks and canals at Vyshnii Volochek — a key piece of Russia's transport infrastructure — earned the prince's heed, as did the armaments factory at Tula, which he studied in great detail⁵². In Tver he examined boots, leather, chemicals, sugar, glass, and — it's hard not to be envious — "various sorts of *nails*". In matters of industry the Urals stood out. Alexander visited the Izhevsk factory and commented on the quality of the armaments produced there. Labor costs were low (many workers were serfs), and immediate access to forest gave Izhevsk an advantage over Tula. He gave a pipe a few hits with a hammer, helped to make a bayonet, and in general surveyed the factory "with exceptional attention and curiosity. He went into all details of the work, giving out awards to the workmen who drew his attention". At the nearby Votkinsk factory (where he helped to make an anchor), the prince acknowledged, "The place where they work is a complete hell, and those people, like oxen, carry hot iron about" — but not without also noting that they were "rather tempestuous" and deployed "uncommon wiliness" to filch a fair amount of product. The heir took a special side trip to the Demidov enterprise at Nizhnii Tagil — one of

⁴⁹ Dorozhnye pis'ma 1887, no. 5, 61–64 (citation at 62); Zakharova 1999, 91, 94, 98; Zotov 1857, 253; Tatishchev 1903, 87.

⁵⁰ Litovskii vestnik 1837, 14 Sept, no. 74, 597–599 (citation at 599); Murav'ev 1838 (citations at 13 and 83); Pogodin 1846, 158.

⁵¹ Wortman 1995, 369; Litovskii vestnik 1837, 26 Nov, no. 95, 772; Volvenko 2016 (citations at 127, 130).

⁵² Tatishchev 1903, 75, 83; Litovskii vestnik 1837, no. 44 (1 June 1837), 344; no. 60 (27 July 1837), 483.

the country's largest factories some 160 km off the heir's main route — and even descended more than 75 meters into a malachite mine (where, incidentally, Russia's first industrial railway was already functioning). The next day he checked out armaments factories even further north, and a gold mine in the environs of Ekaterinburg⁵³.

In all, then, the heir saw multiple dimensions of the country. Though the party moved too quickly to investigate any place intimately, many of the country's fundamental attributes — the diversity of its towns, peoples, and religions; its history and industry; its mud and swollen rivers — revealed themselves on this epic tour. Yet one major feature of Russian life largely evaded attention or at least commentary: serfdom. True, the heir reported to his father on crown peasants — serfs of the imperial family itself — who had endured the imposition of a new administration⁵⁴. But unlike an earlier (allegorical) travelogue that openly confronted serfdom's evil — Alexander Radishchev's famous «Journey from Petersburg to Moscow» (1790) — the accounts here had virtually nothing to say on the matter, even indirectly. For the moment, at least, servile labor remained a given, though it is noteworthy that precisely this ruler, the future Alexander II, would initiate the abolition of serfdom within the first years of his reign. Perhaps his journey somehow helped to convince him of that necessity?

Celebrity and Emotion

For most towns and settlements, the visit was a huge affair. For example, no Romanov since Peter the Great had visited the town of Kasimov, which was accordingly ecstatic to receive the heir. A letter from Izhevsk indicated what such a visit meant: as the day arrived, each resident came alive with the thought: “He'll be here today! We will see Him! The poetry of those words is clear to everyone, in particular to the residents of distant towns, where such an occurrence is a bright page, a [whole] epoch for placid provincial life”. Voronezh couldn't believe its luck in welcoming both the prince and his mother, along with grand princess Maria Nikolaevna: “1837 will never be forgotten by the residents of Voronezh”⁵⁵.

The visit had special resonance for Siberia. “This event”, wrote the governor-general, “is most memorable for our region and is unique in its chronicles from the time of its joining with Russia”. Everywhere on his route through Siberia, wrote the civil governor, “the Heir was accompanied by crowds of people, even on the roads, out of a strong aspiration to delight in seeing His High Person with their own eyes”. Zhukovskii's diary concurs: “People are gathering from all directions”, it recorded about the road leading to Tiumen'⁵⁶. Because only Siberia had been deprived of this attention for a quarter-millennium, wrote a celebratory account, “no part of Russia recalls with such rapture or exhibits gratitude with such burning zeal for the visit of the Heir to the Throne, as does massive, thinly populated, and distant Siberia”. Every one of the several days in 1837 when young Alexander was present “contained a year's worth of expectation and hope, every morning the residents of Siberia hurried to find out and debate about the approaching great event, unprecedented for Siberia”. On the appointed day, 31 May, the residents of Tiumen' and outlying settlements, “Russians and Tatars, Christians and Mohammedans, rushed out, hurried out to the road that was to be sanctified by the Sovereign Heir's procession”. The heir himself sensed something distinct about his reception in Siberia. From Tobol'sk, he wrote to his father, “The delight with which they have received me everywhere here has definitely struck me. The joy is genuine, on all faces one can see the feeling of gratitude to their Sovereign for not forgetting his distant subjects”. And in a phrase that was widely reported (and repeated) in the press, the heir noted of Siberia's residents, “They say that until now Siberia has been a distinct country and has now become Russia”. The author

⁵³ Litovskii vestnik 1837, 4 June, no. 45, 354–355; 22 June, no. 50, 396; 25 June, no. 51, 403; 6 July, no. 54, 431; Zakharova 1999, 44–47 (citations at 44 and 47), 89.

⁵⁴ Zakharova 1999, 74, 76.

⁵⁵ Mansurov 1888, 476; Litovskii vestnik 1837, 6 July, no. 54, 430; 14 Sept, no. 74, 596.

⁵⁶ RGIA, f. 1281, op. 3 (1838), d. 117, l. 19; RGIA, “O puteshestvii”, l. 417 ob.; Dnevnik 1902, 319.

of the celebratory account cited above concurred: the visit showed that for the emperor “the residents of Siberia and Russia constitute one indestructible link and that in his concern for the well-being of his subjects there is no distinction between the one country and the other”⁵⁷.

Virtually everywhere, the entourage encountered huge crowds eager to behold the tsarevich. In Iaroslavl', as the suite cruised along the Volga, “hundreds of small boats full of men and women darted around the Grand Prince’s cutter, covering the Volga over a large expanse. Tens of thousands of people covered the high bank of the Volga”. A similar scene unfolded on the Kama River in Perm', with “thousands of small boats” carrying the town’s residents “in their holiday attire” and encircling the heir’s cutter. In Kasimov, too, crowds encircled the heir on one side of the river as his carriage made its way through town and then got on boats to enclose him as a “dense wall” on the other side as well⁵⁸. Exceptional crowds appeared in Kostroma, where the heir arrived on the shore of the Volga and “could hardly make it to his carriage, and his carriage could hardly make it through the impenetrable crowd to the cathedral”. “Frequently, pathetic female cries and moans mingle with incessant ‘hurrahs!’”. The heir recounted that as he crossed the Volga “the people greeted me with incredible enthusiasm, many went into the water up to their waists, men and women alike”. A stroll in a Kostroma garden with finer society was overrun by “riff-raff”: “The people — men and women, old and young — climbed across the fence and inundated them”. One witness remarked of the scene in Kostroma: “The city filled in from all environs; the whole crowd squeezed in as if on Noah’s Ark... I have never seen such commotion in my entire life. That whole mass of people was burning with amazing enthusiasm”. In Perm', the wooden sidewalks cracked apart under the weight of crowds running to the town’s cathedral with hopes of seeing the heir. Tula received “an incredible confluence of people”, with whole streets appearing “as a sea of heads, animated by the single desire to get a glance of the Sovereign Traveler”. A “sea of heads” agitated before the heir’s quarters in Murom as well. In Kazan', in order to see the prince, Russians and Tatars “climbed by throngs into big trees, pushing and shoving in such a way that some fell from their aerial engagements”. Simbirsk, Iur'evich wrote, “was boiling today with popular, Russian, genuine Russian love for its Guest; we in effect had to fight with that love” to get in and out of the churches. And whereas to a point men had been the larger source of such thronging, in some places women produced such a crush, recounted Iur'evich, “that I will long remember the fair sex in Saratov and especially Penza upon the Grand Prince’s exit from church: a genuine battle!”⁵⁹.

At points local enthusiasm produced physical danger. Recounting the unprecedented “frenzy” with which the residents of the upper Volga town of Kaliazin greeted him, Alexander recalled as he prepared to cross the river, “So many people assembled that the ferry began to submerge in the water, so I decisively thanked God when I had gotten out of that frightful Kaliazin”. Commenting more generally on the phenomenon of crowds, Iur'evich wrote, “One cannot describe the terror, I think one can say, with which the people here [Kostroma] and everywhere on our path throng towards the Grand Prince. The challenge is to get just a half-step away from them — any more than this is impossible; and our poor bodies and legs will long remember Russia’s love and attachment to the tsarist heir”. The suite sometimes looked forward to the travel through the forest, “where there are fewer people”⁶⁰.

People could not get enough of their tsarevich. In Tver' and Perm', enraptured subjects stood night and day beneath the windows of his quarters, ever hopeful that he would show himself again. In Tiumen', the square where the heir received bread and salt upon his arrival “was completely full of people, crowding to the point that all windows, balconies, all roofs and

⁵⁷ *Rastorguev* 1841, 3, 7, 8, 31; *Zakharova* 1999, 52–53; *Odesskii vestnik* 1837, 5 June, no. 53, 621; *Litovskii vestnik* 1837, 13 July, no. 56, 450.

⁵⁸ *Dorozhnye pis'ma* 1887, no. 4, 444; *Mansurov* 1888, 477; *Me'nikov* 1898 367.

⁵⁹ *Dorozhnye pis'ma* 1887, no. 4, 446, 449; no. 5, 54, 56; *Zakharova* 1999, 38; *Dmitriev* 1887, 5; RGIA, “O puteshestvii”, l. 446 ob; *Kornilov* 1884, 145; *Dobrynkin* 1883, 19 Aug, no. 33, 2.

⁶⁰ *Zakharova* 1999, 34; *Dorozhnye pis'ma* 1887, no. 4, 446, 448.

buildings, all fences — in a word, everywhere one could stand and everything one could hold on to was covered by people”. Yet Zhukovskii insisted that this was not slavishness. Describing popular enthusiasm in the upper Volga region, he remarked that in the crowd’s expression “there was not a trace of fawning; on the contrary, there was a kind of pure-hearted feeling, instilled by ancestors and preserved as a pure and holy tradition by descendants”. In Siberia his diary tersely recorded “three nuances” characterizing the people’s meeting with the heir: “sincerity, simple curiosity, gratitude”⁶¹.

Popular devotion was intense. Bells greeted the heir in each city. People loudly yelled “hooray!”. In many places people fell to their knees in greeting. Muslims yelled “Allah!” (“signifying by this their prayer for the Sovereign”). As the party left Zlatoust to loud cries of “hooray”, the daughters of German master tradesmen spread flowers on the road before them. When the prince sought to depart Poltava, a military regiment of Caucasus mountaineers “threw themselves behind him as an entire regiment” and offered performative horse-riding and shooting around his carriage for another 2 km, until they finally received the order to return to the city. In Novgorod, as the heir landed after crossing the river from the Iur’ev monastery on the opposite shore, the people, “in joyous rapture and not knowing how to express it”, started to unhitch the horses from the prince’s carriage with the idea of pulling it themselves, “but they were stopped by HIS HIGHNESS’s expression, with gracious thanks, of the desire that they not do this”. The same occurred in Tver. In Kostroma the enthusiasm was so great that local police had to use fire hoses to control the crowd’s “wild rapture”⁶².

The tsarevich’s charm and charisma drove the enthusiasm. As Iur’evich described in the early stages of the tour, “Our Grand Prince delights us; it is amazing how he is able to charm people everywhere with his manner, his spontaneous courtesy, and his dignity”. A letter from Tver’ concurred: meeting with the nobility there, the heir “charmed [everyone] with His greeting and threw a seed of love and devotion into the heart of each”. In part it was the prince’s modesty, tinted with populism, that proved so winning. Nobles offered to serve as oarsmen for crossing the Volga to Kostroma, but when the prince learned that his father had relied on ordinary rowers, he did the same. Likewise in Murom, the prince chose a boat manned by city residents for the river crossing, leaving his suite to deploy a cutter with experienced sailors provided by ministry of transport. At a stop in Iaroslavl’ province, Alexander entered, not the fine house that had been prepared for him, but “the worst house of that village”, in which seven small peasant children were eating cabbage soup for lunch. The heir tried the soup himself and gave the father 150 rubles. The heir’s charm was captured musically in a polonaise composed by Mikhail Glinka for the prince’s visit to Smolensk in July: Alexander was “captivating Russians with tenderness”⁶³.

Displays of generosity also endeared subjects. In each province Alexander left money for the local poor and retired soldiers. There were also occasions for extraordinary expressions of munificence. In one case, the tsarevich’s entourage stopped to change horses, and when no one emerged from nearby houses to greet him, the heir went into two of the houses, asked some questions of the proprietresses, and then provided a pleasant shock (presumably) by giving each of them 50 rubles. In another case, encountering Votkiak women who typically attached coins to their ceremonial headwear and discovering that two of them had no money for this decoration, the heir gave each 10 rubles for that purpose. And at the Votkinsk factory, after participating in producing an anchor, the young Alexander gave the workers 1,000 rubles for vodka, which surely aided the cause of popular monarchism in this corner of Russia. The heir

⁶¹ *Meĭnikov* 1898, 367; *Litovskii vestnik* 1837, 4 June, no. 45, 354; *Rastorguev* 1841, 11; *Tatishchev* 1903, 76; *Dnevnik* 1902, 319.

⁶² *Litovskii vestnik* 1837, 18 May, no. 40, 314; 4 June, no. 45, 354; 6 July, no. 54, 429; 13 July, no. 56, 450; *Kornilov* 1884, 145; RGIA, “O puteshestvii”, l. 288–288 ob., 507 ob.–508.

⁶³ *Dorozhnye pis’ma* 1887, no. 4, 447; *Litovskii vestnik* 1837, 4 June, no. 45, 354, 356; 24 Aug., no. 68, 550; *Tatishchev* 1903, 78; RGIA, “O puteshestvii”, l. 340, 358 ob.; *Dobrynkin* 1883, 2; *Wortman* 1995, 333.

gave out various gifts — gold watches, rings, snuff-boxes, etc. — to local dignitaries or those who provided services or lodging. Whole towns could benefit. Within a month of the heir's visit to Vladimir, the city was granted special tax advantages for ten years designed to attract agents of trade and industry, presumably (in part) because the young Alexander had reported that the city “was among the poorest in its own province”⁶⁴.

In all of this, the heir's trip produced a tremendous outpouring of emotion. The heir cut an entirely different figure from that of his father, as Herzen recounted based on their encounter in Viatka: “The heir's expression had none of that narrow severity, that cold, merciless cruelty which was characteristic of his father”. He instead inspired love, tenderness, and rapture. A “letter from Tver” reported, “The eyes of all present were directed to the Tsarevich and filled with tears of joy, reading on His face a pledge for all that is beautiful and elevated”. In Tobol'sk, the governor reported, “I myself was a witness of the tenderness and tears with which prayers were lifted to the Almighty for having granted a successful trip to His Highness”. In Kostroma, by one account, “All the ladies melted from tenderness”, while old folks, having “masterfully” used “squeals and elbows” to secure a place on the square, “poured out enough tears that I think they could have washed all the dust off the square had they not dried their eyes with handkerchiefs”. In Viatka, “the rapture was indescribable... Tears of tenderness sparkled in many eyes”. Such feelings were mutual, as the heir expressed growing attachment to the country he would rule. Already in Tver', just days into the trip, he noted the “amazing joy” with which the local population greeted him, and asked rhetorically, “After this how can one not love and not respect our kind Russian people?”⁶⁵. These emotions — especially those of “rapture” and “tenderness” [*vostorg* and *umilenie*] — were emerging as core rhetorical resources for a regime determined to focus charismatic endearment on the institution of monarchy as an antidote to constitutional schemes like those advanced by the Decembrists. Rooted in Orthodox religious discourse, they offered popular grounding for monarchical rule and were most pronounced in events and ceremonies involving the heir⁶⁶.

A striking feature of the heir's journey was its coverage in a periodic press eager to enhance the aura of celebrity surrounding the young prince. “Northern Bee”, a mouthpiece for the regime, was the most prominent organ in this regard, but other papers such as “St Petersburg News”, “Moscow News”, and “Russian Invalid” carried numerous articles on the matter as well. And though the so-called *gubernskie vedomosti* were only just about to appear, a small handful of papers in regional capitals, most prominently “Herald of Odessa” and “Lithuanian Herald”, carried news of the journey beyond the capital. For the most part, these regional papers reproduced materials from “Northern Bee” and similar papers, but in doing so they made information available to a wider circle of readers, and in the latter case the heir's tour was reported in Polish as well as Russian. Newspapers followed the journey extensively, allowing readers to know where the august traveller was each and every day, the raptures and ecstasy that he generated, and the various objects and sites that he encountered. They also instructed readers on the meaning of the heir himself — his status as a “pledge” for the future and the country's “hope” — while also highlighting for the public Russia's achievements in trade and industry. In some manner, accounts of the travel introduced readers to the country in which they lived, since it highlighted and expounded on the meaning of the places on the heir's itinerary. At times, this coverage dominated the papers, representing *the* principal news item of the day. Indeed, the press made something of a cult of the heir. Reports from early in the trip also instructed those towns and people later on the itinerary how they were supposed to act when the prince arrived in their neck of the woods.

⁶⁴ Bekhterev 1881, 842, 845; Stromilov 1888, 18; PSZ 1838, vol. XII, no. 10530 (04 Sept. 1837), h. 737; Zakharova 1999, 110. See also: Dorozhnye pis'ma 1887, no. 5, 69.

⁶⁵ Gertsen 1919, 252; Litovskii vestnik 1837, 4 June, no. 45, 354; 22 June, no. 50, 397; RGIA, “O puteshestvii”, 409; Kornilov 1884, 145; Zakharova 1999, 31.

⁶⁶ Wortman 2017, 32–40.

A measure of the impact that the heir's trip had made is revealed by local efforts at preservation and commemoration. The town of Kasimov kept the cutter on which the heir sailed across the Oka River in a specially constructed pavilion, complete with an inscription written by Zhukovskii. The cup from which the heir had drunk tea in a nearby village also became the object of solicitous preservation. Tiumen' kept a similar cutter, featuring an inscription by the heir himself, his entire suite, and the lucky citizens of the city who accompanied him on his crossing of the Tura. In 1897, a resident of Slobodskoi (Viatka province) lamented that no objects had been preserved from the tsarevich's visit 60 years earlier and openly envied the town of Glazov, which had a cutter and a chapel with inscriptions "that every literate person reads! ...How important that is for nurturing children's patriotic feelings!" Nobles in several provinces meanwhile gathered money for charitable institutions as a mode of commemoration, and these were given billing in the press. Even elements of scam appeared. Herzen recounts that at one stop in Viatka province the tsarevich ate a peach and left the pit on the windowsill. A scheming local — "the district assessor, notoriously a dissolute character" — collected the pit and then cut the same out of five other peaches. Then "he approaches one of the most important ladies and offers her the pit, gnawed by royalty; the lady is in rapture. Then he approaches a second and a third: all are in ecstasy" — though of course "each doubts the genuineness of her own pit"⁶⁷.

Aspects of commemoration went even further. The citizens of Tiumen' declared the day of the heir's visit an annual city holiday that included processions, food, toasts, and fireworks. They named the town square where a Romanov first put his foot on Siberian soil after the heir: the Alexander Square. They christened as "Tsarist Street" the thoroughfare on which the heir made his entrance into the center of town. And they placed memorial inscriptions on buildings and rooms in any way connected with the visit. In Penza, local Lutherans, nearing the completion of a new church when the heir visited, acquired permission to call the new temple the Alexander Evangelical-Lutheran Church to commemorate the visit. Merchants in Tver' meanwhile sought to memorialize the heir's visit by sponsoring improvements to the city gates. The heir's "unforgettable trip", the local newspaper intoned, "will leave in Tver' an instructive recollection of itself in the city's beautification"⁶⁸.

Conclusion

As the heir arrived in Moscow in late July, with much travel still ahead, Metropolitan Filaret remarked to him that the trip "should leave you with wisdom encompassing the most enormous of the world's kingdoms". Had this occurred? Some expressed doubts about the trip's success. Zhukovskii had quarreled with the heir on several occasions along the way (the reasons are not clear) and also felt the trip had been too rushed. He later expressed dismay that his educational efforts had not been more successful. A young companion, Joseph Viel'gorskii, likewise reported somewhat cryptically that others were unhappy with the trip, in part because of its haste. A month after its completion, he related, the heir was thinking about the journey "as much as about the Chinese language"⁶⁹. But the emperor, for his part, discerned intellectual growth. "With pleasure I see", he wrote on 1 June, "that you view matters with curiosity, you feel their benefit for you, and you are getting used to assessing them properly". The close contact with Russia, the heir wrote, "is for me a most important and striking lesson, and I can truly say that I feel in myself a new strength to take up the occupation that God has designated for me". To one of his teachers at the end of the trip he reported, "With my own

⁶⁷ *Mansurov* 1888, 478; *Rastorguev* 1841, 10–11, 20, 23–24 (citation at 20); *Zamiatin* 1897, 7; *Litovskii vestnik* 1837, 30 Nov, no. 96, 779; 10 Dec., no. 99, 803; *Gertsen* 1919, 253.

⁶⁸ *Rastorguev* 1841, 19–30; *Penzenskie gubernskie vedomosti* 1838, 18 Feb., suppl. no. 7; 11 Mar., no. 10; *Tverskie gubernskie vedomosti* 1839, 25 Mar., no. 12, 98–99.

⁶⁹ *Litovskii vestnik* 1837, 13 Aug., 524; *Guzairov* 2017, 66, 70–71; *Wortman* 1995, 357; *Liamina* 1999, 237–238.

eyes and up-close I acquainted myself with Mother Russia and learned to love and respect her even more”⁷⁰.

In the end, the trip was significant for several principal reasons. First, it strengthened Nicholas’s dynastic scenario, by bringing the heir — a key representative of the imperial family and the country’s future ruler — into direct contact with his subjects. The dynasty had been profoundly threatened in 1825, so such steps to ensure a clean succession to Alexander II attained heightened significance. Second, the tour played a role in establishing key elements of Alexander’s rule. Indeed, his “scenario of love”, by which the monarchy claimed popular support without granting constitutional reforms, essentially began with the tour, which Zhukovskii described evocatively as a love affair between him and subjects culminating in “a national betrothal with Russia”. Alexander, remarks Richard Wortman, was “the first Russian heir brought up to believe that the people’s approval constituted an important moral basis of autocratic rule”. The tour served to reinforce that idea⁷¹. Third, the trip united diverse people and provinces in intense attachment to the future sovereign. Perhaps some were actually indifferent. But on the whole the evidence points to an extraordinary experience that was broadly shared by people in various parts of Russia’s vast empire. That common experience served to integrate and connect, especially given that, for all of the encounters with non-Russian peoples that the trip entailed, the journey concentrated on the ethnically Great Russian lands of the central provinces and western Siberia, and thus contributed to the nation’s emergence.

One final point of significance: Even if only superficially, the trip permitted both heir and reading subjects to discover Russia’s provinces in all their multifariousness. As chance would have it, a mighty instrument for that same purpose — *gubernskie vedomosti* — was just then in the midst of creation. On that momentous innovation and other curious episodes of the time, the author enjoins readers to consult his book, “1837: Russia’s Quiet Revolution”.

Figure 1. Route of Grand Prince Alexander Nikolaevich’s Tour, 1837. Map by Bill Nelson



⁷⁰ Zakharova 1999, 49, 137; Bekhterev 1881, 833.

⁷¹ Wortman 2017, 38; Wortman 1995, 346.

ACRONYMS

PSZ	<i>Polnoe sobranie zakonov Rossiiskoi Imperii</i> (Complete Collection of the Laws of the Russian Empire)
RGIA	<i>Rossiyskiy gosudarstvennyy istoricheskii arkhiv</i> (Russian State Historical Archive)

DISCLOSURE STATEMENT

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

ACKNOWLEDGEMENTS

This article represents a slightly modified version of chapter four of my book, *1837: Russia's Quiet Revolution* (Oxford University Press) © Paul W. Werth 2021. Reproduced with permission of the Licensor through PLSclear. For valuable comments and criticisms on earlier versions of this essay, the author thanks participants in a seminar discussion at the Jordan Center for the Advanced Study of Russia at New York University in September of 2018.

ARCHIVAL SOURCES

RGIA. Fond 1281 (Sovet ministra vnutrennikh del); Fond 1284 (Departament obshchikh del MVD). (In Russ.).

REFERENCES

- Dickinson, Sara. 2006. *Breaking Ground: Travel and National Culture in Russia from Peter I to the Era of Pushkin*. Amsterdam: Rodopi.
- Lounsbery, Anne. 2019. *Life is Elsewhere: Symbolic Geography in the Russian Provinces, 1800–1917*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Nikitenko, Aleksandr. 1975. *The Diary of a Russian Censor*. Translated and edited by Helen Saltz Jacobson. Amherst, MA: University of Massachusetts Press.
- Rebecchini, Damiano. 2014. “Reading with Maps, Prints, and Commonplace Books; or How the Poet V. A. Zhukovsky Taught Alexander II to Read Russia.” In *Reading in Russia: Practices of Reading and Literary Communication, 1730–1930*, edited by Damiano Rebecchini and Rafaella Vessena, 129–42. Milan: Di/segna.
- Smith-Peter, Susan. 2007. “Defining the Russian People: Konstantin Arsen’ev and Russian Statistics before 1861.” *History of Science* 45: 47–64. <https://doi.org/10.1177/007327530704500102>
- . 2018. *Imagining Russian Regions: Subnational Identity and Civil Society in Nineteenth-Century Russia*. Leiden: Brill.
- Wortman, Richard. 1995. *Scenarios of Power: Myth and Ceremony in Russian Monarchy*. Vol. 1. Princeton: Princeton University Press.
- . 2017. *The Power of Language and Rhetoric in Russian Political History: Charismatic Words from the 18th to the 21st Centuries*. London: Bloomsbury Academic.
- Bekhterev, N. P. 1881. “Vysochaishie poseshcheniia Viatskoi gubernii.” In *Stoletie Viatskoi Gubernii: Sbornik materialov k istorii Viatskogo kraia*, 819–52. Vol. 2. Viatka: Viat. gub. stat. kom. (In Russ.).
- Dmitriev, A. A. 1887. *Poseshchenie Permi naslednika tsesarovicha Aleksandra Nikolaevicha v 1837 g.* Kazan: Tipografiia gubernskogo pravlenia. (In Russ.).
- “Dnevnik V. A. Zhukovskogo.” 1902. *Russkaia starina* 110, no. 4: 289–320. (In Russ.).

- Dobrynkin, N. 1883. "Gosudar' Naslednik Tsesarevich Aleksandr Nikolaevich v gorode Murome v 1837 g." *Vladimirskie gubernskie vedomosti* 33, August 19, 1883. (In Russ.).
- "Dorozhnye pis'ma S. A. Iur'evicha vo vremia puteshestviia po Rossii Naslednika Tsesarevicha Aleksandra Nikolevicha v 1837 godu." 1887. *Russkii arkhiv* 4: 441–68; 5: 49–72; 6: 171–216. (In Russ.).
- Gertsen, A. I. 1919. *Polnoe sobranie sochinenii i pisem*. Edited by M. K. Lemke. Vol. 1. Petrograd: Lit.-izd. otd. Nar. kom. pros. (In Russ.).
- . 1969. *Byloe i dumy*. Vol. 1. Moscow: Khudozhestvennaia literatura. (In Russ.).
- Guzairov, T. 2017. "Stsenarii i nepredskazuemost': Vpechatleniia i razmyshleniia uchastnikov puteshestviia po Rossii 1837 g." *Imagologiya i komparativistika* 8: 62–83. (In Russ.). <https://doi.org/10.17223/24099554/8/4>
- Iudin, P. L. 1891. "Tsesarevich Aleksandr Nikolaevich v Orenburgskom krae v 1837 godu." *Istoricheskii vestnik* 46: 172–82. (In Russ.).
- Kornilov, A. P. 1884. *Pis'ma A. P. Kornilova, 1834–1845 gg.* St. Petersburg: Tipografiia V. Kirshbauma. (In Russ.).
- Liamina, E. E., Samover, N. V. 1999. *Bednyi Zhozef: Zhizn' i smert' Iosifa Viel'gorskogo*. Moscow: Iazyki russkoi kultury. (In Russ.).
- Mansurov, A. 1888. "Naslednik Tsesarevich Aleksandr Nikolaevich v gorode Kasimove v 1837 godu." *Russkii arkhiv* 2: 476–79. (In Russ.).
- Marshrut dlia Ego Imperatorskogo Vysochestva Gosudaria Naslednika Tsesarevicha. 1837.* St. Petersburg: Voennaia tipografiia. (In Russ.).
- Mel'nikov, P. I. 1898. "Dorozhnye zapiski na puti iz Tambovskoi gubernii v Sibir". In *Polnoe sobranie sochinenii P. I. Mel'nikova (Andreia Pecherskogo)*, 139–69. Vol. 12. St. Petersburg: T-vo M.O. Vol'f. (In Russ.).
- Murav'ev, A. N. 1838. *Vospominania o poseshchenii sviatyni Moskovskoi Gosudarem Naslednikom*. St. Petersburg: Tipografiia III Otdeleniia Sobstvennoi Ego Imperatorskogo Velichestva Kanselaiarii. (In Russ.).
- Garan'kin, Iu. D., ed. 1999. *Orenburgskii gubernator Vasiliia Alekseevich Perovskii: Dokumenty, pis'ma, vospominaniia*. Orenburg: Kn. izd-vo. (In Russ.).
- Pertsik, E. N. 1960. *K. I. Arsen'ev i ego raboty po raionirovaniu Rossii*. Moscow: Geografiz. (In Russ.).
- "Pis'mo iz Tveri." 1837. *Litovskii vestnik*, 4 June, 1837. (In Russ.).
- Pogodin, M. P. 1846. *Istoriko-kriticheskie otryvki*. Bk. 1. Moscow: Tipografiia Avgusta Semionova. (In Russ.).
- Polnoe sobranie zakonov Rossiiskoi Imperii: Vtoroe sobranie. 1838.* Vol. XII, no. 10530 (04 Sept. 1837). St. Petersburg: Tipografiia II Otdeleniia Sobstvennoi Ego Imperatorskogo Velichestva Kanselaiarii. (In Russ.).
- Potapova, N. D. 2017. *Tribuny syrykh kazematov: Politika i diskursivnye strategii v dele dekabristov*. St. Petersburg: Izdatel'stvo Evropeiskogo Universiteta. (In Russ.).
- "Puteshestvie Ego Imperatorskogo Vysochestva Velikogo Kniazia Nikolaia Pavlovicha po Rossii i za granitse, 1816–1817." 1877. *Russkii arkhiv* 2: 182–205. (In Russ.).
- Rastorguev, E. I. 1841. *Poseshchenie Sibiri v 1837 godu Ego Imperatorskim Vysochestvom Naslednikom Tsesarevichem*. St. Petersburg: Tipografiia H. Gintse. (In Russ.).
- Rebecchini, D. 2013. "V. A. Zhukovskii i biblioteka prestolonaslednika Aleksandra Nikolaevicha, 1828–1837." In *Zhukovskii: Issledovaniia i materialy*, edited by A. S. Ianushkevich, 77–136. Vol. 2. Tomsk: Izdatel'stvo Tomskogo Universiteta. (In Russ.).
- Stromilov, N. S. 1888. *Puteshestvie gosudaria naslednika tsesarevicha Aleksandra Nikolaevicha po Vladimirskoi gubernii v 1837 godu*. Vladimir: Tipografiia Vladimirskogo gubernskogo pravleniia. (In Russ.).
- Tatishchev, S. S. 1903. *Imperator Aleksandr II: Ego zhizn' i tsarstvovanie*. Vol. 1. St. Petersburg: A. S. Suvorin. (In Russ.).

- Volvenko, A. A. 2016. “Svedeniia o poseshchenii v 1837 g. Voiska Donskogo”. *Vestnik arkhivista* 3: 121–33. (In Russ.).
- Ukazanie vazhneishikh primchatel'nostei na puti Ego Imperatorskogo Vysochestva Gosudaria Naslednika Tsesarevich. 1837*. St. Petersburg: Voennaia tipografiia. (In Russ.).
- Zakharova, L. G., and Tiutiunik L. I., eds. 1999. *Venchanie s Rossiei: Perepiska Velikogo Kniazia Aleksandra Nikolaevicha s Imperatorom Nikolaem I*. Moscow: Izdatel'stvo Moskovskogo Universiteta. (In Russ.).
- Zamiatin, A. A. 1897. *Shestidesiatiletie so vremeni poseshcheniia g. Slobodskogo gosudarem imperatorom Aleksandrom II Nikolaevichom, buduchi eshche naslednikom prestola*. Viatka: Gubernskaia tipografiia. (In Russ.).
- Zotov, R. M. 1857. *Tridtsatiletie Evropy v tsarstvovanie Nikolaia I*. Pt. 1. St. Petersburg: Tipografiia Iu. Schtaufa. (In Russ.).

Научная статья

Во плоти: большое путешествие цесаревича Александра Николаевича в 1837 году

Пол ВЕРТ

Невадский университет в Лас-Вегасе, Невада, США

АННОТАЦИЯ

Для того чтобы познакомить своего сына со страной, над которой он должен был впоследствии царствовать, император Николай I устроил для него длинное путешествие, охватившее немалую часть Российской империи и простёршееся почти на 20 000 км. Путешествие наследника потребовало серьезного планирования и вызвало яркие эмоции со стороны населения страны и самого цесаревича. Эта поездка подарила подданным возможность личного контакта с русской монархией. Для многих людей в разных частях империи 1837 год стал незабываемым именно потому, что они увидели наследника престола во плоти.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр II, Николай I, Василий Жуковский, балы, нерусские, Сибирь, эмоция

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Верт П. Во плоти: большое путешествие цесаревича Александра Николаевича в 1837 г. // *History HSE*. 2022. № 1. С. 82–101.

ПОСТУПЛЕНИЕ СТАТЬИ: 01.06.2021 | **ПРИНЯТИЕ К ПУБЛИКАЦИИ:** 17.10.2021

ЗАЯВЛЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Article

A Courtier's Services near the Battlefield: Count Alexander Adlerberg as Empress Maria Aleksandrovna's Epistolary Confidant amid the Russo-Turkish War of 1877–1878

MIKHAIL DOLBILOV

Department of History, University of Maryland — College Park, USA

ABSTRACT

The article's protagonist is Alexander II's minister of the imperial court Count Alexander Vladimirovich Adlerberg, a statesman whose services within the imperial administration comprised a range of official duties and informal assignments related to the ruling house's prestige and charisma. The focus is on his role as a confidential correspondent of Empress Maria Aleksandrovna, a royal figure whose political weight has been underestimated by historians. Maintained over years, the correspondence between courtier and consort assumed an added importance during the Russo-Turkish war in 1877. Adlerberg, who remained at the emperor's side near the frontline in the Balkans, sought to convey, his courtly conformity notwithstanding, his principled preoccupation with what he saw as the monarchy's embrace of Pan-Slavist nationalistic expansionism (a development signified by Alexander II's physical presence in the fighting army). He was also instrumental in handling the significant controversy that arose within the emperor's intimate circle over the Russian failures at Plevna in the summer of 1877. The article relates Adlerberg's delicate mediation between the increasingly estranged crowned spouses to the Romanov dynasty's subculture of devotional loyalty, in which a devotee's pronounced subservience itself could amount to taking a political stance.

KEYWORDS: The Russian Empire, the Russo-Turkish War of 1877–1878, political loyalty, imperial court under Alexander II, private correspondence of the 19th-century Russian elite

FOR CITATION: Dolbilov, Mikhail. 2022. "A Courtier's Services near the Battlefield: Count Alexander Adlerberg as Empress Maria Aleksandrovna's Epistolary Confidant amid the Russo-Turkish War of 1877–1878." *History HSE* 1: 102–136.

SUBMITTED: 15.09.2021 | **ACCEPTED FOR PUBLICATION:** 04.11.2021

A bloody battle
 With a strong power,
 It's what the tsar was planning on.
 "Will our dear little strength be enough?
 Will the gold be enough?" —
 He was thinking and guessing.

N. A. Nekrasov, "Rus", an 1876 version
 "for censorship"¹

Introduction: Empress and Courtier

The Russian Empire's engagement in the vagaries of the "Eastern Question" in 1875–1878, apart from backfiring to cause a major domestic crisis, was marked by dynastic turmoil and mismanagement. In fact, the Russian-Ottoman war of 1877–1878 was the first imperial war waged with the participation of a significant group of the dynasty's members, as by that time the populous generation of Nicholas I's grandchildren was coming of age and emerging at the forefront of the politics of monarchy². Beginning with public reactions to the uprisings in the Herzegovinian and Bulgarian territories and the ensuing Serbian-Ottoman war, passions over the "Slavic cause" brought into sharp relief and even exacerbated the political and generational rifts within the dynasty. Not accidentally, the war of 1877–1878 itself was labeled as a war for grand dukes, implying that military planning and operations suffered from leaders' pandering to the whims of individual members of the ruling house (and the ruler himself). One could add that it was a war of grand dukes competing for status in an informal hierarchy within the expanding imperial clan. The eldest of Alexander II's younger brothers Grand Duke Constantine Nikolaevich, the only senior male member of the house who did not happen to go to that war but had no lesser ego than those who did, was reported to have sardonically christened the campaign a "Romanov picnic (*romanovskii piknik*)"³.

At the same time, to be a visible august presence in the theater of war lent royals a certain modern glow, one that went beyond the realm of the dynasty's traditional prestige. The emperor himself, his brothers, sons, and nephews sought to claim their contribution to a war that had been preceded in Russia's educated society by an impressive surge of pan-Slavist sentiment and eventually declared, in April 1877, as a *national* cause destined not only to defeat the "Turks" but also to liberate the Slavic "brethren". More than one contemporaneous observer, including the still-to-be-introduced protagonist of this essay, pointed out that Alexander II,

¹ "Битву кровавую / С сильной державою / Царь замышлял. / "Хватит ли силушки? / Хватит ли золота?" — / Думал, гадал". These are the opening lines of Nekrasov's famous verse, or "song", "Rus" from the concluding part of the poem "Komu na Rusi zhit' khorosho", as they appear in that part's 1876 manuscript for typesetting. Empress Maria copied them, alongside the rest of the yet unpublished verse, into her album on 1 October 1876 in Livadia (GARF, f. 728, op. 1, d. 3242 [no pagination]) — at the time and place of intense debates that eventually directed Alexander II toward a military resolution of the Balkan crisis. On his part, the terminally ill Nekrasov, who was then staying nearby, in Yalta, had attached these lines to the already finished stanzas in an attempt to deflect the censors' attention from the poem's radical overtones (see: *Nekrasov* 1982, 608–609, 667, 671–672). Though the trick did not work with the censors, the empress, whom "Rus" was quick to reach in manuscript form (most probably through this essay's protagonist, A. V. Adlerberg, or the imperial couple's physician S. P. Botkin, both good acquaintances of Nekrasov's), must have been impressed by the motif of a brooding tsar, as she herself was a factor behind Alexander's real ruminations.

² See the perceptive remarks on how "the phenomenon of the grand dukes made its appearance" under Alexander II: *Rieber* 2017, 9.

³ As shared confidentially by one of Alexander II's youngest sons, Sergei, with his eldest brother, Grand Duke and Heir Alexander Aleksandrovich: GARF, f. 677, op. 1, d. 994, l. 30 (Sergei's letter to Alexander of 5 November 1877). The same zinger, even if unattributed, is cited in the diary of Grand Duke Constantine's own aide-de-camp, Alexander Kireev, a beady-eyed commentator of the politics of the time: OR RGB, f. 126, k. 7, l. 84 ob.–85 (entry of 13 October 1877).

who, privately, had never shown much sympathy with the plight of the Balkan Slavs, was craving in that campaign a prominence for the Romanovs comparable to that of his uncle Wilhelm I and other members of the house of Hohenzollern in Prussia's defeat of France back in 1870⁴. In a sense, the Romanovs came to the Eastern Balkans for a Russian Sedan victory, a briskly modern military triumph presided over by the venerable monarch himself, inasmuch as the newly motivated extension of Russian imperial influence into the Ottoman-ruled lands could emulate the establishment of a nationally consolidated empire of the Germans. Understood this way, the ruling family's over-representation at the frontline (or, in the case of Alexander, a little behind it) was to enhance the patriotic cast of the war, rather than to wage it as a family business.

What about, though, the women of the house? A dynastic figure largely neglected in historical analyses of the imperial elite's politicization in conjunction with the Balkan entanglements is Empress Maria Aleksandrovna, Alexander II's wife, née Princess Maximiliane Wilhelmine Auguste Sophie Marie of Hesse and by Rhine. Her image as a religious, doleful, and secluded tsarina seems to have shaped much in later narratives about her⁵. Although Maria's Pan-Slavist sympathies and her popularity with the respective milieu in Russia are well-known to historians, few of them have credited her with a part of her own in imperial policy-making of the time⁶. What is usually emphasized in this regard is the influence of Maria's neophyte-style Orthodox religiosity, nationalist sentiment, and moral austerity on her son, Alexander II's heir, the future Alexander III⁷. Consequently, the growing tension within the ruling family in those years has been addressed first of all from the perspective of a variance between father and son in their attitudes toward nationalism, as well as reformism.

Another reason behind Maria's obscurity in historical works is also related to the power of mainstream narratives harkening back to memoirists' accounts. A fascinating prism through which to view the last decade of Alexander II's reign has long been his ongoing relationship with Princess Ekaterina Mikhailovna Dolgorukova, who later became hismorganatic wife for seven months. The very notion of the aging emperor's ongoing love affair suggests the personal and, by extension, political insignificance of his lawful wife⁸. Thus, the figure of Empress Maria can now serve in historiography as a good example of a subaltern voice (or a voice rendered so by later narratives) at the core of an imperial elite.

As my ongoing inquiry into the corpuses of dynastic and, so to say, circum-dynastic correspondence suggests, Maria was more than a subaltern voice in the dynasty. Her withdrawal in the 1870s from much of the previous publicity and the larger pageantry of the imperial court did not preclude her from enjoying a measure of political clout. It is easy to overlook, since in her practices of exerting influence she relied on unpublicized ties of personal allegiance and friendship. There was an intimate circle of women and men fervently loyal to her (and, for all her mournful air, she was able to smile, laugh, joke, and even curse), but few outsiders had an occasion to witness manifestations of this loyalty⁹.

⁴ Of this opinion was, for instance, one of the shapers of St. Petersburg's foreign policy toward the Balkans (not a warmonger, though), ambassador to Constantinople General N. P. Ignat'ev: *Ignat'ev 1999*, 133–134 (Ignat'ev's letter to his wife, 15–16 July 1877).

⁵ A telling example is the official biography of Maria from her childhood through the end of Nicholas I's reign authored by the tutor of the imperial couple's youngest sons Admiral D. S. Arsen'ev — a eulogistic compilation that remained unpublished until recently: *Arsen'ev 2018*.

⁶ The classic Russian-language study of the 1860–1870s Pan-Slavist movement focuses on the Slavic Benevolent Committees and tends to underestimate a major role played by the “governmental” sector of the movement (exaggerating instead the radical populists' interest in the Slavic question): *Nikitin 1960*, 260–342. Several recent works seek to redress the balance by addressing the contribution of diplomats and the debates within the top bureaucracy: *Khevrolina 2004*; *Mamonov 2004*; *Vovchenko 2016*, 145–213. Still, the female “half” of the Pan-Slavist-minded elite has not yet received its share of attention.

⁷ *Wortman 2000*, vol. 2, 114–115, 118–119, 179.

⁸ See an insightful observation as regards Maria in the recent study of the emperor's romance: *Safronova 2017*, 146.

⁹ A vivid description of the empress's intimate circle by a knowledgeable memoirist can be found in: *Sheremetev 2004*, 66–74, 116–120.

Moreover, until her terminal illness in early 1880, Maria maintained regular correspondence with her husband during all the periods (occurring frequently in the 1870s, some of them lasting quite long) when they lived apart, one staying in St. Petersburg and the other traveling, or both traveling to different destinations. A degree of estrangement and the strictly unnamable yet haunting ghost of Alexander's second family certainly affected this communication — and we will soon see who helped them understand one another better in this phase of their marriage — but, overall, the spouses were able and willing to discuss a range of matters, including those of domestic and international politics. In their letters, written all but concluding goodbyes in French, they addressed each other in second person singular (as, obviously, they also did in Russian). There were some matters on which Maria felt entitled to pronounce far stronger opinions than on others. Such were especially the issues of relationships within the clan, with a stress on matrimonial projects, morality, and reputation. When disagreeing with the emperor on politics, she hardly spoke out in a confident fashion, resorting instead to insinuation. In particular, she did more in 1876 than her like-minded son, heir Alexander Aleksandrovich, to heighten the hesitating emperor's exposure to the pressure of Pan-Slavist sentiment in educated society.

In this article, Maria emerges mostly as the addressee of an extensive, and quite peculiar, epistolary habit, whereas the focus is on the writer himself, Minister of the Imperial Court, Aide-de-Camp General Count Alexander Vladimirovich Adlerberg. Fifty-nine in 1877 (as was the emperor), six years older than Maria, he “inherited” this key ministry in 1870 from his father, Vladimir Fedorovich, in the office since 1852; altogether, they successively ran the ministry for almost thirty years. Both Adlerbergs exemplify a certain service ethos and personal fealty — a mixture that (in father more, in son less) had to do with their Baltic German descent¹⁰. Their ministry had to manage the emperor's personae as, in equal measure, monarch and head of the ruling family and was therefore involved in a range of private-cum-public matters related to the house of Romanov's charisma and prestige¹¹.

Alleged to be on friendly terms with Alexander II (an exaggeration for the years following the latter's enthronement)¹², Adlerberg Jr. for years, in part formally, in (larger) part tacitly, combined the functions of director of personal secretariat, factotum, ghostwriter, and calligrapher of the emperor, a one-man institution of sorts¹³. He composed correspondence for Alexander, including some semi-private epistles¹⁴; interconnected members of the ruling house by means of exchanging letters, on his own but openly on behalf of the emperor, with those of them who were far away from St. Petersburg¹⁵; and provided troubleshooting services in cases of marital, reputational, or financial predicaments within the rapidly sprawling dynasty. Despite — or perhaps precisely because of — all this, he never was part of a politically colored grouping among Alexander II's highest servitors, who were often divided by controversies over the reformist policies of the time, even though he tended to lean more toward the so-called “aristocratic party” than to the architects of the Great Reforms such as the war minister Dmitrii Alekseevich Miliutin.

¹⁰ For the service records of both father and son, see: *Shilov* 2002, 36–44.

¹¹ See a brief yet insightful account of each Adlerberg's personality and ministerial activities with a focus on how they handled the so-called “court” censorship: *Grigor'ev* 2007, 272–291.

¹² *Sheremetev* 2004, 147–149, 153.

¹³ He was not a very efficient manager of his complex and unwieldy ministry, with so many disjointed departments (see, e.g.: *Krivenko* 2006, 156–157), precisely because the less institutionalized part of his vast responsibilities was very time-consuming.

¹⁴ See drafts, in Adlerberg's hand, of Alexander II's letters to the viceroy of the Caucasus, Grand Duke Michael Nikolaevich (the emperor's youngest brother) and to General E. I. Tottleben, commander in chief of the Russian army deployed in the Balkans after the 1878 victory over the Ottomans: RGIA, f. 1614, op. 1, d. 409, 410.

¹⁵ See, e.g., his correspondence with Alexander II's sister, Queen of Wurttemberg Olga: RGIA, f. 1614, op. 1, d. 326, 399. Of Adlerberg's correspondence with another sister of the emperor, Grand Duchess Maria, and Grand Duke Michael Nikolaevich, as it seems, only his addressees' parts survived: *Ibid.*, d. 318, 323.

A number of memoirists noted Adlerberg's talents with a pen¹⁶, but historians have made no attempt to verify this claim. Meanwhile, evidence is far from missing. For years, beginning in 1865 (the year of a shattering tragedy in the dynasty — the death of the young Grand Duke Nicholas Aleksandrovich, the then heir), alongside his enormous paperwork for the emperor, Adlerberg maintained a private correspondence with Empress Maria, in French, on a plethora of matters¹⁷. While not unbeknownst to Alexander II, this communication went on free of his surveillance. Adlerberg's letters offered periodic interventions on behalf of the emperor on difficult political and family issues that probably could not be discussed by the imperial couple face-to-face or in their own correspondence. Maria's own letters to Adlerberg, in French as well, even though far more brief and less frequent than his, spoke more freely about her political aspirations and personal frustrations than those she wrote to Alexander. In sign-offs (in Russian), she used terms of endearment for him such as, for one, "my faithful old man". A less affectionate sobriquet, "grumbler"¹⁸, referred to Adlerberg's ventured disagreements with her. The subject of the emperor's second family with Dolgorukova was certainly taboo in the correspondence (as it was, most probably, in even the most confidential conversations)¹⁹, but this reality itself was no doubt one of the factors behind this mediated mode of communication between husband and wife.

As I argue elsewhere²⁰, Adlerberg's informal correspondence with Empress Maria was shaped and informed, to a large degree, by his mission — carried out both *ex officio* and from the heart — of overseeing her medical care. Given Maria's chronically grave pulmonary condition, her treatment was one of the ruling family's priorities throughout much of the 1860s and all the 1870s. Aside from supervising the imperial couple's personal doctors, Adlerberg developed a moral therapy of sorts, endeavoring to affect his crowned ward through sometimes unorthodox displays of his devotion to her as a mortal in flesh and blood, not just to her imperial persona. Here belong his repetitive, meddlesome, bitter reproaches (some of which are to be quoted in proper place below) for what he saw as Maria's neglect of her own health and, by extension, of the nagging anxieties her adulators — himself most spectacularly and vocally — had about it. Thus, the minister of the court in his capacity as a confidant was urging the empress to take her therapies seriously so as to reciprocate her subjects' sublime feelings of loyalty.

Even though Maria's health remained a major subject over years of correspondence, all that solicitous fussing, firstly, by no means boiled down to a devotee's pose (actually, for Adlerberg that constituted much of the very meaning of communicating) and, secondly, did have a distinctly political dimension. It is exactly in 1877 that both a war inspired by Russian Pan-Slavism and a relative remission of Maria's bronchial illness helped add to the topicality of Adlerberg's letters. Written at the Imperial Headquarters of the Danube army in the field over half a year, from late May through late November, the 1877 bundle of Adlerberg's epistles to

¹⁶ *Sheremetev 2004*, 153; *Tolstaia 1996*, 70–71.

¹⁷ It was maintained separately from Adlerberg's written communications to Maria in his capacity as minister of the court proper. The collection of copies made later by Adlerberg himself, which is currently not available in its entirety, contained 410 letters over about 4300 pages. The basis for this statement is the following: each of the preserved copies bears the letter's two numbers — one for an individual "season" (every or almost every separation of the correspondents, even a short one, made an epistolary season), the other for their total count. Thus far, I have been able to discover the bundles of copies for 1875–76, 1877, and 1879 (GARF, f. 728, op. 1, d. 3251, 3252, 3253a), as well as drafts for 1869, 1871–74, 1877, and 1878 (RGIA, f. 1614, op. 1, d. 390, 845, 846). More on the correspondence's textual history comes below.

¹⁸ "*Moi vernyi starik*": RGIA, f. 1614, op. 1, d. 817, l. 48ob. (Maria's letter, 11–12 June 1876). "Such an old grumbler", "*mon vieux grognon*", "*vorchun*" (the same nickname in English, French, and Russian within a single page): *Ibid.*, l. 30 ob. (13–14 June 1875).

¹⁹ The memoirist's remark on Maria's "heroic silence" about her husband's second family: *Tolstaia 1996*, 80–82.

²⁰ *Dolbilov M. Loyalty, Suffering, and the Mission of the Emperor's Alter Ego: Count Alexander Adlerberg as Caretaker to Alexander II's Wife* (unpublished essay).

the empress²¹ stands out within the vast corpus of published and unpublished diaries, personal correspondences, and memoirs on that war of imperial Russia's. While conceding to D. A. Miliutin's dry yet substantive diary²² in its grasp of military detail or to the letters of the prominent diplomat Nicholas Pavlovich Ignat'ev to his wife²³ in their ebullient, free style (both men stayed during that campaign at the Headquarters, too), Adlerberg's epistles offer unique insights into the nature of loyalty at the Romanov court at this moment.

If Maria worked hard to inspire the monarchy's embrace of a more nationalistic agenda in domestic and foreign affairs, her confidant found in the current belligerence, on the contrary, an added reason to cling to a set of beliefs and caveats he had been guided by in previous decades. Throughout his life, and especially since the mid-1860s, Adlerberg adhered to what Richard Wortman has called "the admonitory mode of state narrative" — a statesman's mindset that highlighted the empire's vulnerabilities and opposed "the celebratory-triumphalist mode"²⁴. Russia was not the only case in point. Remarkably, back in 1866, as is clear from his private letters written during the weeks of the fateful war between Austria and Prussia, Adlerberg rooted for the former, which epitomized for him the premise of dynastic conservatism challenged by a thrust of nation-centered expansionism associated with the latter (the Prussians' victory, he worried, would "only augment their claims, their hubris, and their impudence")²⁵. The premonitions of that kind he expressed to Alexander were echoed by another favorite of the emperor, Field Marshal Prince Alexander Ivanovich Bariatinskii, whose statements Adlerberg occasionally cited to the empress as well²⁶. Although the field marshal was a political has-been by the 1870s, for him and Adlerberg the time-tested principle of pessimism was a lawful counterweight to the new-fangled temptations of nationalism. In 1877, as will be discussed below in the essay, Adlerberg's signature fear of governmental overreach concentrated on the sensitive issue of the emperor's presence in a fighting army.

Furthermore, in the wartime letters of 1877, Adlerberg's singularly demanding loyalty found a new form of expression in the very way the correspondence was maintained. For the first few months of the campaign, he had been weaving, in fact, two threads of (semi-)private communication with Maria — a limited supply of more business-related, indispensable dispatches and a long progression of thoughtful, conversational letters he refrained from sending off for a while, just dropping hints at them in the released ones. Designed, as we will see, to evince a certain *mélange* of emotions, always connected to the issue of service and loyalty, this combination can be approached as a case study of how Russian imperial elites appropriated and employed the genres of letter- and ego-writing, in particular those influenced by the French literary canon²⁷. Adlerberg creatively modified the techniques of *epistolary diary* into a kind of, rather, *diaristic correspondence*, since being heard by the empress or, at least, having her know that he was talking to her on paper mattered more than introspective qualities of the entries still unshared, due to the fresh revelations they contained, but sure to ultimately reach the addressee.

More generally, many a letter of Adlerberg to Maria in 1877 offers an elucidating perspective on what Peter Holquist has dubbed "bureaucratic diaries" — a 19th-century type of ego-writing that served as "less a conscious device for self-fashioning than a means to justify one's professional career and to testify to one's role in the making of 'history'", an "*instrument* in

²¹ GARF, f. 728, op. 1, d. 3252, l. 1–435; d. 3253a, l. 20–26 ob.; the drafts of most of these letters: RGIA, f. 1614, op. 1, d. 845, l. 15–114; d. 846, l. 1–194.

²² *Miliutin 2009*.

²³ *Ignat'ev 1999*.

²⁴ *Wortman 2017*, 160–163.

²⁵ RGIA, f. 1614, op. 3, d. 32, l. 16, 17–17 ob., 18–19; quote — 17 ob. (Adlerberg's letters to his father, the then minister of the court V. F. Adlerberg, of 16, 17 and 18 June 1866; original in French).

²⁶ GARF, f. 728, op. 1, d. 3251, l. 156 ob.–158 ob. (letter to Maria of 22 May 1875); RGIA, f. 1614, op. 1, d. 846, l. 24 (draft letter of 8 June 1877).

²⁷ *Offord 2018*, 346–359.

cultivating, crafting and curating an identity as a 'statesman'²⁸. The word "curate", suggesting one keeping an eye toward posterity's remembrances, fits particularly neatly with the profile of Adlerberg the writer. As late as the 1880s, a few years after Maria's death, he painstakingly copied all of his more than four hundred letters to her, which copies eventually landed, as had most probably been his intention and will, at the Winter Palace library²⁹.

The present essay, focusing on the 1877 portion of Adlerberg and Maria's correspondence, proceeds from addressing it as a glimpse into a specific mode of written communication held within the crowned couple's intimate circle to probing its implications for the politics of monarchy. In this light, Adlerberg amounts to a more interesting and intriguing figure than just a bizarre devotee, a smarmy courtier ludicrously obsessed with the byzantine subtleties of his relations with royals in a time of rising challenges to the monarchy itself, as he may well appear to someone skimming over his epistles to the empress. Of the essay's subsequent seven sections, the first six tell a story of how Adlerberg's commitment to mediating between Alexander and Maria, ruler and consort, as well as a growing preoccupation with the campaign's course, forced him to introduce the empress to his bivouac epistles heretofore meant to remain undisclosed for some more time. The last section makes a case for Adlerberg's hidden political role by examining a controversy over the shocking Russian failures at Plevna in the summer of 1877 — an epistolary imbroglio that involved, among others, the emperor's wife and mistress (not, God forbid, in contact with each other) and required the same mediator's soothing touch.

"My Worship of You" vs. a Fascination with the Slavic Cause

The earliest available collection (preserved in drafts) of Adlerberg's letters to Maria known to me dates to 1869. By then, Adlerberg had known her for thirty years. In the fall of 1869, Maria suffered the first in a series of increasingly debilitating bouts with bronchitis and pneumonia. In a letter to his own wife, Adlerberg expressed concerns about a certain carelessness on the part of the emperor who refused to postpone his departure for St. Petersburg so as to stay longer in Crimean Livadia with the ailing empress³⁰. As early as the summer of 1869, amid the already arising anxiety about the empress's health, Adlerberg in one of his letters to Maria switched from French to Russian for an effusion that amounted to a fervent devotee's creed: "Believe me this is true that I am beside myself with happiness and delight caused by Your last letter. <...>. Believe me that I have nothing more precious in this world than Your words. Believe me that my devotion to You is boundless and that all my life ~~however insignificant it is~~³¹, all my happiness consist of this devotion to You and to the Sovereign. Do not blame me if I am too much taken with expressions that may sound to You like hackneyed phrases; You cannot doubt their sincerity and candor. You cannot be unaware of my worship of You (*Vy ne mozhete ne znat' moego k Vam obozhaniia*). <...> I don't understand why all the world, without exception, does not nurture the same feeling for You; yet, even if this were so, I think I would still surpass others in devotion to You and would certainly not cede this bliss to anybody"³².

To preclude any prurient conjecture, Adlerberg's affection for Maria hardly had anything to do with eroticism, unless quite platonic. Rather, his worship of the empress was of a chivalrous style, somewhat baffling in a post-romantic era. It can be explained as a courtier's code of conduct shaped by a persisting cultural legacy within the dynasty, the one associated with Maria's mother-in-law, Empress Alexandra Fedorovna, née Princess Charlotte of Prussia, who in 1818 had married the future Nicholas I. As argued by Richard Wortman and, more recently, by Ilya Vinitsky, the poet Vasilii Andreevich Zhukovskii, who served as a tutor to the young grand

²⁸ Holquist 2015, 213, 218.

²⁹ See my discussion of the correspondence's textual history in the section "Adlerberg's Principled Pessimism" below.

³⁰ RGIA, f. 1614, op. 2, d. 5, l. 179 ob.–180, 181–181 ob. (letters of 8 and 13 September 1869).

³¹ The crossing out betrays Adlerberg's awareness of his soft spot for purple prose when it came to his loyalty.

³² Ibid., op. 1, d. 390, l. 30–31 (draft letter of 13 July 1869).

duchess and later to her son Alexander, the future Alexander II, emulated the Prussian monarchy's romantic idolization of Queen Louise, Charlotte's deceased mother. His poetry, devoted to the grand duchess, introduced the Romanov court to the secular cult of royal femininity in which a devotee's enthusiasm came up as a sentiment accessible to the few select, the genuine kindred souls at the side of a pure beauty³³. As late as the 1870s, both Alexander II and Maria kept fond memories of Zhukovskii (whose last royal student had been exactly Maria, another German-born princess), and his influence on the dynasty's aesthetic sensibilities was indeed long-lasting.

Adlerberg had been part and parcel of that courtly milieu, bound by a certain mode of emotionality, since his youth. (Ironically, it was that young Prussian princess's brother who, half a century later, would inaugurate the process of modern empire-building at which Adlerberg looked askance.) Once, in 1876, amidst the political commotion caused by the Balkan crisis, he, writing from Ems, shared with Maria his reminiscence of an episode dating to the first year of their acquaintance — and friendship. In 1840, when accompanying, as a very young courtier, Tsesarevich Alexander and Maria herself, then Alexander's fiancée, on their way to Russia for their wedding, he was given by Empress Alexandra at a stop in Ems a tiny souvenir of that happy time — a marigold, *souci* in French³⁴. In his 1876 letter, the remembrance of a marigold picked by Maria's mother-in-law alluded also, probably, to the Palace Sans-Souci, a Prussian royal residence where the young Charlotte had oftentimes lived in her childhood and that later had a romantic appeal to her eulogist Zhukovskii³⁵.

However, the case of Adlerberg's worship had its own remarkable specificity, being more complex than imitative veneration of a royal lady by a humble courtier³⁶. Symbolically, in that nostalgic letter, the recollection itself was prompted by the homonymy in French of “marigold” and “worry” — the palace's name meaning “with no worry” — as the letter's preceding section exposed, by contrast, Adlerberg's incessant *soucis* about Maria's health³⁷. And this subject was inalienable from his own cult of Maria.

The outset of the “Eastern” crisis in 1875 brought a further complication to their sustained but unbalanced dialog. For Maria, an opportunity to promote Pan-Slavist visions meant no less than added interest in life; the years of 1876 and 1877 (perhaps until the first sobering failures at the front) were her life's Indian summer. P.A. Valuev, then the Minister of the State Domains and an opponent of Pan-Slavism, who in his diary had once observed, with much empathy, Maria's heartrending feebleness and dispiritedness as she attended her daughter's wedding, in April 1876 commented on how engaged the empress was when examining the maps of Turkey and Central Asia at a special presentation: “À bons entendeurs salut [A word to the wise]”³⁸. Maria's political compassion for the oppressed “Slavic brethren” and co-religionists was consonant with a cult of sentimental friendship maintained in her inner circle, particularly with her closest ladies-in-waiting A. N. Mal'tseva, Countess A. D. Bludova, D. F. Tiutcheva (the poet's daughter), and Countess A. A. Tolstaia (the novelist's cousin). Maria's own attempt at delivering a political profession de foi is to be found in her letter of February 1877 to the same Adlerberg. It was written just two months before Russia's declaration of war on the Ottoman Empire, a move so desired by Maria, at a time when Russian proponents of an irenic rather than military solution were seeking to come to terms with Great Britain on the broadly understood “Eastern Question”: “All my instincts, my pride as a Russian, my ethnic and

³³ Wortman 1995, vol. 1, 259–264; Vinitsky 2015, 179–236.

³⁴ GARF, f. 728, op. 1, d. 3251, l. 194ob. (Adlerberg's letter to Maria, 1–3 June 1876).

³⁵ Vinitsky 2015, P. 223–224, 230.

³⁶ Another probable source of inspiration behind this enduring cult of chivalry is to be found in the novels of Walter Scott, avidly read at the court in the formative years of both Adlerberg and Maria. See a perceptive discussion: Rebecchini 2019, 965–985. No distinct allusions to Scott's oeuvre, though, have caught my eye in their correspondence.

³⁷ GARF, f. 728, op. 1, d. 3251, l. 194.

³⁸ Valuev 1961, vol. 2, 292–293, 352 (entries of 14 January 1874 and 8 April 1876).

religious sympathies (*Tous mes instincts, mon amour-propre de russe, mes sympathies de race et religion*) are crying against a miserable role we have our diplomacy, rather our [foreign] policy play, through love of peace, respect for Europe and who knows what else! I feel that we are trampling with our feet the country's noble and historic aspirations, that we are alienating from ourselves forever those whom we ought to make once our allies, whose destiny we must define (*devons régler le sort*), so as to not see how what should be for us will be turning against us. However, all this, as it seems, is not in the interests of the state, and when they say we *cannot* fight, for lack of money, one has to obey, but hardly does it console. Here is my confession or, rather, an admission of my weakness <...>³⁹.

Maria did not always shy away from trying to intervene and directly influence her husband on this count. As early as May 1876, she attempted to arrange in Berlin a conversation between the emperor and Alexander Ionin, the Russian consul to Ragusa (presently Dubrovnik), in the Habsburg Empire, an expert on Dalmatia, the nearby, nominally Ottoman-ruled but virtually semi-independent Montenegro, and the Balkans in general. Ionin was known to contemporaries as a fervent partisan of Pan-Slavism and was reputed to have had a hand in instigating the 1875 insurrections in Herzegovina and Montenegro⁴⁰. When her plan did not work out, she vented her disappointment to the same confidant, Adlerberg (who was at that time accompanying the emperor on a trip, briefing Maria through his letters on the reception in Europe of the so-called "Berlin memorandum," signed shortly before by Russia, Germany, and Austria-Hungary and aimed at putting forth a plan for reform to be imposed on the Ottomans): "The Emperor told me that he had had no time to receive Ionin! [The latter] is the person best informed on the questions we would face. I regret this. Like you, I find the achieved result (of the negotiations. — *M. D.*) quite minute (*très menu*), and I had the imprudence to tell this to the Emperor, even if in, I believe, very moderate terms, but he did not like it and was of the opposite opinion (*cela lui a déplu, était de l'avis contraire*)"⁴¹.

Yet, in her communications to the emperor himself, Maria was more outspoken than her self-characterization "in very moderate terms" suggested. Thus, a few days later, continuing to mildly pressure him on the issue of support for the anti-Ottoman insurgencies, she brought up the particularly sensitive subject of Montenegro, a land of which many Russian Pan-Slavists of that era had a highly romanticized notion: "If the Porte definitively declines (the Berlin memorandum's demands. — *M. D.*), then there will be no other way than non-intervention <...> but we know that Montenegro has no money, has nothing to pay for the arms ordered by her, and who, if not us, would give her some? Without money no defense is possible, [and] it would be impossible for us to let her perish (*le laisserions nous périr, impossible*)"⁴². A month later, upon receiving the news that Serbia, backed by Montenegro (but counting first of all on generous support from Russia), ventured to declare war on the Ottomans, Maria waxed lyrical particularly over the Montenegrins, their laudable awareness of being "indebted to Russia" and their men's prowess, comparing them to the "ancient Spartans"⁴³. The empress's contribution to the rise of Pan-Slavism did not remain just platonic. The diary of A. A. Kireev, the aide-de-camp of Grand Duke Constantine Nikolaevich and a devout Pan-Slavist, offers revealing evidence on how the St. Petersburg Slavic Benevolent Committee accessed, via intermediaries, Maria to enlist Alexander's support for bonds issued to raise money for Serbia's fight. Kireev detailed the very route of this access, with a stress on the empress's "political" ladies-in-waiting⁴⁴.

³⁹ RGIA, f. 1614, op. 1, d. 819, l. 5 ob.–6 ob. (Maria's letter to Adlerberg, 23 February 1877; original in French).

⁴⁰ Kiliç 2012, 165. It is, in my view, Ionin's personal access to the empress's circle that allowed for his over-the-top confidence and sense of self-importance in promoting projects of Russia's succor to Montenegro (Pis'ma i zapiski N. A. Kireeva 1948, 108–110; *Narochnitskii* 1978, 109–112, 113–114, 175–176; see also: *Nikiforov* 2008, 48–54, 97–101, 123–131, 142–150, 162–164).

⁴¹ RGIA, f. 1614, op. 1, d. 817, l. 33–33 ob. (Maria's letter of 12 May 1876; original in French).

⁴² GARF, f. 678, op. 1, d. 794, l. 16–16 ob. (Maria's letter to Alexander, 13–16 May 1876; original in French).

⁴³ *Ibid.*, l. 56–56 ob. (Maria's letter to Alexander, 17–20 June 1876; original in French).

⁴⁴ OR RGB, f. 126, k. 6, l. 127 (entry of 5 July 1876).

A good illustration of how the above-described triangulated communication between Alexander and Maria worked in this specific setting is provided by Adlerberg's letter to Maria in May 1876, in which he reacted to her point about her disagreement with the emperor. This is what exactly the emperor wrote to her a little earlier, citing another Russian diplomat, ambassador to Vienna (and Ionin's immediate superior) E. P. Novikov, who was less Slavophilic than Ionin and supported the principle of Russia's concert with Austria-Hungary: "I don't share the way you judge the results obtained at the Berlin conferences, because, small though they may seem now, they can assume far greater importance for us in the future, by averting, I hope, the misfortunes [like those] of 1854 and 55 (i.e., the Crimean War. — *M.D.*) <...> As to Novikov, I have been perfectly happy with the way he judges *the Slavic question vis-à-vis Russia's true interests*, which, in my opinion <...> should get the upper hand, whether the Serbs and the Bulgarians like it or not <...>"⁴⁵.

Adlerberg furthered this point, arguing for the prudence of seeking a solution in the framework of status quo, without "precipitating" Turkey's collapse: "You would like, no matter the cost, *to break through all the obstacles to a prompt and dazzling denouement in favor of the Christian insurgents and their coreligionists <...> and precipitate Turkey's death throes, and You are against all attempts at patching it up*, whereas the Emperor is far from being convinced of the advantage of such a policy. It is certainly not up to me to judge as to which of the opinions is correct, but one has to admit that, in any case, circumspection and prudence are on the side of the Emperor. <...> [W]ith the declaration of non-intervention⁴⁶ about to take place, a ferocious fight in which Turkey is to be the theater between herself and her insurgent provinces, with an inevitable uprising in Serbia and Montenegro, [will follow, so] the chances that Turkey will cease to exist are redoubling and approaching. But how much blood will still be shed until then, for an uncertain and complication-ridden future!"⁴⁷

Obviously, he felt entitled at the moment to speak confidently as a commentator on the emperor's reasonably cautious stance. It made easier his polite yet firm distancing from Maria's optimism as regards the Ottomans' collapse, while sympathizing with her personality. Maria, however, at that point paid little attention to Adlerberg's admonitions. A few weeks later, she went on criticizing Russian diplomacy's ineffectiveness and what she saw as its pro-Habsburg leanings: "We are vaguely demanding the cessation of carnage; *timidly*, we have been proposing it for eleven months, and what have we achieved? [We have] not even contained the conflict, as the most terrible massacres have been occurring for two months in Bulgaria. <...> I will never understand why we did not put forth conditions for the recognition of the [new] Sultan (Murad V, who succeeded Abdul-Aziz, overthrown in late May 1876. — *M.D.*), but enough of this — apparently I am a poor diplomat, since I cannot fail to see that Turkey has laughed at us for a year and that we are, like Siamese twins, stuck to Austria, one body with two wills"⁴⁸.

The declaration of war in April 1877 changed the distribution of roles within the trilateral communication between the imperial couple and Adlerberg, as the latter found it difficult to embrace the monarchy's newly minted belligerence (Maria's dislike of Austria-Hungary included).

Adlerberg's Principled Pessimism

In late May 1877, Alexander II at the head of a large suite solemnly left Tsarskoe Selo for allied Romania to join the Russian field force poised to cross the Danube. Alexander's role there was thought to be that of a venerable "guest", with no official responsibilities, but his presence could not help but interfere with the lines of command and subordination, encroaching

⁴⁵ GARF, f. 728, op. 1, d. 2475, pt. 6, l. 82–82 ob. (letter to Maria of 5–7 May 1876).

⁴⁶ The principle of non-intervention, deliberated by the representatives of Germany, Austria-Hungary, France, and Russia at the Conference of Berlin in May 1876, was believed by Adlerberg to be able to encourage the insurgency, given that Great Britain could not intervene to support the Ottomans, either.

⁴⁷ *Ibid.*, d. 3251, l. 132–133 (letter of 15 May 1876). Italics added.

⁴⁸ RGIA, f. 1614, op. 1, d. 817, l. 47ob.–48 ob. (Maria's letter to Adlerberg of 11–12 June 1876).

on the domain of his younger brother, Commander-in-Chief Nicholas Nikolaevich and his staff. Yet, at the moment of departure jubilation reigned. The empress saw her husband off and impressed eyewitnesses with an air of moral and physical rejuvenation. In the words of one of her Slavophilic ladies-in-waiting, Daria Tiutcheva, “the empress looked transfigured, radiant, grateful (*avait l’air transfigurée, radieuse, reconnaissante*) – in short, happy”⁴⁹.

In his capacity as both minister of the court and commander of the Imperial Headquarters, Adlerberg was to accompany his master for the duration of his stay at the front. By that time, Adlerberg must have developed a lugubrious premonition of the inevitable complications and fallout of the war, which he did not conceal from the empress (but, most probably, still did from the emperor). Far-fetched though it may seem, he experienced the growing political as well as emotional divergence with Maria as a true drama. In later letters to her, Adlerberg returns several times to the “horrible reminiscence”⁵⁰ of the scene of their parting in Tsarskoe Selo on the day of departure. Having started talking about how difficult their disagreement made for him the habitual and dear task of corresponding with her while traveling with the emperor, he was interrupted by her rather abruptly: “The last word, so to speak, with which You dismissed me <...> was a scornful and mocking phrase regarding my pessimism”. Evidently, Adlerberg held his pessimism in greater esteem than one might expect. Still worse, in a gesture of perhaps ostentatious aloofness, Maria failed to bless her “loyal old grumbler”⁵¹. Given Maria’s adherence to Orthodox tradition, that should have been a blessing by a venerated family icon, crossing the traveler, with three kisses. What is suggested by his later lamentations is that he took this as a near-excommunication from her inner circle. He decided to discontinue their (semi-) informal correspondence. Then how did it happen that he ended up producing a new array of long and often very substantial letters?

The correspondence in question includes eighty-three letters from late May through mid-November of 1877 (there were also another three letters sent from the emperor’s brief preliminary trip to Kishinev to the army in the field in April, the days the war was officially declared). As is the case with the 1875 and 1876 letters, those of May – November 1877 are not available in the form of original epistles couriered by him and received by her. (Whether they did not survive or are still to be discovered is a matter of speculation; at least, there is clear evidence that they did exist as late as 1888, the year of Adlerberg’s death)⁵².

Table 1. Adlerberg’s letters to Maria, 1865–1879: 410 letters, totaling about 4300 pages (see footnotes 17, 52)

Drafts	Original letters (returned to Adlerberg in 1880; submitted back to Alexander III in 1888)	Copies
1869, 1871–1874, 1877 , 1878	Missing	1875, 1876, 1877 , 1879

⁴⁹ RGADA, f. 1274, op. 1, d. 2381, l. 13 (Daria Tiutcheva’s letter to Countess A. Bludova of 16 June 1877).

⁵⁰ GARF, f. 728, op. 1, d. 3252, l. 83 (letter of 24 June 1877).

⁵¹ Ibid., l. 215–215 ob., 81 ob. (letters of 28 July and 24 June 1877).

⁵² RGIA, f. 1614, op. 1, d. 130, l. 3 (list of Adlerberg’s papers submitted after his death in 1888 to Alexander III; No. 25 cites “the original letters of the late Count” to the empress).

Instead, the text of the 1877 letters can be explored, apart from the later copies, through a collection of preserved *drafts* covering a larger part of that year's correspondence, from late May to late August of 1877 (the eve of the most disastrous of the attempts to seize the fortress of Plevna)⁵³. So, for a majority of letters in 1877, we have, albeit in different archives, both a draft and a later copy. The same — more or less — text was successively penned by our hero *thrice*: drafting, writing a letter itself from the draft, and copying the letter⁵⁴ — and the last time, years after the events, making copies of all the letters for the Winter Palace library, again by his own hand, must have been like reliving his special relationship to the by then deceased addressee. (See Table 1).

Back to the drafts, a quick glance at the bundle of those of 1877 (henceforth often referred to as the “diary” or “entries”) would suffice to observe how much work went into them. Pencil rather carefully in large double sheets of coarse paper, they — especially in the part for May–July — remind of a sketch of an epistolary novella as much as a cluster of separate letters. Though most of these drafted letters start on a new page, and each one is assigned a number, in Roman or (from letter 49 of 3 August) Arabic numerals, there are some that bear a date and a number obviously added later in the midst of a page, as if the letter's beginning were planted between two previously interconnected paragraphs. In a few instances, the sequence of thus dated blocks-meant-to-be-letters is not strictly chronological — some blocks were backdated or re-backdated with a later date which caused corrections to the entire numeration as well.

Furthermore, each paragraph throughout the text also has its own number, placed in the left margin. This parallel numeration was needed for rearranging some of the paragraphs (the destination being indicated at the end of such a paragraph, with its own number being, e.g., 44 bis, 44 bis bis, 44 bis bis bis), once the larger dated blocks came at last to be established after a series of revisions. The reconstruction of the ultimate sequence of entries-turned-letters, made on the basis of letters' and letter paragraphs' numbering and renumbering in the drafts, is confirmed by the later copies. In the text itself, there are relatively few corrections. An easy and fast writer both in French and Russian with a sense of style when it came to this peculiar semi-official prose, Adlerberg in his auto-editing rarely resorted to more than crossing out or rephrasing too strong or insufficiently courteous wordings.

Overall, though, the very amount of work on composing and reorganizing suggests that for a while he must have kept writing to the empress without sending her what he had written (or much of it) though not excluding the prospect of doing so at some point.

A mix of motives behind this stratagem is partially revealed to us as early in the chain of letters as the beginning of June. Appearing in the later copies under the number 4, the letter of 2 June was actually first drafted around ten days later. In the initial “diary” (the collection of drafts), the paragraphs out of which this letter was finally assembled follow the blocks under 11 and 12 June (which dating is in accordance with their content), and this is one of the most remarkable breaks in the chronological sequence of the diary's dated blocks⁵⁵. In the preceding thirty-plus pages, beginning in the entry of 26 May, Adlerberg gives an account of their journey from St. Petersburg to Ploești, expands on the difficulties of the imminent crossing of the Danube, and dwells on the brewing controversy between the Commander-in-Chief Grand Duke Nicholas Nikolaevich and the Foreign Minister Prince A. M. Gorchakov, who sought to secure a greater role for diplomacy in defining the campaign's goals. And it is no sooner than after the 12 June block (three days before the secretly scheduled Danube crossing) that this flow of diaristic narrative is punctuated by an emotional outburst — a long pronouncement

⁵³ RGIA, f. 1614, op. 1, d. 846.

⁵⁴ In terms of the text's versions, there are Draft version and Final version, the latter available in its (most probably) accurate copy.

⁵⁵ The diary's text as a whole, read progressively page by page, corresponds with the real flow of time. The breakdown into dated blocks, involving the text's reorganization for finally produced letters, was done *ex post facto*.

concerning both political and private matters: “I dare not extend my pessimistic reasoning of which You disapprove, but the more I try to plumb the depths of the probabilities to come, the more I stick to my involuntary pessimism, even if You find it absurd. While agreeing that things have come to a head, that the war has become inevitable and urgent, I deplore this, even if it is to be crowned with most brilliant successes. All that has brought it, since the first symptoms of its eventuality, all the evolution of our political course on this occasion — everything seems to me so contrary to the true interests of Russia, of the Emperor, of His Dynasty, of His power and His prestige abroad, of His autocratic authority, that I cannot but fear the future. A moment of new glory and popularity will redeem neither the immense sacrifices, nor the future complications. <...> Forgive me for this digression from my role of simple reporter-feuilletonist (*Pardonnez-moi cet écart de mon rôle de simple reporter-feuilletoniste*). I would love to believe and still to hope that You do not deign even to perceive the hurt You have done me and the mortal wound You have caused me (*Vous ne daignez même pas comprendre le mal que Vous m’avez fait, et la blessure mortelle que Vous m’avez portée*). It is, nonetheless, incurable, and my suffering from it is indescribable”⁵⁶.

Table 2. Timeline of Adlerberg’s prolonged “confession” (old st.)

May 26	Diary begins
June 2	Failed telegram with condolences
*** The crossing of the Danube on 15 June ***	
June 24	Two letters by the same date, one sent off, the other unsent: Rehearsing a confession
July 8	Unsent letter about the emperor’s “mania of imitation”
*** First attempt at Plevna on 8 July ***	
July 16	Angry letter in response to her “He deigned to write to me”: A halfway revelation
*** Second attempt at Plevna on 18 July ***	
July 26	Garbled telegram from her: “Received your absurd letter. Keep the previous ones”
August 1	Confession: Submitting Diary in response to her “I very much miss his letters”

⁵⁶ GARF, f. 728, op. 1, d. 3252, l. 30 ob.–31 ob.; RGIA, f. 1614, op. 1, d. 846, l. 32–32 ob.

It is this thunderous fragment that was earmarked for sending, as a fully-fledged letter, under a meaningfully earlier date, 2 June. Thus, for the final version of his epistolary diary, Adlerberg desired to have himself express his profound antipathy to the emerging war *at the very outset* of the emperor's sojourn near the frontline. This feeling was to be seen as going hand in hand with his agony over the presumed lack of mercy toward him on Maria's part. But, insofar as the letter, along with the previously drafted, remained unsent, the question was about when the addressee was to be reading these lines. (See Table 2).

For Whom Is the Diary Being Kept?

Not long after that, Maria herself gave Adlerberg a pretext for lifting his epistolary moratorium — for the time being, just a bit. The first days of the emperor's stay in Romania coincided with a sad occurrence for the larger imperial family — the death, on 1 June, of Maria's elder brother, Grand Duke of her native Hesse and by Rhine, Ludwig III. Not many people in Russia heeded the passing of an obscure Germanic monarch, but for the Romanov dynasty it mattered more. This was, incidentally, one more reason for 2 June as the *ex post facto* date under which Adlerberg placed a set of paragraphs written actually ten days later, as one of them contained his condolences. Yet, since the draft, even if cleverly backdated, did not become a real letter (until, as we will see, a certain moment later that summer), and a telegram Adlerberg in his capacity as minister of the court verily sent out on 2 June was not delivered due to a malfunction of Romanian telegraph, Maria did not hear in time from him on this occasion.

Consequently, several days after the 15 June successful crossing of the Danube, Adlerberg heard from no less than the emperor — in another example of their triangulated communication — that the empress was baffled by his breach of etiquette in this regard. In a sense, his silence, deliberate or inadvertent, was not lost on her. Faced with this indirectly transmitted but tangible reproach, Adlerberg hastened to exonerate himself, and did so in a peculiar fashion — in two parallel versions, one to be sent off immediately, the other for his diary in epistles, still not to be confided to her.

Under 24 June, he wrote two letters to Maria. The first one — no. 17 in the preserved collection of later copies⁵⁷ — offers reiterated condolences, with a note on the failed (as it turned out) telegram, and proceeds to address the highly sensitive issue of the emperor's willingness to stay with the army. Adlerberg argued that the aftermath of the praiseworthy crossing of the Danube — an enterprise carried out with fewer casualties than had been expected — was the most opportune moment for the emperor to leave for Russia with dignity. He deplored what he described as his master's obstinacy maintained against the “unanimously shared” opinion in favor of his departure: “[T]he Emperor does not want to hear about it, does not admit any objection, no matter how serious it is, against His intention to continue the campaign with the army. <...> I am more than ever convinced that, though He keeps silent on this and seems to be willing to conceal from us His intentions, He is determined to see the campaign through to the end. <...> God grant that the hopes for a brisk march and consecutive brilliant successes will come true. In my pessimism, I dare not share these hopes, and it seems to me that the way our affairs are headed in the Caucasus, proves their imprudence. <...> We are still far from the end, and it would be very dangerous [for the Emperor] to become inebriated with this success”⁵⁸.

It is this letter that, in its conclusion, makes the above-quoted point, forcefully if briefly, about the author's personal insult: “I beg Your pardon for these pessimistic fears; You have to take into consideration the inexpressible sadness and total discouragement that haunt

⁵⁷ For this letter, a draft is preserved in an archival file other than the one with the drafts of diary entries that were copied and shared with Maria later: RGIA, f. 1614, op. 1, d. 845, l. 17–18 ob. In a glimpse into how Adlerberg organized his correspondence, this file also contains the drafts of a few other letters from the 1877 campaign that, unlike the diary, were couriered off right upon their penning, including those of 16 July, 18–19 July, and 1 August (to be discussed below in proper place).

⁵⁸ GARF, f. 728, op. 1, d. 3252, l. 80 ob.–81 ob.

me. You cannot be unaware of the reason. You had not even been willing to bless me at our departure”⁵⁹. This 24 June piece was designed to be expeditiously sent off to the empress, and it was. Notably, forced amid his self-imposed moratorium to really talk to the empress in writing, Adlerberg seized upon the opportunity pointedly to alert her to her husband's infatuation with war-making.

The second letter to bear, in the collection of later copies, the date of 24 June, numbered 18 (the same date and number are in the collection of drafts), was drafted as if the first one were never written and mailed⁶⁰. Again, it starts with condolences and explanations about the ill-fated telegram. And it is precisely the mention of the telegram that appears to trigger something new — a painful confession, involving yet another version of the reminder of his hurt feelings: “As to my correspondence by letters, I asked You to allow me to refrain from it. Permit me to not return to the sad and painful motives that drove me into imposing this privation on myself. They did hurt me too much, and in an irredeemable way, to stir up the horrible memories”.

With an amusing grammatical illogicality, Adlerberg ends up claiming both to be addressing and not addressing Maria: “I acknowledge the weakness of my character — You see that I have not ceased writing You; I am not sending You my letters, but I cannot resist the appearance of maintaining a correspondence with You that for so many years has been the joy of my life. You will probably never read this diary of sorts I keep for You in this horrible time of trials imposed on me. In your universal disdain, You will perhaps say that it's absurd to write for not being read, but one absurdity more or less doesn't matter. <...> I certainly do not presume that You will read it afterward, when any retrospective account will have lost the slightest interest”⁶¹.

Indeed, how could Maria, in present tense, “see (*Vous voyez*) that I have not ceased writing You”, if “I am not sending You my letters”? Apart from his very probably already shaped intention to sooner or later familiarize her with his diary, this incongruence reflected the co-existence of two objects of communication — the real person (to whom, after all, he had just sent a hint at having something to reveal) and the imaginary referent of his diaristic speech. His histrionic phraseology notwithstanding, Adlerberg should be given some credence in stating that their correspondence “for so many years has been the happiness of my life” (notice that he was a good family man who at the same time must have been writing to his wife⁶²), and “I am writing only for my own consolation, since I cannot resist it, because the desire and need to talk to You, to share with You all that I am witnessing, that weighs on my heart are irresistible <...> because, finally, there are things in this world that can never change”⁶³.

From a more pragmatic perspective, the second letter of 24 June was certainly a rehearsal of his revelation (to follow, as we will see, on 16 July and, more fully, on 1 August). For a reader of the subsequent entries, a good deal of the suspense while plowing through the oftentimes lengthy ruminations and revelations derives from wondering whether or not the author will end up making this stuff into real letters to be sent off⁶⁴. Adlerberg might have thought of a

⁵⁹ Ibid., l. 81 ob.

⁶⁰ This letter was actually written some days after 24 June. In the collection of drafts, its text *follows*, within the same sheet, the letter first dated 25 June and re-dated to 27 June (RGIA, f. 1614, op. 1, d. 846, l. 48–52 ob.). The correction had to do with the time-indicating bits of its content, namely the news, received by the midnight of 26 June, of the takeover of the city of Tirnova/Trnovo (presently “Търново”) by General Gurko's cavalry (*Miliutin* 2009, 256). Obviously, Adlerberg's diary's section for the last week of June was written with a certain (short) time lag from the events described.

⁶¹ GARF, f. 728, op. 1, d. 3252, l. 82 ob.–83 ob. Draft: RGIA, f. 1614, op. 1, d. 846, l. 53 ob.–55.

⁶² His letters to his wife for much of the 1870s seem not to have survived, but letters for previous years (when he already was in the habit of writing to the empress), which testify to the couple's mutual affection and shared interests, are available in copies carefully made and annotated after his death by none other than the widow (RGIA, f. 1614, op. 2, d. 2, 3, 4, 5).

⁶³ GARF, f. 728, op. 1, d. 3252, l. 84.

⁶⁴ In the entries made in the weeks following 24 June, he not infrequently pretends to be maintaining an ongoing dialogue with Maria; for example: “I wrote to You yesterday <...>”. In other instances, he talks to her

better way of letting the empress know the fact of his “keeping this diary of sorts for You (*cette espèce de journal, rédigé à Votre intention*)”⁶⁵. In the meantime, the continuing self-imposed ban on sending off the letters emboldened our “reporter-feuilletonist” to enrich the diary with an inquiry into the emperor’s psychology in search of reasons for Alexander’s willingness to stay in the army indefinitely, contrary to what his father, Nicholas I, did in 1828 in another war with the Ottomans — an example of dignified royal evacuation Adlerberg once invoked⁶⁶.

In sum, Adlerberg’s loyalty was of such a variety (tolerated for few) that could translate a harsh criticism of the monarch’s behavior into a sign of singularly intimate attachment. But even for him it was a somewhat risky venture.

The Emperor Under Participant Observation

Admittedly, Adlerberg’s narrative does not provide any new evidence for revising the familiar portrayal of Alexander II on the Danube in 1877. Most famously, the diary of the Minister of War D. A. Miliutin depicts an almost ridiculous monarch, unfit for military leadership, today weeping profusely over the wounded and dying at hospitals, tomorrow boyishly frolicking at the news of a minor victory and lavishing around St. George’s crosses he seems to have carried in tens in his pockets. One might guess that an architect of the court ceremonial could have been more supportive of the emperor’s image-making at war than a minister of war was⁶⁷. However, Adlerberg’s critique of the emperor’s presence near the frontline was not only less moderate but also more principled than Miliutin’s. And this is what is particularly rewarding for a student of his long and sometimes ritualistically repetitive, incantatory letters to the empress. They demonstrate the ways in which a rather bold loyalist sought to affect the object of loyalty (who at the moment resided in the next tent at a bivouac but might be exposed to the adviser’s benign influences in no other way than via the empress in St. Petersburg).

As early as 16 June, the day after the crossing of the Danube, which bolstered in many the hope for a Blitzkrieg, Adlerberg breaks away from the prevailing jubilant tenor and makes a strong case for the emperor’s departure. Indeed, the notion of an emperor wisely leaving his army in the field for the sake of the war effort had been an important motif in Russian political culture since 1812, when a trio of top statesmen coaxed Alexander I into renouncing his claim to official command over the army fighting with Napoleon⁶⁸. Adlerberg in his letters, though, never (to my knowledge) mentioned this precedent, perhaps owing to his unwillingness to cooperate on this count with like-minded colleagues, which would have diverged from his technique of advising. Instead, he concentrated on a multitude of current and predictable complications. Thus, in the letter of 16 June, he describes how meddlesome the presence and movements of the separate Imperial Headquarters were for the army’s command and how terrible a burden the concern about the emperor’s safety was for Grand Duke Nicholas, let alone the “difficulties of supplying a train of 600 persons and 2000 horses with food and fodder, not to mention escorts”. (From the draft’s subsequent paragraph, he crosses out another, too straightforward, calculation: “[A] train like that of the Emperor costs a whole division at least”.) The account of current and future complications amounts to a generalization about Alexander’s character, with a stress on his fatalism: “...Two traits of his character that always and inexorably prevail over any consideration and any reasoning: firstly, an increasingly pronounced tendency to fatalism, which makes Him disregard the slightest allusion to prudence

imaginary persona in a more or less remote future: “They [my letters] will therefore remain nonexistent (*non avenues*), but I will have had the only consolation of writing to You, ~~of talking to You mentally <...>~~” (RGIA, f. 1614, op. 1, d. 846, l. 60, 79 ob. — draft letters of 4 and 10 July 1877).

⁶⁵ GARF, f. 728, op. 1, d. 3252, l. 83.

⁶⁶ *Ibid.*, l. 349 ob. (8 October 1877).

⁶⁷ On Alexander’s presence in the army as part of his image, see: *Wortman 2000*, vol. 2, 134–141.

⁶⁸ See in particular: *Tartakovskii 1996*, 51–53, 151–152.

(*le fatalisme, qui Lui fait mépriser la moindre allusion à la prudence*) <...> secondly, the disdain of impossibilities <...> I am often frightened that it looks like He thinks He is at Krasnoe Selo and forgets the difference between a war and maneuvers”⁶⁹.

(To quote from a slightly later entry, of 22 June, “[w]hat can be done against an ‘I want it this way (*Ia tak khochu*)’ of the Sovereign?”⁷⁰ Something against it, however, could be done, and, basically, such was one of the objectives of Adlerberg’s writing to Maria.)

Most important, Adlerberg’s stance as the one who places the interests of the dynasty and its members above all else enabled him, in a clear reaction to the addressee’s Pan-Slavist enthusiasm, not yet shaken, to question the very notion of the ongoing war as a lofty cause for all Russia. Not challenging the identification of the monarchy with Russia’s presumed national aspiration, he sought to diminish the national — and ethno-national — significance of the war itself: “[I]n the eyes of all people, there is a kind of lack of dignity about the Emperor personally making war against the Turks. Too much honor for them. The Emperor of Russia is and must be placed far too high to feel obliged to leave His country for the sake of a war of the character this one has. The countries He wants to deliver from the Ottoman yoke do not deserve this honor either. Add to this the results of this war, such as those now proposed, — are they really worth the trouble of the Emperor’s presence here?”⁷¹

To further this argument in the intervening weeks, Adlerberg reinterpreted a recent precedent he found out Alexander held up as a model for a monarch’s engagement in the nation’s military endeavors. Adlerberg’s entry of 8 July relates in detail, in direct speech, a frank conversation he had with Alexander shortly before. It should be remembered that on the very same day, about fifty-five miles away from the current location of the Imperial Headquarters in the village of Biala [Бяла], the first assault on Plevna fizzled out with a considerable number of casualties, of which the emperor and his suite were notified on 9 July. Very probably, Adlerberg wrote down and backdated this entry shortly after having learnt about Plevna, feeling vindicated in his pessimistic premonitions. The conversation went the following way⁷², as quoted from the draft, corrections displayed:

Me: Admit, Your Majesty, that this is a case of extreme carelessness on Your part.

Emp.: Once we go to war, we always run risks. The rest is in Providence God’s hands.

Me: But why useless risks, and ones disproportionate to their eventual consequences?

Emp.: They are not useless, since I want to be closer to My Son and be able to reinforce him if necessary.

Me: So You seriously intend to take part in a battle with the Turks, if the Grand Duke Heir needs to give them a fight?

Emp.: Yes, of course. From the moment I came to the Army, I am here for making war, not hanging with obozy [supply trains; in Russian in the orig.].

Me: But that is Your first misstep, having come to the Army, in dismissing all the inconveniences that result from this, and all the gravity of the consequences that can result.

Emp.: I would like to know why Emperor Wilhelm can make war, but not me?

Me: (~~sotto voce~~ Here we are!) How can You draw this parallel? How can You not see the difference? The king of Prussia is not the Emperor of Russia. Moreover, for the latter it was about the existence of his entire monarchy, his dynasty. Thank God, a war with Turkey can in no way threaten Your Empire.

⁶⁹ RGIA, f. 1614, op. 1, d. 846, l. 39 ob.–41; GARF, f. 728, op. 1, d. 3252, l. 65–66.

⁷⁰ GARF, f. 728, op. 1, d. 3252, l. 78.

⁷¹ RGIA, f. 1614, op. 1, d. 846, l. 41; GARF, f. 728, op. 1, d. 3252, l. 67–67 ob.

⁷² The claim that the conversation itself took place on 8 July finds a confirmation in Miliutin’s entry of the same day mentioning Adlerberg’s attempt to dissuade Alexander from approaching the frontline (Adlerberg may not have revealed to Miliutin that he was criticizing the very presence of Alexander in the army) and Alexander’s invocation of Wilhelm in response (*Miliutin* 2009, 267).

So the participation — rather symbolic — of the old German emperor Wilhelm I, Alexander's uncle, in the Franco-Prussian war, from which the Reich had emerged itself, was found by Adlerberg to have been truly indispensable, in contrast to Alexander's idle searching for a major role in the presumably liberationist war with the Ottomans. The account concludes on a still sharper note: "So, the mania of imitation and the example of His Uncle <...> prevail definitely and irreversibly over common sense. So, I hardly dare to utter, a vain desire, that of military glory, outweighs the duties the Sovereign has to his country (*un désir vaniteux, celui d'une gloriole militaire pèse plus dans la balance, que les devoirs du Souverain envers son pays*)"⁷³.

This motif is further elaborated in the 10 July entry, in the aftermath of the first failure at Plevna. The diarist's voice assumes a distinctly polemical, castigating tenor unheard of before within Alexander II's inner circle even at the peak of debates between the proponents and opponents of a military solution to the Balkan crisis⁷⁴. In Adlerberg's legitimistic vision, the war had taken an erroneous course shortly after its declaration, with "a principle having been subjugated to a sentiment". Instead of an operation to redress a diplomatic "offense caused to Russia by Turkey", Russia had gotten enmeshed in the chaos of fighting on the side of those who have rebelled "against their sovereign". He argued vehemently: "We are talking about the liberation of the Bulgarians, about the utopia of granting them well-being and happiness, and, unfortunately, what stands behind the veneer of this beneficent work is all the anomaly and all the danger of Pan-Slavist ideas". Two prominent figures among the Pan-Slavists bear the brunt of Adlerberg's opprobrium, as he switches to the current wretched condition of Russian credit and finances: "This is all we will have gained from it for the triumph of some *physical* monsters, such as Mr Aksakov and Countess Bludova"⁷⁵. Although (or perhaps just because) the Moscow-based journalist and Slavophile thinker Ivan Aksakov was followed by the empress, and the indefatigable Pan-Slavist elite networker Countess Antonina Bludova was one of Maria's trusted ladies-in-waiting, Adlerberg gave vent to his dislike to the point of using an uncivil epithet in the draft. In the final text, they appear as just "some monsters", but in one of the later letters the characterization is validated by crediting them with promoting "one of the most monstrous political ideas of our century"⁷⁶. Remarkably, from that moment on, Adlerberg in his letters did not fail to regularly mention the atrocities committed *by the Bulgarians*, bolstered by the Russian army's advance, against the Turk/Muslim population⁷⁷, a subject, in general, embarrassing for many Russians⁷⁸ and, in particular, so discordant with the Pan-Slavist narrative of the time.

Again, one should bear in mind that Adlerberg was not quick to have Maria attend to these brave salvos; during the first half of the summer just a single letter, that of 24 June, found its way to the empress. Yet, it was precisely on the heels of Adlerberg's above-quoted fervent anti-Pan-Slavist entry that the triangulated mechanics of communication in which he remained

⁷³ RGIA, f. 1614, op. 1, d. 846, l. 70–71; GARF, f. 728, op. 1, d. 3252, l. 115–117.

⁷⁴ *Mamonov* 2004.

⁷⁵ RGIA, f. 1614, op. 1, d. 846, l. 79–79 ob.

⁷⁶ Here is this colorful sentence in full: "I assure You that if we, instead of our costs expended for the sake of one of the most monstrous political ideas of our century, had confined ourselves to exiling the Aksakovs, the Samarins, Countess Bludova and Co. to some Bela, Pavlo, or Gorny Studen (the villages where the Imperial Headquarters then resided. — *M.D.*), Russia would have been spared major misfortunes" (RGIA, f. 1614, op. 1, d. 846, l. 119. [Adlerberg's letter to Maria of 26 July 1877]).

⁷⁷ *Ibid.*, l. 97, 118 ob., 128, 192 (draft letters of 20, 26, and 29 July and 22 August 1877).

⁷⁸ For instance, in his diary, kept, to quote Holquist, "with an eye toward possible future (posthumous) publication", Miliutin is reticent on this point, labeling the reports of foreign journalists about such atrocities as malicious anti-Russian slanders (*Miliutin* 2009, 274 [entry of 18 July 1877]; *Holquist* 2015, 218). On the contrary, in his letters to his wife, N. P. Ignat'ev — a person more knowledgeable about ethnic relations in the region — does not shy from citing facts of violence against the Turks/Muslims (see: *Ignat'ev* 1999, 140–141).

involved, his own moratorium notwithstanding, triggered a chain of exchanges that resulted in the eventual submission of the diary to Maria. In this process, misunderstanding worked sometimes as a useful incentive.

Another Rehearsal of Confession and a Garbled Telegram

On 16 July, Adlerberg received a letter from Maria written on 10 July in response to his letter of 24 June. It was, predictably, very short, as the empress was swept up in the Red Cross's activities and her anxieties about the husband and four sons who were in the army. Loaded with her usual quietist expressions of acceptance of God's will, the letter briefly addresses the latest developments at the front (she had already learnt of the Plevna failure by telegraph): "It is no consolation in that the Emperor has not returned after this magnificent crossing of the Danube. <...> I take the retreat from Plevna to Nikopol, with significant losses, so close to heart, and this heart feels bad physically, after a year of perpetual anxieties"⁷⁹.

More than the brevity of Maria's note (so much in contrast with his own effusions), Adlerberg was upset by an almost simultaneous indirect response to the same letter of his. A couple of days earlier, the emperor shared with him a line (or, quite probably, more, as was practiced in their trilateral communication) from Maria's letter of 4–6 July, which said ironically that Adlerberg "has at last deigned to write me (*a enfin daigné m'écrire*) <...>"⁸⁰. The word "deigned" proved abrasive, and Adlerberg could not repress his distress.

That very day, 16 July, he meticulously crafted a long letter to be dispatched to the empress right away, reacting to both the direct and indirect responses of hers⁸¹. In it, his moral wounds are exposed to the fullest: "Once more, You deeply humiliated me by writing recently to the Emperor that I at last had *deigned* to write to You. <...> Here is my defense: setting aside all that You have really and cruelly caused me to suffer, the way in which You dismissed me, denying me even Your blessing and giving me so much clear evidence of how little You made of my devotion, let alone its uselessness in Your eyes, — setting aside all these considerations <...> I foresaw the trouble and difficulty of writing to You with hand on heart (*la main sur le cœur*), as I had in the past"⁸².

What exactly defined this specific "trouble and difficulty" was revealed in the epistle a paragraph later, but first Adlerberg qualified his declared break with the tradition of reporting regularly to the empress while traveling with the emperor. What had been rehearsed in the secret entry of 24 June was now performed, in a modified version. The letter weds Adlerberg's resumed counter-reproaches for Maria's withdrawal of benevolence to the following seemingly hesitant admission: "I tried it [writing to the empress], though, after our departure from Petersburg; but I soon convinced myself that I should not send You my letters. I must confess to You that I still continue to talk with You from afar, to convey to You all that I see and the little that I know and understand, —and if God permits me to return, I will be able to show You the proof of this in a collection of a few hundred pages, not destined to see the light of day. Your first exclamation is bound to be that this is absurd, but I have no doubt that You will prove me right later <...>"⁸³.

The mention of "a few hundred pages" was, naturally, dropped as a sort of bait. This is all the more true given that the author proceeded to suggest how much in those pages dealt with one of Maria's gravest concerns — her husband's extended stay at the front. Encouraged as he was by the lack of unequivocal approval on her part for an indeterminate delay of Alexander's

⁷⁹ RGIA, f. 1614, op. 1, d. 817, l. 50 ob.–51. Maria did not comment on the June 24 letter's concluding phrase about her failure to bless Adlerberg at the emperor's departure in May.

⁸⁰ GARF, f. 678, op. 1, d. 794, l. 126 ob.

⁸¹ The draft is preserved along with that of the letter of June 24, also written beyond the diary and sent off immediately: RGIA, f. 1614, op. 1, d. 845, l. 19–22.

⁸² GARF, f. 728, op. 1, d. 3252, l. 140–140 ob.

⁸³ *Ibid.*, l. 140 ob.

return from the army, Adlerberg explained his reluctance to share the bulk of his diaristic correspondence, citing his own engagement with this sensitive military-political issue: “Why, You say, did the Emperor not return after the brilliant success of crossing the Danube? Why? — nobody ever understands this. Everybody is astonished and unable to assume not only a plausible reason, but the slightest sound pretext, and it must be said that not only is it regretted but it is deeply and generally disapproved. However obedient I am to the orders and to the will of the Emperor <...> my conscience does not allow me to approve of Him, and, to my misfortune, all around are on my side in this regard. <...> You will understand why I have refrained from sending You the letters, in which I perhaps dwell too frankly and too bluntly on the inconveniences of this state of affairs, on the inconsistencies, and on the obstinacy of the Emperor, which cannot be explained, nor excused indeed”⁸⁴.

Off the letter went to Russia to be received by Maria in just over a week. Meanwhile, Adlerberg expanded on the themes of the 16 July letter in his yet undisclosed, diary-style communications to the empress. The entry of 18 July — in the draft the date was characteristically corrected this way from the 17th — made no mention of that slightly earlier letter, of which it was a longer and more nuanced twin. Obviously, the rules of the genre demanded that an ad hoc epistle just couriered off not interfere with the flow of diary-writing, a labor in its own right. Having recycled his reproaches for Maria’s ill-fated “deigned” and intriguing mention of a “journal of my impressions [written] at Your address” — the “correspondence, so to say, secret and of no interest at all which You will probably scorn to ever read” — the entry of 18 July makes further use of what Adlerberg sees as a stance he and Maria shared on the emperor’s “obstinacy” and the ensuing risk of attending the theater of war. Mulling over her phrase about having the retreat from Plevna “so close to heart”, he ventures an interpretation in favor of his persistent “instinctive” pessimism: “Is it simply by referring to the significant losses we have suffered <...>? or is it an *instinctive* fear of the effect and the consequences of an unexpected failure? I am involuntarily stopping at the supposition that this last consideration is not foreign to Your anguish and Your concerns <...> *Instinctively* as well, Plevna constantly stands like a nightmare in front of me”⁸⁵.

Although, in gendered perspective, an “instinctive fear” would more befit a wife and mother of fighting soldiers, Adlerberg would have found some solace in sharing in such fears and nightmares along with the empress. In this light, the re-dating (to be exact, re-backdating) of so markedly worried a letter from 17 to 18 July may have been designed to further rehabilitate his use of intuition, as the second, still deadlier, Russian failure at Plevna occurred exactly on 18 July, which news reached the Headquarters the next day.

As if hellbent on complicating the picture of his communication to the empress in that critical period of the campaign, Adlerberg penned another piece for her under 18 July, one which was, like the letter of 16 July, immediately couriered off to St. Petersburg. This epistle, though, alludes in no way to his “secret” correspondence and is more on the side of service business, as it responded to a touchy issue Maria raised in the above-discussed letter to Adlerberg of 10 July. It concerned Prince Vladimir Aleksandrovich Cherkasskii, in the past one of the architects of the 1861 peasant emancipation and the integrationist, anti-elitist reforms in the Kingdom of Poland, and now the plenipotentiary representative of the Main Administration of the Russian Red Cross in the field army, soon to be promoted, in spite of his relatively low official rank, to the head of the civilian administration in the nascent Russian-protected Principality of Bulgaria⁸⁶. Although the empress and Cherkasskii were on the same page as regards

⁸⁴ *Ibid.*, l. 141–142.

⁸⁵ *Ibid.*, l. 144–145; RGIA, f. 1614, op. 1, d. 846, l. 86–87. Italics added.

⁸⁶ On Cherkasskii’s role in the Russian management of the Bulgarian-populated lands see: *Vinkovetsky* 2018, 751–791; *Holquist P.* Military Occupation in the Russo-Turkish War, 1877–78: Vladimir Cherkasskii and the Civilian Administration (a chapter from the book manuscript, “By Right of War: Imperial Russia and the Codification of the Laws of War”). My thanks to Peter Holquist for kindly sharing this chapter with me.

the perceived Russian mission of liberating the Balkan Slavs, she, in her capacity as patroness of the Red Cross, was not happy about Cherkasskii bossing around and abusing his direct access to the emperor: “I have only heard complaints about him, but [please say] no single word to the Emperor (*Je n'ai entendu que plaintes sur lui, mais pas un mot à l'Empereur*)”⁸⁷. This somewhat elliptical phrase of hers implied that Adlerberg — was he not, after all, a multi-purpose mediator? — should tactfully influence the Red Cross representative to agree to handle the charity's local activities in tighter coordination with its central office. Unsympathetic as he was toward the aggressively reform-minded outsider, Adlerberg in his 18 July response liberally cited rumors of how Cherkasskii's “brusque character” and “extreme vanity” pitted the personnel of the Red Cross against him and fed into a tension between the charitable organization and the army's regular medical authorities⁸⁸.

Alongside alerting the empress to the alleged excesses of her subordinate, the 18 July letter was an opportunity for Adlerberg to position himself as one entitled to confidentially talk to the consort about the ruler's qualities. The letter emphatically attributes Cherkasskii's self-confidence to the emperor's trust in him, venturing a new glimpse into Alexander II's personality: “I cannot help finding Cherkasskii's approach (him writing directly to the emperor. — *M. D.*) very inappropriate, and I am amazed that the Emperor does not find it such. This proves the favor he enjoys with the Emperor. This is for certain: once the Emperor places His trust in someone, whether it be deserved or misplaced, and He believes in that someone's abilities, whether through His own conviction or outside influence, — He won't have it any other way (*Il n'en démord pas*), regardless of signs and even evidence that His choice does not meet His expectations. <...> I am convinced that the slightest attempt to draw the Emperor's attention to Cherkasskii's shortcomings <...> would only serve to secure for him even more of the Emperor's backing. This may be explained by a certain reluctance to sacrifice His opinion and to renounce His choice — in a word, to give in”⁸⁹.

Which was to say that at the moment *both* Adlerberg and the empress were unable to alter Alexander's attitude. The mediator's tortuous reasoning took Maria's “*mais pas un mot à l'Empereur*” as a statement of solidarity between the two vis-à-vis the emperor's erring that was to be discussed nowhere else than in their communication. Adlerberg finished his letter the next day, 19 July, just in time to commiserate with the addressee on the second failure at Plevna⁹⁰, which tidings reached the Imperial Headquarters that very day in the morning (being foreshadowed, as we have seen, in the entirety of Adlerberg's correspondence by his “instinctive fears” as mentioned in the diaristic letter strategically backdated 18 July, too)⁹¹.

After 19 July, Adlerberg went on drafting his diary entries, tending to write more on the purely military matters in which Maria had a keen interest indeed⁹². The next push toward fully confiding his diary to her came on 26 July, in the form of a telegram she wired upon receiving his revealing letter of the 16th. Because of garbling — one dash misplaced, another missing, a misspelled verb — the text came out cryptic: “Très contente — reçu lettre absurde — gardez précédentes — demande continuation attente angoissée”. It should actually have read:

⁸⁷ RGIA, f. 1614, op. 1, d. 817, l. 51 (letter of 10 July 1877).

⁸⁸ GARF, f. 728, op. 1, d. 3252, l. 148–151 ob.; quote — l. 149 ob. (letter of 18–19 July 1877).

⁸⁹ *Ibid.*, l. 152–152 ob.

⁹⁰ *Ibid.*, l. 156–157.

⁹¹ Adlerberg's passage that responds to Maria's phrase about having the (first) failure at Plevna “so close to heart” and dwells on his own “instinctive fears” in this regard was initially penciled as part of the draft of the letter of 18–19 July (one to be sent off immediately), most probably not until learning about the second failure. Then it was crossed out in the draft and eventually transferred to the unreleased letter backdated 18 July but actually written over at least three days, from 17 through 19 July. Compare: RGIA, f. 1614, op. 1, d. 846, l. 87; d. 845, l. 28 ob.; GARF, f. 728, op. 1, d. 3252, l. 145–145 ob.

⁹² For example, she several times discussed the course of the campaign with the famous military fortification expert General E. I. Totleben before his leaving for the army to take charge of the siege of Plevna (GARF, f. 678, op. 1, d. 794, l. 125 [letter of Maria to Alexander of 2 July 1877]).

“Très contente — reçu lettre — absurde garder précédentes — demande continuation — attente angoissée [I am very pleased. Have received the letter. Absurd to keep the previous. Asking for continuation. Waiting anxiously]”.

It should not have taken much effort for Adlerberg to restore the correct meaning. However, he failed, and did so probably because he had internalized the persona Maria had assigned him of “old grumbler”, a near-comical alarmist whose (instinctive) alarmism was a function of his visceral loyalty. As can be seen from several of the above-quoted letters, the term “absurd” was a fixture in their correspondence, frequently — in the self-deprecating manner of a sad jester — applied by Adlerberg to himself. Remember that just ten days back, he had predicted that Maria’s “first exclamation” upon learning about his “journal” would be: That’s absurd! Indeed, the word popped up in her telegram, and he readily rushed to vindicate his premonition by taking “[it is] absurd to keep” for “absurd” as an alleged quality of his epistle: “The meaning of *reçu lettre absurde* is self-evident, since my letters were invariably absurd”. The absurdity of the letters themselves would certainly be worse than the bizarreness of the way an epistolary journal was handled. In the same vein, another error of transmission, “Gardez précédentes [Keep the previous ones]” fully made sense to him as the opposite of what was actually meant: it is absurd to keep the previous letters instead of sending them to an addressee who is looking forward to them anxiously. Such a misreading left Adlerberg with the enigma of the last four words: “[W]hat kind of continuation are You asking for? <...> It cannot be the continuation of my letters, as they are absurd, nor can it be about the previous ones, as You suggest that I keep them for myself” — and, in a semi-jocular tone, he begged for clarification⁹³.

Submitting the Diary

Adlerberg’s entry of 26 July was not immediately made into a letter and sent to the empress⁹⁴. Yet, even had it been, her explanation in response, unless perhaps wired, would have failed to preclude another, and the last, misunderstanding in the story of the Adlerberg diary’s submission. On 31 July, the emperor received the empress’s letter of 21–24 July, in which she, almost in one breath, asked a series of awkward questions related to the campaign — “I do not understand how we found ourselves at Plevna, for a second time, in insufficient numbers?” — and admitted: “I very much miss Adlerberg’s letters, but I cannot, nor want to, force him to write to me (*Les lettres d’Adlerberg me manquent beaucoup, mais je ne puis, ni ne veux le forcer à m’écrire*)” (his letter of 16 July had not yet reached St. Petersburg at the moment of writing)⁹⁵. The emperor, who may well have taken this for a veiled reproach for the sketchiness of his own letters (all the more that he kept spending some of his time on corresponding, very regularly, with Princess Dolgorukova), dutifully passed her point on to Adlerberg. Both he and his wife needed Adlerberg’s letters to her, though in different ways.

Adlerberg’s response followed immediately, on 1 August. In spite of preparations for the relocation of the Headquarters to another village, he produced a long letter. It captures part of the process by which he had been arriving at the decision to share his diary with the empress. The letter opens with a maddeningly painstaking intervention on how to reconcile the 26 July telegram (which he still had not cracked) and a wish to have him write to her. Just a few days ago, he argues, following the confession about «an unreleased correspondence (*une correspondance inédite*) with You that I could not help but maintain, all the response I got

⁹³ GARF, f. 728, op. 1, d. 3252, l. 198–198 ob. (letter of 26 July 1877, sent off not immediately, but on 1 August along with other theretofore written letters). As for the first sentence, he was probably correct in relating her satisfaction to the gift for one of the grand duchesses that a special office of his ministry had procured.

⁹⁴ In the 31 July entry of the still (but decreasingly) secret diary, the one concerning a range of subjects from the behavior of the young Grand Duke Vladimir to the coverage of the campaign by Russian newspapers, he continues to dwell on what he had mistaken for a characterization of his earlier letter, with a somewhat contrived jocularly: “From one absurd thing to another, I will probably end up representing in Your eyes absurdity itself (*l’absurdité incarnée*)” (GARF, f. 728, op. 1, d. 3252, l. 214 ob.).

⁹⁵ GARF, f. 678, op. 1, d. 794, l. 146, 146 ob.

was a telegram reading as follows: “Received absurd letter. Keep the previous ones”. In what strikes the untrained ear as a cacophony of hyperbole, Adlerberg resorted to his rhetoric of a neglected admirer blaming the admired one for no less than cruelty: “Is it possible that You don’t understand that this (discontinuation of the real correspondence. — *M. D.*) is a privation I am inflicting upon myself, and that the reasons for imposing it had to have been serious? When warning You, at our departure, about the imminent impossibility for me of writing to You, I allowed myself to explain the [main] reason; You were pleased to scorn it. <...> What, then, can the effect of my letters be under these conditions? I am not capable of telling You what I do not think, cannot <...> see everything rose-colored to flatter You or try to give You illusions <...> I feel completely demoralized and killed by Your cruelty toward me. Just pity me a bit, I beg You (*Je me sens complètement démoralisé et tué par Votre cruauté à mon égard. Un peu de pitié, je Vous en conjure*)”⁹⁶.

The letter’s decisive juncture is a segue from a rather accurate description of his diary’s profile (he could not restrain himself from talking a bit more about his oeuvre) to another effusion of sentiment over the dearest motive behind keeping it — a lived experience of (as if) conversing frankly with the empress: “If <...> I did not stop, before these considerations, keeping this kind of diary for You, to which I have given myself so far, seeking a consolation in an openhearted communication, one that I am unable and unwilling to ever have with anybody but You, — is it not proof of the price I attach to this happiness, of my devotion to You <...>”⁹⁷.

It was as though, having reminded himself of the value of his “journal” and proceeded then to the political issue he considered to be the supreme concern shared with Maria — that of the emperor’s lasting presence in the army — Adlerberg abruptly came to change his mind: “Forgive me for expressing myself here in so peremptory a way. You will find far more of this in my correspondence, *which was not to see the light of day and which I am sending You nonetheless*, [all letters] up to yesterday. I do not have the slightest doubt that You won’t be pleased, if You have the patience to leaf through it”.

He concluded asking her to keep it strictly secret and be lenient toward his pessimism and “well-known absurdity”⁹⁸. So the correspondence was “released” at last.

Of course, this was not a fully spontaneous decision. In order to have the diary ready for mailing, he had by then to have completed the copying, of course by himself, of all forty-seven theretofore drafted letters. Yet, the traces of his inner struggle in the letter of 1 August, number 48, the last one in the bundle to be sent, were not necessarily fabricated. His discourse of anguish and suffering may sound disingenuous, but, after all, he was going to disclose letters that featured a good deal of critique of the emperor, including truly caustic pronouncements. That was foreign to his earlier confidential correspondence with Maria, and a kind of suggested complicity with the empress in criticizing the emperor must have required some guts. Understandably, waiting in the subsequent weeks for Maria to respond, he compared his mental condition to being “literally on burning coals (*littéralement sur des charbons ardents*)”⁹⁹.

Crisscrossed Lines of Epistolary Communication: The Case of a Charge of Slander

Maria’s response of 9 August, confirming the receipt of the diary, upset Adlerberg as too brief (her subsequent letters would be a bit less laconic)¹⁰⁰. In any case, she did not discourage him from writing on, and he, having in fact burnt his bridges, went on sending new letters in which he now talked to the real empress, not an imaginary referent or the real person *via* a projection of her into the future. The correspondence on his end, though, retained something

⁹⁶ GARF, f. 728, op. 1, d. 3252, l. 225–227.

⁹⁷ Ibid., l. 227–228.

⁹⁸ Ibid., l. 229–229 ob. Italics added.

⁹⁹ RGIA, f. 1614, op. 1, d. 846, l. 157 ob. (draft letter of 9 August 1877).

¹⁰⁰ RGIA, f. 1614, op. 1, d. 817, l. 62.

of an introversive diary, as, instead of letters written over several days and “honestly” bearing several successive dates, he continued to prefer writing (that is, drafting and copying) shorter — still pretty long — ones marked by a specific date, finished and signed, even if he knew they would have to be couriered in bundles of three or four. Such an organization also underscored his need to mentally converse with her almost every day.

All this entailed, though, new complications and challenges. In the paper’s remainder, I will focus on one of the major, and polyvalent, subjects in their correspondence following Adlerberg’s confession that epitomized the intricacies of politically charged communication within the emperor’s narrow circle, not all the members of which were (or even wished to be) in touch with one another.

On 4 August, while still waiting for Maria to confirm the receipt of the June–July portion of his diary, Adlerberg ventured to address an emerging sensitive controversy related both to the way the campaign was conducted and to the increasingly visible tensions in the ruling house. The culprit was Count Illarion Ivanovich Vorontsov-Dashkov, a forty-year-old guards general and very wealthy aristocratic landowner, whose stellar career had taken off in the mid-1860s during the conquest of Central Asia and soon brought him to the coterie of Grand Duke and Heir Tsesarevich Alexander Aleksandrovich. For years, Vorontsov-Dashkov contributed to the coterie’s signature illiberal and adversarial sentiment¹⁰¹. As early as 1871, he oversaw the launching of the newspaper “Russkii mir” — nationalistic, Pan-Slavistic, pronouncedly anti-bureaucratic, and critical of what was understood as an anti-nobility bias of the Great Reforms¹⁰²; in 1876, two years into his tenure as Chief of Staff of the Guards Corps (with the heir himself as the corps’ commander), he unofficially worked to encourage fellow officers to go as volunteers to Serbia, a movement that was still frowned upon by his patron’s most august father¹⁰³.

In the Danube Army in 1877, Vorontsov-Dashkov was at the side of Tsesarevich Alexander in the troop detachment besieging the fortress of Rushchuk (presently Ruse [Pyce]), east of the Main Headquarters. Shortly after the crossing of the Danube he distinguished himself in a massive cavalry charge against the Ottomans that allowed for the destruction of a local railway¹⁰⁴. He might well have hoped to be promoted to the Tsesarevich’s detachment’s chief of staff, but what first seemed a greater honor followed instead. In mid-July, he was commandeered back to St. Petersburg to mobilize the Guards Corps and lead it to the front, as by that time there was acute need for large-scale reinforcement and even the emperor’s and the heir’s beloved guards regiments were being summoned to fight. It was during his brief stay in the capital that Vorontsov-Dashkov, fresh from battlefield experience and greedily pressed for first-hand accounts by his high society friends, happened to burst into a series of harsh and demeaning remarks about the army’s command, headed by Grand Duke Nicholas, and its strategy (or, in his understanding, the lack thereof), implying that the consecutive failures at Plevna could not help affecting the army’s morale very badly¹⁰⁵.

Those pronouncements swiftly reached the emperor, and this was what gravely concerned the solicitous Adlerberg as he set about to write to Maria on 4 August that “the Emperor is

¹⁰¹ On this sentiment, see: *Wortman 2000*, vol. 2, 177–188.

¹⁰² OR RGB, f. 58/II, k. 54, d. 2; see more on this subject: *Khristoforov 2002*, 261–266.

¹⁰³ *Krivenko 2006*, 258.

¹⁰⁴ *Shilov 2002*, 155–160 (Vorontsov-Dashkov’s service records [*formuliarnyi spisok*]).

¹⁰⁵ Although Vorontsov-Dashkov’s pronouncements in the summer of 1877 are not relayed in detail in any *reliable* sources, his bilious attitude toward Grand Duke Nicholas and many commanders of particular units in the army can be easily grasped from his unfinished memoir about the war, written even before the war’s end, at a hospital in Vienna where he was treated for a serious illness that had prevented him from taking part in the more victorious half of the campaign. Much to the point are also his letters of late 1877 and early 1878 to Tsesarevich Alexander. The narration in the above-mentioned brief memoir falls short of reaching the point of the author’s trip from the front to the capital (OR RGB, f. 58/II, k. 129, d. 7, l. 1–6 [memoir], 28 ob.–36 [draft letters to the heir]; k. 130, d. 1, l. 1–2 ob. [a draft letter to the heir of early 1878]). The rather spottily researched biography of Vorontsov-Dashkov does not even mention this consequential episode: *Ismail-Zade 2008*.

outraged <...> by the alarming and tactless pronouncements” by Vorontsov-Dashkov “about the army and the way in which the matters are handled here”. To the empress’s confidant, the Vorontsov-Dashkov affair had far-reaching political and dynastic implications. Being hardly sympathetic with the person who was poised to be an influential dignitary in the future reign, Adlerberg found the cited rumors very plausible, because, “unfortunately, I have more than one reason to believe that premature career success along with his own taste for intrigue have gone to his head”¹⁰⁶ (ironically, after Alexander III’s enthronement, Vorontsov-Dashkov became Adlerberg’s nemesis, replacing him in 1881 at the Ministry of the Court in the wake of a sharp critique of the ineptness of this unwieldy branch of administration as well as of the Adlerberg family’s presumed embezzlement).

Far worse than more proof of the young general’s hubris, the scandal threatened to provide enough fodder for speculation about Maria’s eldest son’s contentiousness vis-à-vis his uncles and, by implication, even his father: “Let Vorontsov be culpable of impropriety, indiscretion and even calumnies, of which the Emperor would have reason to be persuaded <...> let Vorontsov be adversely affected in this or that fashion or be he absolved — all this may be disagreeable, but this is not yet a misfortune <...> Unfortunately, one can dread something graver, namely that everyone will take him for the echo of the Grand Duke Heir, of His judgment and His remarks [shared with] him [Vorontsov]. And what proof of the contrary should be presented, when the Grand Duke’s infatuation with Vorontsov and the latter’s influence on Him are well known? <...> It is just a step from here to a conviction of lack of agreement between the Grand Duke Heir and Grand Duke Nicholas — and an open field for tense relations, engendering, from one side, a critique so dangerous from the standpoint of discipline, and, from the other, a lack of confidence and a quite natural awkwardness”¹⁰⁷.

The subtlest point of Adlerberg’s letter was the manner in which he raised the issue of identifying the emperor’s source of information. On the surface, mixing reverence with familiarity in his peculiar way, he proceeds to invite the consort to admit her own responsibility for having added, at so inappropriate a moment, to the ruler’s disturbances: “I am ignorant of the source of the charges against Vorontsov, as the Emperor has not named it to me, but I must admit to You that, instinctively, I could imagine that He learnt about it from You. If I am mistaken, I beg Your pardon, though I do not see how such suspicion could displease You, because who could better and more easily than You draw the attention of the Emperor to such facts. [For him,] it is useful and necessary to know these facts, but if they came from a quite different source, they could be taken by the Emperor for intrigue and malevolence”¹⁰⁸.

Some subtext in this long passage is suggested by the very presumption that, for the rumor in question to travel from St. Petersburg to the Trans-Danube, there must have been a special private channel of communication — as if, for example, Alexander could never have learned about it from one of the regular surveillance reports by the Third Section (duly delivered to him during his entire sojourn with the army). Furthermore, the supposed absence of another trusted contact in St. Petersburg, still better placed to deliver a piece of burning news directly to Alexander, is stated too emphatically to exclude a double entendre. Maria should not be displeased by being the only usual suspect in such situations. But this compliment of Adlerberg’s is expressed in a form that would rather imply that she ought to be now particularly *pleased* by this, whereas the wording that juxtaposes the mention of a “quite different source” with the refrain of “intrigue” and “malevolence” may have connoted someone who could easily ruin the pleasure.

Indeed, it was not Maria who so promptly updated Alexander on Vorontsov-Dashkov’s “debut” as a commentator on the campaign. The informer was her antagonist, Alexander’s mistress Princess Ekaterina Dolgorukova, a person whose existence was well known to both

¹⁰⁶ GARF, f. 728, op. 1, d. 3252, l. 236–237.

¹⁰⁷ Ibid., l. 238–239.

¹⁰⁸ Ibid., l. 236–236 ob.

Adlerberg and Maria but never mentioned in their correspondence. Although, as shown recently by the historian Iulia Safronova, Dolgorukova's political clout before 1880 was far less than suggested by the anecdotes of the time¹⁰⁹, it was during the war of 1877 that matters of politics came to figure more prominently in her correspondence with Alexander. Receiving from him letters about battles, losses, and strategic plans, she took to heart the various military and diplomatic concerns of her beloved Sasha (or, even more affectionately, Mun'ka) and rushed to offer him her emotional support and even advice. Being ostracized, as high society's implicit rules prescribed, by a great number of St. Petersburg aristocratic houses, she would not frequent social events, and the hearsay about Vorontsov-Dashkov reached her through her married sister Maria, nicknamed Mouche, who was among the very few members of Alexander and Ekaterina's own circle and often served as her companion¹¹⁰.

Upon having learnt the news, Ekaterina wired Alexander a coded telegram through their trusted intermediary, the chief of the emperor's personal guard General Ryleev, to whom, unlike to his official superior, Adlerberg, Alexander had unequivocally confided the secret of his second family. The telegram failed to be decoded fully, and on 2 August the intrigued emperor wrote to his mistress in a letter to be immediately couriered to St. Petersburg: "I do not understand whom you meant regarding slander about our dear army"¹¹¹. By that time, as many as two consecutive letters from her in which Alexander was to find the answer to his question, and more, were on their way to the Main Headquarters. Dolgorukova's attack on Vorontsov-Dashkov is a good illustration of her notoriously quarrelsome personality as well as her far from refined vocabulary: "... [Vorontsov] says that the wounded die due to lack of care, that our men commit cruelties, that they don't know how to fight, that it's awful how everything is disorganized and how we are beaten everywhere. <...> It is truly shameful to speak in such a way. You should have ripped his head off for such statements (*Tu aurais dû lui lacé[re]r la tête pour de pareils rapports*), as it is heinous and this is not gossip but the pure truth, because the people who heard this are horrified. Here is the sort of scoundrel who I have reason to say deserves to be hanged".

The second letter, of 31 July, went on anathematizing the supposed slanderer, albeit in a less bloodthirsty manner: "[I]t's too much to be a scoundrel to such a degree and to dare make such remarks while bearing your monogram (on the Aide de Camp General's epaulettes. — *M.D.*)". She pleaded, "for God's sake", with Alexander not to "defile our brave army" by giving "this scoundrel" the post of chief of staff of all the Guards in the field — a promotion that, according to her newest intelligence, he was coveting. The closing paragraph gave a clue to the origin of her peculiar malice: "I hope that you will put him to shame, as well as your son, who surrounds himself with such scoundrels who do him the greatest harm (*J'espère que tu lui fera honte, ainsi qu'à ton fils qui s'entoure de pareilles canailles qui lui faute le plus grand tort*)"¹¹². The plural "canailles" promised more revelations in the future. It was precisely such doubts about the son's reliability in the eyes of the father that Dolgorukova sought to raise by subjecting Vorontsov-Dashkov to such grave and noisy blame. In her own way, she identified his figure as a potential catalyst of intra-dynastic tensions, of which she may have hoped to make some use.

Characteristically, the empress's take on Vorontsov-Dashkov's reported escapade was rather lenient, even though she, too, was very jealous of the army's glory. Not until Alexander

¹⁰⁹ Safronova 2017, 200–213.

¹¹⁰ Yet another female member of the circle was Dolgorukova's friend and ex-schoolmate at the Smolny Institute, Varvara (Vava) Shebeko, with whom Alexander, quite knowingly to Ekaterina, not infrequently had oral sex. An excerpt from one of his letters to Ekaterina of the same summer of 1877 gives an idea of another world the emperor of all Russias lived in: "Mes compliments de cœur à Mouche et à Vava de la part de mon bingerle (penis/phallus, in their slang. — *M.D.*) qui est tout-à-fait армейский" (GARF, f. 678, op. 2, d. 114, l. 41 — the ending of a letter the accurate date of which cannot now be indicated, as these two sheets of it are found to have been misplaced; most probably, late July 1877).

¹¹¹ GARF, f. 678, op. 2, d. 114, l. 53 (letter of 2 August 1877).

¹¹² *Ibid.*, d. 219, l. 31 ob.–32, 47–48 (letters of 26–30 July and 30–31 July; quotes come from the sections of 29 and 31 July).

himself shared with her, quite fleetingly and certainly without naming the source of information his distress over Vorontsov-Dashkov's alleged pronouncements¹¹³, did she touch upon this issue in their communication. On 12 August, she wrote: "I don't believe that Vorontsov is capable of slandering the company. His personal point of view seemed to me disheartened, he is a pessimist by nature and inclined to critique"¹¹⁴.

Maria may well have divined Dolgorukova's hand in this story. (Responding a couple of weeks later to Adlerberg, she was wondering how he "could have thought" that "I denounced Vorontsov to the Emperor (*Comment avez vous pu croire, que je dénonçai Woronzow à l'Empereur*)"¹¹⁵, meaning by the very choice of the verb that the one Adlerberg sought to identify must be profoundly unlike her; so, it was euphemistically that Dolgorukova could be possibly referred to in their communication). For her, the subject of the garrulous — and pessimistic at that — Vorontsov-Dashkov also proved to be linked with the larger issues of dynastic politics in wartime. But out of the statements attributed to him or heard by her from him directly¹¹⁶, Maria chose to discuss with Alexander, though very briefly, a positive proposal rather than a criticism: "He has uttered an opinion, which, he says, is a desire shared by many in the military, that you personally take over the command, an opinion that I do not share at all. Much, much better to have errors fall on Nisi (Grand Duke Nicholas. — *M. D.*) and his chief of staff. It is the lack of unity in the Main Staff and the intrigues of Levitskii (deputy chief of staff. — *M. D.*) that generate distrust"¹¹⁷.

A motif of sympathy with her son and his sensibilities is discernible in this remark. By that time, Tsesarevich Alexander had developed an aversion to his uncle and commander-in-chief that had a distinct nationalistic undertone. In one of the letters to his wife in 1877, Alexander-fils labeled Nisi "a most hideous Pole"¹¹⁸, implying the latter's supposedly unpatriotic and "un-Russian" mood and the fact that both his Chief of Staff and deputy chief, Artur Adamovich Nepokoichitskii and Kazimir Vasil'evich Levitskii, both targets of much animosity in the army, were persons of "Polish descent"¹¹⁹. Moreover, the Tsesarevich and his younger brother Grand Duke Vladimir were enthusiastic about their father advancing to the Chief Command¹²⁰ — a move that would have been consonant with the future Alexander III's notion of a reinvigorated, robust autocracy. Maria did not favor the specific project to replace the Commander (more on the language of her disagreement with the "desire shared by many in the military" is to come further), but she had a plan for herself that spoke to the same ideal of monarchy. Just three days earlier, in her preceding letter, she submitted this plan to her husband. She wrote that, after all the company being now mobilized has been properly deployed, with the railways less jammed, "I would like to tour hospitals, as far as possible, to Moscow, Kiev, Kishinev, etc., etc. I believe that this would produce a very good effect, it is particularly necessary at such a moment, [when] I could be even suspected of some indifference, which would be detrimental to the monarchical principle. To wait till the wounded are brought over here would take time, it is hoped, as Petersburg is not the place for convalescence. You don't have anything against

¹¹³ Ibid., f. 728, op. 1, d. 2475, ch. 6, l. 183–183 ob. (Alexander's letter to Maria of 2–4 August; under 4 August).

¹¹⁴ Ibid., f. 678, op. 1, d. 794, l. 72 (Maria's letter to Alexander of 11–14 August 1877; under 12 August).

¹¹⁵ RGIA, f. 1614, op. 1, d. 817, l. 67 (Maria's letter to Adlerberg of 27–28 August 1877).

¹¹⁶ As is clear from her later letter to Adlerberg, Maria received Vorontsov-Dashkov during his brief stay in the capital: "I believe he is absolutely incapable of slandering the [army's] morale, about which he spoke to me with admiration, but nor did he about anything else. He is a pessimist and critiques everything. But I suppose there is much that has been wrongly attributed to him, amidst the big turmoil after Plevna. You know our public (*Mais je suppose qu'on lui a beaucoup prêté, dans un moment de grande effervescence après Plevna. Vous connaissez notre public.*)" (Ibid.).

¹¹⁷ GARF, f. 678, op. 1, d. 794, l. 172–172 ob. (letter of 11–14 August 1877; under 12 August).

¹¹⁸ *Iz perepsiki* 2000, 133.

¹¹⁹ More on those tensions within the army and the perception of them from outside, see: *Holquist P. Military Occupation in the Russo-Turkish War.*

¹²⁰ *Miliutin* 2009, 305.

this project, do you? I consider it a duty, apart from the call of my heart (*je considère comme un devoir, outre que le cœur m'y parle*)¹²¹.

Thus, in her capacity as imperial protector of the Russian Red Cross, personifying the emerging sense of women's caring mission at war, Maria sought to add to the publicity of the dynasty's participation in the war effort. In his response of 16 August, Alexander, rather imperturbably, granted his consent, conditioned upon the absence of any threat of epidemic and the approval of the imperial couple's physician Sergei Petrovich Botkin (staying actually with him at the moment)¹²².

As in a plethora of previous cases, Adlerberg's written reaction to Maria's ideas and suggestions confided to Alexander in the wake of the Vorontsov-Dashkov affair (and immediately passed on to Adlerberg) was far more engaged and detailed than that of Alexander himself. Two long and carefully crafted letters of 17 and 19 August provide yet another glimpse into the courtier's *métier* of persuasion and can give a notion of the permissible measure of being insistent when addressing a royal figure.

The first of the two letters goes to great lengths to make Maria fully grasp the realities of traveling so far and meeting the wounded and sick at such uncomfortable and unhygienic facilities as mobile hospitals. A compendium of hardships was prefaced by a new variation on the theme of his "absurdity" as the flip side of boundless devotion: "The pusillanimous, albeit sincere, fear of contradicting You had brought me to the intention not to speak to You about Your eccentric traveling plan to inspect the hospitals, but my conscience does not permit to impose on myself the sacrifice of keeping silent vis-à-vis You on so enormously grave an issue. <...> If You were willing to deign to descend, for a moment, from the height of Your arrogance and Your disdain to the point at which You would mentally put Yourself in the place of a simple mortal, whose devotion to You cannot be doubted, You would understand how far his moral torment can go, You would have pity, and You would forgive me for my intention. <...> It's up to You to find it [my judgment] wrong or stupid, but do not state this in advance; do not reject, in a biased manner, reasoning founded on long experience, quite sufficient for a man who, after all, has not yet sunk into full idiocy, a heart that is devoted to You to, so to speak, an impossible extent"¹²³.

However ritualistic all these florid passages may sound, Adlerberg certainly realized that he was arguing against a project instantly and truly very dear to Maria's heart, something that was part of her rekindled sense of life. Unfurling a thick scroll of sobering considerations related to her sickness and to the formidable logistics of travel, he does not fail to invoke some painful minutiae of her everyday physical condition: "In addition to it, take into consideration the foul air infested with disease, inevitable in hospitals. Is it possible at all that You, who cannot stay for a quarter of an hour in Your own room or Your train car without windows open, You would be able to bear the air of a hospital full of wounded? — Obviously, You overestimate Your strength"¹²⁴.

Maria's neglect of her own health — yet another aspect to her image of self-negation and otherworldliness — was a long-standing discursive convention between the two correspondents. He felt entitled to speak in a tone of feigned sternness that would befit an old doctor chastising his younger patient for breaching the regimen: "There is nothing new in that You always overestimate Your strength despite experience and the sad recurrent results of Your poor calculations. Yet, as there is no human power that would be able to convince You of this and to rein in Your obstinate recklessness in this regard, there is no way of surpassing the exorbitance of Your audacity when it's necessary"¹²⁵.

Aside from Adlerberg's genuine anxieties about probable complications, these hyperboles fed into the politics of loyalty, as claiming a right to bear responsibility (in a sense, larger than

¹²¹ GARF, f. 678, op. 1, d. 794, l. 168 ob.–169 (letter of 8–9 August 1877; under 8 August).

¹²² *Ibid.*, f. 728, op. 1, d. 2475, ch. 6, l. 191 (Alexander's letter of 16–18 August 1877).

¹²³ GARF, f. 728, op. 1, d. 3252, l. 294 ob.–296.

¹²⁴ *Ibid.*, l. 300–300 ob.

¹²⁵ *Ibid.*, l. 299.

the one falling on even trusted doctors) for the royal person's health was a privilege to which only the most devoted servants could aspire. Adlerberg further elaborated the health–politics nexus through contrasting any possible positive outcomes of Maria's trip in the short-term with the predictable future burden of expectations associated with the new level of the empress's visibility: "What results have to be achieved? <...> I do not think that it should be for having good works praised by newspapers, in panegyrics about which You cannot care. Is this for the public? But it is well informed about everything You do <...> Today You would present these people (the wounded in hospitals. — *M. D.*) with a big and nice surprise <...> but as soon as You would not be able to do the same to others, ones like them, You would produce, instead of a good effect, a bad one, and what is today a surprise, in the future can become a pretense or a demand that You could not and ought not satisfy <...> Believe me, You should never exaggerate, never do too much, even good works, without considering the consequences. Believe me, a partial good effect, local and passing, that You would produce now, would later pay You back with painful impressions"¹²⁶.

The (seemingly) phlegmatic "Never exaggerate, never do too much", which could pass for a motto of the imperial status quo's guardians, was, in essence, the leitmotif of all Adlerberg's correspondence from the army when it came to the ruling family in the ongoing war. The objection to Maria's trip that concluded the letter and which Adlerberg conspiratorially asked her to keep in "the most absolute secrecy" was much to the same point: "Your project, for me, is analogous to the Emperor's presence in the army, which I have never approved. In both cases, producing a good effect is the motive, and the pretext, and the *raison d'être*. I am afraid that this analogy might encourage the Emperor to persevere much in His intentions, to make all these inconveniences still worse, and to put off endlessly his return to Petersburg, so unanimously called for in Russia <...>"¹²⁷.

This line of reasoning was definitely to be furthered in upcoming letters. On 19 August, Maria's letter to Alexander, containing a paragraph on Vorontsov-Dashkov and his utterances about the desirability of Alexander advancing to the Chief Command, arrived¹²⁸. That very day, Adlerberg resumed his epistolary discussion of the politics of dynasty by referring to "one phrase from Your last letter to the Emperor that made me jump in my chair and completely baffles me as regards the way You consider and judge certain questions". (Notice how common and taken for granted the practice of showing the wife's private letters to Adlerberg must have been for Alexander, a practice obviously not protested by Maria).

In the following lines, Adlerberg subjected the empress's letter to a kind of exegesis that was capped with a moralistic reproach: "You say that, according to Vorontsov, all the army wants the Emperor Himself to take the Command, but that You are not of the opinion that he should do so. You restate Vorontsov's gossip <...> as an indisputable fact, and You scarcely touch on Your own personal opinion (*Vous glissez très légèrement sur Votre opinion personnelle*). Just as the tone makes music, even on paper, there is an impression that, being certain about the veracity of Vorontsov's assertion, You are only risking <...> a timid observation, the value of which You submit to the Emperor's judgment and decision, ready as You are to withdraw, if He doesn't share Your opinion, — and all this comes with a quite pronounced tint <...> of the fear of contradicting Him. To me, this proves the lack of conviction on Your part, something that I more than ever deplore on this occasion"¹²⁹.

Adlerberg proceeded to deny the existence in the army of "a single sensible man" who would not be terrified by the prospect of Alexander taking over the official responsibilities of Commander-in-Chief. In particular, he urged the addressee to think "about the eventuality of a failure under the Emperor's direct command, the possibility of being defeated by some miserable

¹²⁶ *Ibid.*, l. 297 ob.–298 ob.

¹²⁷ *Ibid.*, l. 301 ob.–302 ob.

¹²⁸ GARF, f. 678, op. 1, d. 794, l. 170 (Alexander's note of receipt in Maria's letter's first page).

¹²⁹ GARF, f. 728, op. 1, d. 3252, l. 304–304 ob.

Pasha”. “[D]oesn’t one’s hair stand on end at the very thought that this could happen?”, he exclaimed, explicating that such an occurrence would deliver a blow to “the honor and dignity of Russia <...> together with the prestige of Her Sovereign Autocrat in whose infallibility, fortunately, the people still believe, and must believe”¹³⁰.

Adlerberg plumbed Alexander’s mind as far as to suggest that the idea of advancing to the Chief Command had long since “germinated in the Emperor’s head” but he had resisted it thus far, in part, because of his unwillingness to hurt the feelings of his brother Commander-in-Chief and, in greater part, because of some “instinctive” anticipation of serious objections. So, he inferred, “[t]his is why the slightest encouragement, the slightest allusion to this question can be fateful, and, begging Your pardon, I find in this phrase a certain encouragement because Your objection, too modest and too timid, seems like You are willing to subject Your personal opinion to the so-called public opinion or the so-called wish of the Army <...>”¹³¹.

Very probably, Adlerberg thought that Maria’s true intention was exactly to encourage, even if indirectly, the emperor to replace Grand Duke Nicholas with himself. Vorontsov-Dashkov, said to have blamed the Grand Duke for the failures at Plevna, was a man of the heir, while Maria was sympathetic to some of her son’s dissenting views, and the emperor’s own drift toward war with the Ottomans in late 1876 and early 1877 was to no small extent attributable to the deepening impression made on him by the real or perceived unanimity of public opinion on the Balkan developments. In fact, Adlerberg crowned his admonitions in the letter of 19 August with a closing vignette from which one was to gather the intoxicating power of “so-called public opinion”: “Just to think what a revolt of fifty Herzegovinian wretched shepherds has proved able to produce! There is something from which to lose one’s mind <...> with policy-making held in pitiable condition and diplomacy in contempt”¹³².

Indeed, if the prospect of having the Emperor officially at the helm of the army in the field terrified not only Adlerberg, but also Minister of War Miliutin and, even more understandably, Grand Duke Nicholas, then the young grand dukes, Alexander-fils included, continued to promote this idea. A few weeks after the exchange on this issue between Adlerberg and Maria, Alexander-fils and his younger brother Vladimir made a last concerted attempt to persuade their father to take over the command¹³³.

Regardless of whether or not Adlerberg considered Maria’s warning against assuming the Chief Command disingenuous, he consistently clung to his persona of an advisor on style and nuance, an engaged yet reverential ghost-writer, a wordsmith. Just as he sought, in the previous letter, to dissuade the empress from “doing too much” in terms of public visibility, he reproached her now for not joining him in the effort to help the emperor realize the necessity of withdrawing from the official military leadership. However, the phrase about “the tone making music” is remarkable, pairing with the “Never exaggerate” maxim to betray some of Adlerberg’s own advising techniques. What likely sounded wrong to him about Maria’s piece of advice to Alexander regarding the Chief Command was the “music” itself, not a tone, and no less than this wrong music needed to be tuned surreptitiously. Correspondingly, the role of adviser amounted to more than just pitch-setting. With his aversion to Pan-Slavism, Adlerberg was sensitive to any acts and gestures of the ruling house’s members that could be seen as prompted by nationalistic imaginings. The claims of both royal spouses to a greater and more direct part in the war effort and to more publicity were, to Adlerberg, a still worse version of subjecting principle to sentiment.

¹³⁰ Ibid., l. 305.

¹³¹ Ibid., l. 306–306 ob.

¹³² Ibid., l. 307.

¹³³ In his diary, Miliutin tellingly refers to “the tempting persuasions” of Alexander “by his [the emperor’s] sons” (*Miliutin* 2009, 305 — entry of 12 September 1877). As a validation of Miliutin’s statement, see a very — unusually for their correspondence’s otherwise reserved tone — frank letter of the heir to Alexander II, of 10 September 1877, on the subject of high command: GARF, f. 678, op. 1, d. 732, l. 79–81 ob., 83–83 ob.

Both projects, the replacement of the Commander-in-Chief and the inspection of hospitals, went unrealized — just the outcome Adlerberg had been steadfastly aiming at (but which was certainly made possible by a number of other factors both within and beyond the ruling house's inner circle). Regarding Maria's trip, her confidant must have pressed the physician Botkin — another instrument of influence, a “tonometer” of sorts — to that end¹³⁴. Finally, Vorontsov-Dashkov's head was not “ripped off”, either, as the highest-ranking of the presumed listeners of his “calumnies”, Adlerberg's cousin Count Eduard Trofimovich Baranov, who was named to the emperor by the same Dolgorukova, did not confirm that he had heard any statement vilifying the army¹³⁵. Dolgorukova's objections notwithstanding, Alexander first proceeded to promote Vorontsov-Dashkov — instead of the heir, whose life ought not to be exposed to too great a risk — to commander of the Guards Corps deployed in the field¹³⁶. However, obviously in some conjunction with all the fuss over him in St. Petersburg¹³⁷, a change of heart on the emperor's part quickly followed, and the young general was relieved of his newly obtained enviable post and transferred to a lower one in the heir's Rushchuk detachment¹³⁸. His career was stalled until the enthronement of Alexander III, when he replaced Adlerberg at the head of the Ministry of the Court.

Conclusion

Taken together, various threads of oral and written communication in the imperial couple's sanctum, with the indispensable Adlerberg as both a mediator and a full-fledged interlocutor in his own right, formed a triangulated structure that was intended to facilitate mutual understanding. During six months of the 1877 campaign, Adlerberg served as less of an authoritative commentator on the emperor's will, as was the case just a year earlier, than a skeptical observer of the ruling family's dabbling in a war fraught with a grave legacy. In doing so, Maria's “old grumbler” did not cease seeking to influence Alexander through her.

Within the immediate context, the correspondence between Maria and Adlerberg brings into sharp relief a fundamental implicit rule of communication that the most privileged servitor-devotees, along with other loyal subjects, had to abide by. Indeed, even for an aristocrat and dignitary who had known the empress for more than thirty years, and knew her so intimately, hyperbole remained the chief trope in the written expression of joy and gratitude as well as of disappointment and chagrin. Courtly punctilio remained the standard not just in the

¹³⁴ Initially, Botkin, when asked by the emperor, did not object to the idea of Maria's trip, but later changed his mind, which obviously affected Alexander who withdrew his approval. In his letter to Maria of 22 August, Adlerberg wrote about Botkin's “repentance” over his initial consent (RGIA, f. 1614, op. 1, d. 846, l. 192 ob.).

¹³⁵ Baranov's letter, of 14 August 1877, to Adlerberg on this issue: RGIA, f. 1614, op. 1, d. 192, l. 9–11 ob. In the same letter, Baranov signaled his own agreement with the idea of the emperor advancing to the Chief Command, though not crediting Vorontsov-Dashkov with having communicated it in behalf of the army.

¹³⁶ *Shilov* 2002, 157–158. An impression that this (aborted) promotion placed Vorontsov-Dashkov above the heir, who had commanded the Guards in peacetime and remained the nominal commander of the corps, is recorded in the diary of Grand Duke Sergei Aleksandrovich: GARF, f. 648, op. 1, d. 26, l. 183 (entry of 24 September 1877).

¹³⁷ GARF, f. 728, op. 1, d. 3252, l. 313 ob.–314. (Adlerberg's letter to Maria, 20 August 1877); GARF, f. 678, op. 2, d. 114, l. 33 (letter of Alexander to Dolgorukova of 21 August 1877).

¹³⁸ In his later account of Vorontsov-Dashkov's falling out of favor with Alexander II in September 1877, the well-informed diarist and the man's good acquaintance Alexander Aleksandrovich Polovtsov cites Vorontsov-Dashkov's outbursts against the army's high command and the food and fodder supplies (quartermaster) service, as well as certain intrigues against him, but seems not to have heard of E. M. Dolgorukova's role (GARF, f. 583, op. 1, d. 13, l. 147–151 — entry of 11 February 1878). A fleeting remark, dated to the time just before the Guards' mobilization in 1877, regarding Dolgorukova's concern (shared probably with the emperor) about Vorontsov-Dashkov's influence on the heir was made by another inquisitive diarist, A. A. Kireev (OR RGB, f. 126, k. 7, l. 65 ob. — entry of 8 July 1877). In Vorontsov-Dashkov's own correspondence of the autumn of 1877 examined thus far I have not found traces of anyone's awareness of Dolgorukova's intervention in July 1877 (which does not necessarily mean that he and all of his correspondents were truly unaware).

realm of ceremony, but also in that of semi-informal epistolary discourse. It is that imperative of hyperbole that imparted a streak of unnaturalness to Adlerberg's prose when addressing Maria, in spite of their mutual affinity and avoidance of formal dryness.

For Adlerberg, the imperial couple, as of the 1870s, did not constitute a monolithic object of devotion and service. His correspondence with the empress was part of the experiences that a prominent giver of fervent loyalty had at the intersection of the ruler's entourage and the consort's intimate circle. His accentuated behavior of a worshipper whose feelings are painfully underestimated eventually added sincerity (or so it was presented) to his criticisms shared with the empress. However, a dose of permissible informality was significantly smaller vis-à-vis the emperor. As put by Adlerberg himself in one of the letters to Maria following the delivery of the diary in early August, one in which he proceeded to argue for Alexander leaving the army as soon as possible and pleaded with her to support his case, "there are things that it is impossible to say to the Emperor in spite of all my sincerity of conviction"¹³⁹. In this regard, and at least at that specific juncture, Maria was expected to play a mediating role between Adlerberg and Alexander as much as Adlerberg himself mediated between the royal spouses. Their trilateral communication further interfered with the institution of the imperial couple itself.

Connected as it was to the broader politics of monarchy, Adlerberg's personal allegiance to Alexander II, however unquestioning and boundless, could be harnessed by him as a means to work toward a goal larger than the minister of the court's duties suggested. He never shied from presenting himself, ostentatiously, as a monomaniacal, agoraphobic courtier whose concerns were confined to the imperial family's quotidian life. In an aphoristic formulation of this priority, he wrote to Maria in the fall of 1877 about how he had survived the horrors of the third failure at Plevna in late August: "...I was far more stunned and afflicted than the Emperor, but on different grounds. <...> The Emperor was suffering for what was occurring itself, for the defeat, and its victims, whereas I was suffering for the Emperor"¹⁴⁰. Not accidentally, another member of the Imperial Headquarters, General N.P. Ignat'ev, observed that at bivouac meals Adlerberg would take a seat in front of the emperor thus occupying "the hostess's place (*na meste khoziaiki*)"¹⁴¹ — a gendered simile that graphically captures his self-positioning as a liege man who is singularly worried about the master.

Still, it is precisely this emphasis on the essentially personal, "feudal" nature of his loyalty that, in the specific political, ideological, and emotional setting of the 1877 campaign, enabled Adlerberg to assume a principled stance against nationalist leanings within the imperial elite. The continuous anxiety over the ruler's physical and moral state as something put demonstratively above thousands of casualties in the battlefield and the very outcome of the war — that anxiety worked for a certain end. It contrasted the traditional, dynasty-centered political order with the emerging vision of a monarch inappropriately susceptible to a nation's demands (and therefore, for one thing, feeling obliged to attend a risky campaign till at least the first decisive victory). After all, the courtier's extreme subservience can be a form of daring.

ACRONYMS

GARF	<i>Gosudarstvennyi arkhiv Rossiiskoi Federatsii</i> (State Archive of the Russian Federation)
OR RGB	<i>Otdel rukopisei Rossiiskoi gosudarstvennoi biblioteki</i> (Manuscripts Department of the Russian State Library)

¹³⁹ GARF, f. 728, op. 1, d. 3252, l. 302 (letter of 17 August 1877).

¹⁴⁰ Ibid., l. 342 (letter of 8 October 1877).

¹⁴¹ Ignat'ev 1999, 233 (letter of 23 August 1877).

- RGADA *Rossiiskii gosudarstvennyi arkhiv drevnikh aktov* (Russian State Archive of Ancient Acts)
- RGIA *Rossiiskii gosudarstvennyi istoricheskii arkhiv* (Russian State Archive of Ancient Acts)

DISCLOSURE STATEMENT

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

ARCHIVAL SOURCES

- GARF. Fond 583 (A. A. Polovtsov); Fond 648 (Velikiy knyaz' Sergey Aleksandrovich); Fond 677 (Aleksandr III); Fond 678 (Aleksandr II); Fond 728 (Kollektsii dokumentov rukopisnogo otdeleniya biblioteki Zimnego dvortsa). (In Russ.).
- OR RGB. Fond 58 (Vorontsovy-Dashkovy); Fond 126 (Kireevy i Novikovy). (In Russ.).
- RGADA. Fond 1274 (Paniny i Bludovy). (In Russ.).
- RGIA. Fond 1614 (Adlerbergi, grafy). (In Russ.).

REFERENCES

- Holquist, Peter. 2015. "Bureaucratic Diaries and Imperial Experts: Autobiographical Writing in Tsarist Russia in the Late Nineteenth Century: Fëdor Martens, Dmitrii Miliutun, Pëtr Valuev." In *Imperial Subjects: Autobiographische Praxis in den Vielvölkerreichen der Romanovs, Habsburger und Osmanen im 19. und frühen 20. Jahrhundert*, edited by Martin Aust and Frithjof Benjamin Schenk, 204–32. Köln: Böhlau.
- Kiliç, Ayten. 2012. "Paved With Good Intentions: The Road to the 1877–78 Russo-Ottoman War, Diplomacy, and Great Power Ideology". PhD diss., History Department, University of Wisconsin-Madison.
- Offord, Derek, and Vladislav Rjéoutski, and Gesine Argent. 2018. *The French Language in Russia: A Social, Political, Cultural, and Literary History*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Rebecchini, Damiano. 2019. "Reading Novels at the Winter Palace under Nicholas I: From the Tsar to the Stokers." *Slavic Review* 78 (4): 965–85. <http://dx.doi.org/10.1017/slr.2019.256>
- Rieber, Alfred. 2017. *The Imperial Russian Project: Autocratic Politics, Economic Development, and Social Fragmentation*. Toronto: University of Toronto Press.
- Vinitsky, Ilya. 2015. *Vasily Zhukovsky's Romanticism and the Emotional History of Russia*. Evanston, IL: Northwestern University Press.
- Vinkovetsky, Ilya. 2018. "Strategists and Ideologues: Russians and the Making of Bulgaria's Tarnovo Constitution, 1878–1879." *The Journal of Modern History* 90 (December): 751–91.
- Vovchenko, Denis. 2016. *Containing Balkan Nationalism: Imperial Russia and Ottoman Christians, 1856–1914*. New York: Oxford University Press.
- Wortman, Richard. 1995–2000. *Scenarios of Power: Myth and Ceremony in Russian Monarchy*. 2 vols. Princeton: Princeton University Press.
- . 2017. *The Power of Language and Rhetoric in Russian Political History: Charismatic Words from the 18th to the 21st Centuries*. London: Bloomsbury Academic.
- Arsen'ev, D. S. 2018. *Zhizneopisanie imperatritsy Marii Aleksandrovny. 1838–1854*. Edited by T. Peters. Moscow: Kuchkovo Pole; Voevoda. (In Russ.).
- Grigor'ev, S. I. 2007. *Pridvornaia tsenzura i obraz verkhovnoi vlasti, 1831–1917*. St. Petersburg: Aleteia. (In Russ.).
- Ignat'ev, N. P. 1999. *Pokhodnye pis'ma 1877 goda: Pis'ma E.L. Ignat'evoi s balkanskogo teatra voennykh deistvii*. Moscow: ROSSPEN. (In Russ.).

- “Iz perepsiki Aleksandra Aleksandrovicha Romanova i ego suprugii Marii Fedorovny.” 2000. *Voprosy istorii* 4/5: 111–35. (In Russ.)
- Ismail-Zade, D. I. 2008. *I. I. Vorontsov-Dashkov — administrator, reformator*. St. Petersburg: Nestor-Istoriia. (In Russ.)
- Khevolina, V. M. 2004. *Rossiiskii diplomat graf Nikolai Pavlovich Ignat’ev*. Moscow: Institut rossiiskoi istorii RAN. (In Russ.)
- Khristoforov, I. A. 2002. “Aristokraticheskaia” oppozitsiia Velikim reformam. *Konets 1850 — seredina 1870-kh gg.* Moscow: Russkoe slovo. (In Russ.)
- Krivenko, V. S. 2006. *V Ministerstve dvora: Vospominaniia*. St. Petersburg: Nestor-Istoriia. (In Russ.)
- Mamonov, A. V. 2004. “Samoderzhavie i slavianskoe dvizhenie v Rossii v 1875–1877 godakh.” *Otechestvennaia istoriia* 3: 60–77. (In Russ.)
- Miliutin, D. A. 2009. *Dnevnik general-fel’dmarshala grafa Dmitriia Alekseevicha Miliutina, 1876–1878*. Edited by L. G. Zakharova, 2nd ed. Moscow: ROSSPEN. (In Russ.)
- Narochnitskii, A. L., ed. 1978. *Rossii i natsional’no-osvoboditel’naia bor’ba na Balkanakh, 1875–1878*. Moscow: Nauka. (In Russ.)
- Nekrasov, N. A. 1982. *Polnoe sobranie sochinenii i pisem*. Vol. 5. Leningrad: Nauka. (In Russ.)
- Nikiforov, K. V., ed. 2008. *Rossii i vosstanie v Bosnii i Gertsegovine. 1875–1878: Dokumenty*. Moscow: Indrik. (In Russ.)
- Nikitin, S. A. 1960. *Slavianskie komitety v Rossii v 1858–1876 godakh*. Moscow: Izdatel’stvo Moskovskogo universiteta. (In Russ.)
- “Pis’mo i zapiski N. A. Kireeva o Balkanskikh sobytiakh 1876 goda.” 1948. In *Slavianskii sbornik: Slavianskii vopros i russkoe obshchestvo v 1867–1878 godakh*, 93–120. Moscow: Gosudarstvennaia biblioteka im. V. I. Lenina. (In Russ.)
- Safronova, Iu. 2017. *Ekaterina Iur’evskaia: Roman v pis’makh*. St. Petersburg: Izdatel’stvo Evropeiskogo Universiteta. (In Russ.)
- Sheremetev, S. D. 2004. *Memuary grafa Sergeia Dmitrievicha Sheremeteva*. Vol. 1. Moscow: Indrik. (In Russ.)
- Shilov, D. N. 2002. *Gosudarstvennye deiateli Rossiiskoi imperii. Glavy vysshikh i tsentral’nykh uchrezhdenii, 1802–1917: Biobibliograficheskii spravochnik*. 2nd ed. St. Petersburg: Dmitrii Bulanin. (In Russ.)
- Tartakovskii, A. G. 1996. *Nerazgadannyi Barklai: Legendy i byl’ 1812 goda*. Moscow: Arkheograficheskii Tsentr. (In Russ.)
- Tolstaia, A. A. 1996. *Zapiski freiliny: Pechal’nyi epizod iz moei zhizni pri dvore*. Moscow: Entsiklopediia rossiiskikh dereven’. (In Russ.)
- Valuev, P. A. 1961. *Dnevnik ministra vnutrennikh del P. A. Valueva*. 2 vols. Moscow: Nauka. (In Russ.)

Научная статья

Служба царедворца вблизи поля боя: граф Александр Адлерберг как эпистолярный конфидент императрицы Марии Александровны во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг.

Михаил Долбилов

Департамент истории, Мэрилендский университет в Колледж-Парке, США

АННОТАЦИЯ

В центре внимания статьи — личность и деятельность графа Александра Владимировича Адлерберга, министра императорского двора при Александре II, сановника, чья служебная сфера включала в себя целый ряд официальных обязанностей и неформальных поручений, касавшихся престижа и харизмы правящего дома. На этих страницах Адлерберг выступает прежде всего как доверенный корреспондент августейшей персоны, чей политический вес недооценен историками, — императрицы Марии Александровны. Длившаяся годы, переписка между царедворцем и супругой правителя обрела особую важность в пору русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Находясь тогда при императоре вблизи линии фронта на Балканах, Адлерберг стремился, не отступая от поведенческого кода безусловной лояльности, выразить в письмах свою принципиальную озабоченность ходом войны: как виделось ему, монархия опрометчиво одобряла панславистский националистический экспансионизм (знаком чего служило личное присутствие Александра II в действующей армии). В статье раскрывается роль, которую Адлерберг в качестве корреспондента императрицы сыграл в сглаживании немаловажного разногласия, возникшего в правящей семье по поводу поражений российских войск под Плевной летом 1877 г. Тонкое посредничество Адлерберга между всё более отчуждавшимися друг от друга венценосными супругами связывается в статье с присущей дому Романовых субкультурой личной преданности, в которой подчеркнутая покорность царедворца могла стать формой заявления позиции по тому или иному политическому вопросу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Российская империя, русско-турецкая война 1877–1878 гг., политическая лояльность, императорский двор при Александре II, частная переписка российской элиты XIX в.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Долбилов М.Д. Служба царедворца вблизи поля боя: граф Александр Адлерберг как эпистолярный конфидент императрицы Марии Александровны во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. // History HSE. 2022. № 1. С. 102–136.

ПОСТУПЛЕНИЕ СТАТЬИ: 15.09.2021 | **ПРИНЯТИЕ К ПУБЛИКАЦИИ:** 04.11.2021

ЗАЯВЛЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Article

Three Base Mythic Narratives of Memory, Identity – Solidarity and Ethics (Invitation for Discussion Regarding the Narrative Core of Collective Memory)

SERGEY EHRLICH

“Nestor-History” Publishing House, St. Petersburg, Russia

ABSTRACT

Which memory, which identity and which ethics are adequate for our global information civilization? To answer this question, the author turns to mythic narratives, which are “carriers” not only of memory but of identity and ethics as well. We can reduce the number of specific mnemonic narratives to three base mythic narratives: the fairy tale is adequate for kin (family), the heroic myth is adequate for folk (nation) and the myth of self-sacrifice (Prometheus and Christ) is adequate for humankind. We can point out three main effects of that “three-path” evolution. Firstly, identity, which presumes solidarity, becomes broader by including much more people in the number of “our own”: “kin” (family), “folk” (nation) and “humankind.” Secondly, memory becomes deeper and encompasses a longer timeline, consequently expanding to “patriarchs,” “state founders,” “Paleolithic ancestors” and even the “Big Bang.” Thirdly, ethics are gradually shifting from selfish values of survival to altruistic post-materialist values of self-expression (Ronald Inglehart).

KEYWORDS: specific narrative, schematic narrative template and base mythic narrative, fairy tale (myth of booty), heroic myth (myth of others-sacrifice) and myth of self-sacrifice, global memory, identity-solidarity and ethics

FOR CITATION: Ehrlich, Sergey. 2022. “Three Base Mythic Narratives of Memory, Identity – Solidarity and Ethics (Invitation for Discussion Regarding the Narrative Core of Collective Memory).” *History HSE* 1: 137–160.

SUBMITTED: 04.07.2021 | **ACCEPTED FOR PUBLICATION:** 17.10.2021

How Does the “Space of Experience” Destroy our “Horizon of Expectation”?

The transition from the industrial society of nation-states to the information society of global humankind, is hampered by inertia of the “collective representations” (Emil Durkheim). Both “elites” and “masses” still believe that if the nation-state is not the crown of social creation, it is a necessary evil. The consensus of grim “realists” is generated by disappointment with the idea of *progress* which inspired Jules Verne’s contemporaries. The existence under

the nuclear sword of Damocles forces the “risk society” (Ulrich Beck) people to stop imagining the future and live for today¹. Rephrasing the terms coined by Reinhart Koselleck, the “space of experience” of Modernity destroys the “horizon of expectation” of Global Age.

This resulted in a paradoxical situation. Industrial Modernity, a “container” of which is the nation-state, has led to the emergence of nuclear threat, to growing environmental degradation and social inequality and other global challenges, which cannot be solved within the national framework. At the same time, fearing the future, which is based on those threats does not allow us to get rid of “short-term thinking”² and imagine the global community, which is capable of solving global threats effectively.

How “to diminish the control that the [national] past exercises upon the [global] future”?³

Benedict Anderson⁴ argues that the world of nation-states was imagined by the scholars, writers and artists of the nineteenth century. In the twentieth century their imagination brought poisoned fruit: the two World Wars, numerous armed conflicts, mass terror and a wide array of genocides. The intellectuals of the twenty-first century should acknowledge the global needs and stop playing by the rules of the previous centuries, activate their imagination and systematically work on reshaping public consciousness: “It is no. extravagance to formulate the problem of the future... in terms of imagination”⁵.

Why Memory?

The paramount importance of collective memory for the present and future of existing forms of collective life is obvious, because it is a base of group identity.

On the surface it is not clear why the logical idea of building identity, which is based on common goals, does not work in practice. In the Soviet Union of the 1920s there was an attempt to create identity by using the international values of future world revolution. Bolshevik leaders believed that the history narratives, which are saturated by “bourgeois-nationalist feelings”, would be an obstacle to achieving the goal of the Third (Communist) International. Therefore, history in high schools was excluded and replaced by sociology. But in the 1930s Stalin realized that “patriotic education” is an indispensable instrument for the strengthening of military spirit. History, in other words, the nationalist values of Russian collective memory, was reestablished instead of sociology, which was prohibited as a “bourgeois pseudoscience”.

Identity is a *feeling* rather than an *idea* of group belongingness, without which a community is broken: “When it considers its own past, the group *feels* strongly that it has remained the same and becomes conscious of its identity through time”⁶. Therefore, the national memory of Modernity is a mainstay of the nation-state: “No memory, no. identity; no. identity, no. nation”⁷. Not only a nation but every form of society exists as long as there is consent to a common identity, which presumes solidarity: “To share an identity with other people is to feel in solidarity with them”⁸. Identity, in turn, is based on memory. In the sequence — *society*, *identity-solidarity* and *memory* — memory plays the role of a cornerstone of the entire social structure.

The collective memory exercises not only a conservative social function, it is an important instrument of radical social changes, because memory and imagination mutually affect each other. “Imagination is memory in the future tense”⁹, so memory is imagination in the past

¹ Hartog 2015.

² Guldi 2014.

³ Kuipers 2011, 2.

⁴ Anderson 2006.

⁵ Ricœur 1996, 3.

⁶ Halbwachs 1980, 85. Italics added.

⁷ Smith 1996, 383.

⁸ Hollinger 2006, 23.

⁹ Rumsey 2016, 3.

tense: “recollections are nothing but images”¹⁰. There is a “short-circuit between memory and imagination”¹¹. “Memory acts on the imagination and imagination works with the material provided by memory”, write the authors of the term “mnemonic imagination”¹². The interplay of both phenomena is confirmed by neuroscience research¹³: “In terms of understanding the brain basis of remembering and imagining it seems that both memories and episodic simulations of the future are mediated in large part by the same neural networks”, hence “we should be using the term remembering–imagining system (RIS) rather than simply memory system”¹⁴.

Therefore, studying collective representations of the past, which Durkheim’s disciple Maurice Halbwachs calls “collective memory”, could provide indispensable insights for “future thinking”¹⁵, regarding an “imagined community” of information civilization. George Santayana’s maxim that “those who do not remember the past are destined to repeat it” assumes that “the more knowledge and understanding” of the past we have, “the better we can shape the future”¹⁶.

Global memory designers are facing a double task. At first, it is necessary to deconstruct the skeleton of national memory and to show that identity-solidarity based on that memory shapes societies that are unable to respond adequately to the challenges of information civilization. Subsequently, we should imagine the memory and identity of a future society, where the collective future needs are “the directive function” for “shaping the collective past in the context of collective identity”¹⁷.

Is History a Part of Memory?

It is impossible to discuss memory outside its relations with history. These words not only are frequently synonyms in common language, but some scholars argue that the “boundary between history and memory is by nature porous”¹⁸ and hence historiography is “by nature” not an instrument of studying memory, but a subject of memory studies. There is a lot of evidence that supports this approach. Stefan Berger persuasively argues that professional historiography is a product of nineteenth-century nation-states and professionalization of historians was strongly motivated by striving to gain symbolic and other capital from their corporate position “as the only one that can speak authoritatively about the past”¹⁹. Historians, as the main experts in the field of society’s relations with its past, played and still play a leading role in the shaping of nationalist collective memory²⁰.

In my opinion, that evidence proves only one thing: that many, and maybe even the majority, of historians are members of a “dishonest legion” of scholars from different disciplines both in the humanities and natural science, who betray truth guided by “such non-rational factors as rhetoric, propaganda and personal prejudice”²¹. It is true that all scholars as members of their societies are affected by powerful narratives, which are based on national, religious, class and other interests. Therefore, a historian must permanently make a choice between the universal narratives of science and the group narratives. When, for example, he/she is seriously engaging with his/her nation-state memory narrative, he/she turns out to be an agent of national memory

¹⁰ Halbwachs 1992, 70.

¹¹ Ricœur 2006, 5.

¹² Keightley 2012; 2017, 2.

¹³ Persinger 1986, 347–350; Schacter 2007, 657–661.

¹⁴ Conway 2016, 256–257.

¹⁵ Schacter 2012, 688.

¹⁶ Bickford 2010, 77.

¹⁷ Szpunar 2016, 383.

¹⁸ Fogu 2006, 302.

¹⁹ Berger 2019.

²⁰ Berger 2015.

²¹ Broad 1983, 9.

regardless of his/her investment in historical studies. Astrologists and alchemists made a big contribution to the early stages of astronomy and chemistry, but that does not allow them to be called “astronomers” or “chemists”. From the perspective of academic standards — “the historian certainly means to be objective and impartial”²² — it does not matter if a scholar either wittingly or unwittingly chooses between Hayden Whites’ “emplotment”, argument and ideology “modes,” because reflexivity and self-reflexivity are part and parcel of our profession. There is a need to specify that the thesis of the “unconscious” choice of the nation-state “grand narrative” (Jean-François Lyotard) is very dubious, simply because in the majority of cases that choice is still a profitable business. Therefore, we should not “reify” the desperate reality when historians promote nationalist propaganda under the name of science, but we must sustain standards of the historical discipline in accordance with the requirements of the Weberian ideal type of academic profession, in which the central principle “consists in the search for truth”²³.

In answering the question, “Why is history not a part of memory?” the first point to note is that history is seeking the truth about the past, which is universal for humankind, and memory is responsible for the shaping of particular groups’ identities through *examples* of the past. For the agents of memory it does not matter whether their ‘heroic examples’ are facts or fakes. In turn, honest historians are indifferent to how their research might affect any group identity. Therefore, the boundary between unbiased history and biased memory is not “porous”, there is “the growing gap between collective memory and the body of facts established by historical research”²⁴: “History is willing to change a narrative in order to be loyal to facts, whereas collective remembering is willing to change information (even facts) in order to be loyal to a narrative”²⁵. History-truth is in principal conflict with memory-identity, because the universal truth of history is not compatible with “private” identities and solidarities of numerous communities of memory. This is the reason why the discipline of history should ideally be “perpetually suspicious of memory, and its true mission is to suppress and destroy it”²⁶. Every group falls apart if it loses its identity-solidarity. That is why the nation-state is suspicious of people looking for the universal historical truth and pays a lot of attention to the shaping of the national memory.

My opponents could ask: “Why do you argue that the nation-state memory narratives are not compatible with the standards of historical profession and, at the same time, you argue that reshaping collective memory in accordance with the needs of global information civilization is a part of our professional duties? Are there no. contradictions in your statements?”

I think there is no. error in my thesis that the universal and objective perspective of the historical discipline is extrinsic to the multitude of “private” and biased nation-state memories, but universal ideals of academic historiography are fully appropriate for the global collective memory of information civilization. From the global perspective memory-identity becomes equivalent to history-truth: “History can be represented as the universal memory of the human species”²⁷. In that sense the historian is a prophet, who, contrary to Friedrich Schlegel, is looking not only backwards but also forwards. By searching for truth, he fearlessly destroys the nation-state identity-solidarity and creates global ones. Therefore, he brings the triumph of the global information civilization closer.

Three in One

The sequence — *society*, *identity-solidarity* and *memory* — demonstrates that society is dependent on its memory through intermediation of identity and solidarity. This involves the question regarding essences, which determine memory itself.

²² Halbwachs 1980, 83.

²³ Popper 1992, 4.

²⁴ Shapira 1996, 22.

²⁵ Wertsch 2008, 324.

²⁶ Nora 1989, 8–9.

²⁷ Halbwachs 1980, 84.

Reflecting that problem in the context of society, we assume that memory has a collective nature, but this assumption is still under discussion. Susan Sontag²⁸ insists that: “All memory is individual”. Not only irresponsible public intellectuals, but some rigorous scholars are skeptical about the Halbwachsian concept of “collective memory”²⁹: “What miraculous procedure is responsible for the transformation, which takes place by the mere transition from a single individual to a group of individuals?”³⁰ Their criticism is partly justified, because the reference to “the perspective of the group” as a “carrier” of collective memory³¹ — is pretty vague and we really need a more applicable mediation tool between individual and collective memories. Yes, Halbwachs³² writes that individual memory is able to work only using a collective tool of language: “We speak of our recollections before calling them to mind”, but he does not clarify what he subsumes under the word “speak”. It is remarkable that in the text of “*La Mémoire collective*” the word “narrative” is not mentioned at all³³.

The decisive step from language to narrative was made by James Wertsch (2004). The heritage of Ernst Cassirer and Lev Vygotsky regarding the mediating role of natural and artificial languages allowed him to argue that *narrative* is a mediation tool of collective and individual memory. Wertsch’s narrative approach shifts the focus of analysis from the *lieux de mémoire*, which means external “spatial expressions of memory”³⁴, to the essential interplay of its collective and individual forms: individuals string “the meat” of personal experiences on the “skewer” of collective narrative; at the same time, publicly shared individual experience, which is structured by the collective narrative, changes the narrative itself. Collective and individual memories do interact, as Halbwachs³⁵ points out: “One may say that the individual remembers by placing himself in the perspective of the group, but one may also affirm that the memory of the group realizes and manifests itself in individual memories”. It is important to specify that the interaction of collective and individual memories is possible only through a mediation of narrative: “In combination, these two reinforce one another: each individual story helps to shape a larger history by providing it with detail, depth, and nuance, and, in turn, each story is enhanced and given broader meaning through its contextualization within a larger historical matrix”³⁶. That prolonged interplay is “the history of the memory”³⁷ or “mnemohistory”³⁸.

Memory narratives are not just information, but primarily instructions to what we should and should not do. They perform an important socializing function, providing “social codes, norms, and values”³⁹, that is, patterns of behavior. In order to increase the narrative’s performativity, memory has been given a sacral status⁴⁰; when erroneously named “history” it becomes “the core of civil religion”⁴¹, providing “sanctification of social beginnings”⁴² of the nation-state. That is because “a society can live only if its institutions rest on potent collective *beliefs*”⁴³. A believer’s duty is to follow without any doubts the instructions of that sacral guide, which effects through affects rather than rational knowledge, generating “strong emotional attachment” to his own group⁴⁴.

²⁸ Sontag 2003, 85.

²⁹ Bell 2003; Klein 2000; Novick 2007; Olick 1999.

³⁰ Gedi 1996, 38.

³¹ Halbwachs 1992, 40.

³² Ibid.

³³ Halbwachs 1968.

³⁴ Kansteiner 2002, 191.

³⁵ Halbwachs 1992, 40.

³⁶ Hirsch 2015, 18.

³⁷ Olick 2007, 87.

³⁸ Assmann 1997, 9.

³⁹ Zipes 2006, 14.

⁴⁰ Klein 2000, 129.

⁴¹ Kammen 1993, 12.

⁴² Schwartz 1982, 376.

⁴³ Halbwachs 1992, 187. Italics added.

⁴⁴ Wertsch 2008, 49.

Mircea Eliade⁴⁵ defines the myth as a sacred pattern, “the paradigmatic model for all human activities”. Maurice Halbwachs⁴⁶ prescribes a similar function to memory, it provides “models, examples, and elements of teaching,” which shape “the general attitude of the group”. The cognate approach of both thinkers allows us to identify these phenomena: “Memory is a collective myth shared by a group,” which is “inherited through storytelling”⁴⁷. That storytelling has three main objectives. Firstly, mythic memory narratives answer the question “What should we remember as patterns of our activity?” Secondly, they indicate whom we should consider being “our own” and who are the “strangers”. Thirdly, they prescribe how to treat both “close” and “distant” ones. The mythic narrative is a combination of all three: memory, identity-solidarity and ethics.

Wertsch⁴⁸ argues that it is possible to reduce the multitude of *specific narratives* to a limited number of *schematic narrative templates*. How many narrative templates are there? There is a multitude of answers: according to H.J. Uther⁴⁹ there are 2399 basic plots, according to G. Polti⁵⁰ — 36, according to R. Tobias⁵¹ — 20, according to C. Booker⁵² — 7, and so on. Josef Campbell⁵³ reduces all myths and fairy tales to a singular narrative structure of the “*monomyth*”⁵⁴: “separation — initiation — return”.

Despite his hyper-reductionist approach Campbell⁵⁵ points out that fairy tales and different kinds of myth differ by their end purpose, namely to whom (to his own kin, to his own folk or to all humankind) the hero brings “boons”, which he won during a struggle of life or death. That subdivision of the “monomyth” is very productive, because the ending defines a general meaning of narrative⁵⁶. Therefore, from the perspective of the boons’ recipients target group (kin, folk or humankind) the limited number of schematic narrative templates can also be reduced to three *base mythic narratives*, the common names of which are replaced in accordance with their final goals: the fairy tale (*myth of booty*)⁵⁷, the heroic myth (*myth of others-sacrifice*), and *the myth of self-sacrifice*⁵⁸. Each subsequent base mythic narrative expands in its time and space frames: memory becomes deeper, identity-solidarity broadens the circle of ‘our own’ and finally it results in changing the ethical norms:

1) “The kin (family)” base mythic narrative is the fairy tale (myth of booty), which consists of three main elements: *self-sacrifice*, where the hero has a physical or mental⁵⁹ fight to the

⁴⁵ Eliade 1987, 97–98.

⁴⁶ Halbwachs 1992, 59.

⁴⁷ Rønning 2009, 149.

⁴⁸ Wertsch 2004, 60.

⁴⁹ Uther 2004.

⁵⁰ Polti 1921.

⁵¹ Tobias 2012.

⁵² Booker 2006.

⁵³ Campbell 2004, 28.

⁵⁴ Campbell highlights that the author of the term is James Joyce (Joyce 1939, 581).

⁵⁵ Campbell 2004, 28.

⁵⁶ Kermode 2000.

⁵⁷ Vladimir Propp points out that the fairy tales are myths, which lost their sacral nature (Propp 1968, 90, 100). Therefore, the ancient myths, which at a later stage degenerated to the fairy tales, allow us to view them as the myths of booty.

⁵⁸ There is a common confusion in identification of sacrifice and self-sacrifice: “A chivalric ideal of male sacrifice based on the Passion of Jesus Christ” (Frantzen 2004, From the inside flap). It is a perverted adaptation of Christ atoning for our sins, which is a symbol of the fearless non-violent behavior facing death and it is not relevant to the heroic military deeds. In the context of my essay I split the generalizing term *sacrifice* into two opposites: the artificial term *others-sacrifice* (human sacrifice, immolation, offering) means the ritually motivated act of killing other humans; for a sacrificing of oneself I use the existing term *self-sacrifice*.

⁵⁹ For instance, the Sphinx strangled and devoured anyone who could not answer her riddle. After having heard Oedipus’ right answer the Sphinx killed herself by throwing herself from her high rock into the sea.

death with a monster⁶⁰; *others-sacrifice*, where the hero defeats the monster; and returning home with the *booty*. The self-sacrifice and the others-sacrifice are the means, where the booty is a goal;

2) “The folk (nation)” base mythic narrative is the heroic myth (myth of others-sacrifice), which consists of the self-sacrifice and the others-sacrifice. The self-sacrifice is a means, where the others-sacrifice is a goal;

3) “The humankind” base mythic narrative is a myth of self-sacrifice, which consists of a singular element, where the self-sacrifice is the goal without any means.

That allows continuing the sequence — *society*, *identity-solidarity* and *memory* adding *specific narrative*, *narrative template* and *base mythic narrative*. It means that three base mythic narratives are “World Elephants”, which form the base of other above-mentioned elements of the entire social structure.

Structural Similarities with the Concepts of Jan Assmann, Abraham Maslow, Georges Dumézil, Marshall McLuhan and Fernand Braudel

It appears that three base mythic narratives are related to Jan Assmann’s⁶¹ communicative (social), political, and cultural forms of collective memory. From that perspective the fairy tale (myth of booty) is a “carrier” of the communicative (social) memory and subsequently the heroic myth (myth of others-sacrifice) and the myth of self-sacrifice are “carriers” of the political and cultural memories.

Three base mythic narratives are also congruent with some levels of Abraham Maslow’s pyramid of personal needs⁶² and the elements of the Georges Dumézil’s⁶³ social “Indo-European triad”: 1) Maslow’s material (physiological) needs / the fairy tale / Dumézil’s “laborers”; 2) Maslow’s security need / the heroic myth / Dumézil’s “warriors”; 3) Maslow’s need for self-actualization⁶⁴ / the myth of self-sacrifice / Dumézil’s “priests”.

We can notice the conformity of the three triads. In all those cases, the base mythic narratives are mediation tools between individual needs and social functions. Just as personal needs coexist within the structure of individual consciousness and social functions coexist in the structure of society, the coexistence of narratives of the fairy tale, the heroic myth and the myth of self-sacrifice involves interactions of family, nation and humankind frameworks of memory, identity-solidarity and ethics — Chiara De Cesari and Ann Rigney⁶⁵ call that interplay “multi-scalarity” — in our souls as well as in the social space.

Using language and speech (including its derivatives such as narrative and so on) as mediation tool transforms them into an important subject of media studies. Unfortunately, linguistic media are still not fully appreciated by researchers of the field. Even the prophet of the “electric Age of Information” Marshall McLuhan⁶⁶ predominantly reduces media of communication to their material “transmitters”. Expounding his legendary concept “The medium is the message,” he structures those tools imitating a Matryoshka (the Russian nesting doll): the content of electronic media is print, the content of print media is writing, the content of writing media is speech and the content of speech is “an actual process of thought, which is in itself

⁶⁰ In that point the basic plot is bifurcated between “*forza* (force), plots of the body, and *forda* (fraud), plots of the mind” (Tobias 2012, 34).

⁶¹ Assmann 2010, 122.

⁶² Gordon Rouse 2004, 27–31.

⁶³ Dumézil 1958.

⁶⁴ That triadic perspective allows to present “love and belonging and esteem needs” of Maslow’s needs hierarchy as a part of the self-actualization area. Cf. the other triadic reducing approach to Maslow’s needs hierarchy (Alderfer 1972).

⁶⁵ De Cesari 2014, 20.

⁶⁶ McLuhan 1994, 36.

nonverbal”⁶⁷. The statement regarding the “nonverbal” nature of the “process of thought” is an exaggeration, because in psychology there exists the term “inner speech,” which is defined as “verbal thinking”⁶⁸. In my opinion, McLuhan’s Matryoshka contains another and a much bigger confusion, because it homogenized two kinds of media, which perform principally different functions in the process of communication: linguistic media (“speech” and “thought”) and material media (“writing”, “print” and “electricity”).

It is possible to define the main function of linguistic media (narrative is one of them) as a “package of information” and, respectively, of material media as preservation and transportation of “packs *with* information”. The difference between linguistic and material media of communication could be clarified through the analogy with means of transport. We can travel using different means: by foot, horses, motorcars, railways, planes and so on. Of course, our choice of transport would affect time and expenses, but anyhow we can reach our destination. We can make a similar choice for delivering our message packaging by linguistic media; in that case the choice of material media of communication would also affect time and expenses for delivering of linguistically “packaging” information. Therefore, as an example, the “speech,” which the Canadian media-guru negligently jointed to the sample of material media of communication⁶⁹, could be delivered through different material media in the forms of oral speech, written speech, printed speech and speech aired by radio, television and other electronic media. In accordance with that the main *motto* coined by McLuhan should be rephrased: linguistic media is the message of material media of communication.

Discussing McLuhan’s concept, we did not divert from the issue of memory narratives because one of the main functions of material media is the preservation of linguistic media messages or “linguistic codifications of experience”⁷⁰. They act as “a store of perception and as a transmitter of the perceptions and experience of one person or of one generation to another”⁷¹. Every material media of communication has its own “store”: oral — folklore, written — archive, print — library, electronic — photo, phone and video collections. The internet, which is the main electronic media of the Information Age, embraces all ever existing depositories of information. Their totality constitutes the cultural heritage, which Jan Assmann calls *cultural memory*. Therefore, different kinds of memory narratives serve as media between people and their heritage.

McLuhan points out that every type of material media creates the framework of communication for different historical epochs: oral media for limited archaic communities, writing media for elites of Antiquity and the Medieval Age, print media for all citizens of Modern nation-states and electronic media for the cosmopolitan residents of the “Global village”. This means that there exists an interdependence between those types of material media of communication and the three base mythic narratives of memory, identity-solidarity and ethics: the message of oral media is the fairy tale, the message of writing and print media is the heroic myth and the message of electronic media is the myth of self-sacrifice. That approach creates common ground for interdisciplinary memory-media research: “Media construct and create, shape, and distort memories”⁷².

McLuhan’s Matryoshka-like model of material media interdependency is fully applicable to narrative structure: the content of specific narrative is narrative template and the content of narrative template is base mythic narrative.

⁶⁷ McLuhan 1994, 7–8.

⁶⁸ Alderson-Day 2015, 931.

⁶⁹ It is remarkable that sometimes the author of *Understanding media* feels that a linguistic media “speech” is heterogeneous to material media devices and replaces it by more suitable expressions: “sound”, “oral culture”, “ear culture”, “audile-tactile perception” and so on (McLuhan 1994, 16, 27, 32, 45).

⁷⁰ Ibid., 140.

⁷¹ Ibid., 139.

⁷² Erll 2018, 309.

The concept of base mythic narrative allows to overcome “the narrative template / specific narrative dichotomy”⁷³ and hence to embrace the universe of “narrativity” in its full plenitude, starting from the volatile surface of specific narratives through schematic narrative templates to the inert deep structure of base mythic narratives. That three-leveled typology corresponds to the triadic temporal model of Fernand Braudel: 1) Specific narrative / event; 2) Schematic narrative template / cyclical phase (conjuncture); 3) Base mythic narrative / the *longue durée* (structure).

From the perspective of the *longue durée* we can distinguish historical epochs based on the domination of one of those three *co-existing* base mythic narratives: 1) In the pre-state Hunter-Gatherer Society it was the fairy tale; 2) in the state Agrarian and Industrial Societies it is the heroic myth; 3) in the post-state Information Society it will be the myth of self-sacrifice.

The Rat Ethics of Fairy Tales

In the pre-state Hunter-Gatherer Society people were guided by the fairy tale (myth of booty). The research of Walter Burkert⁷⁴ helps to understand this phenomenon. He shows that when a rat crawls out of a hole in search of booty, it precisely reproduces the subsequent steps of the fairy tale. It is possible to say that the fairy tale neatly corresponds to the pattern of this small predator’s behavior, which should hide his booty from big predators, so returning home with a heavy load is always a dangerous adventure. It was possible to translate that zoological pattern into the language of culture because ‘the narrative mode is very close in form to the structure of action itself’⁷⁵. It is the oldest narrative of the human being.

This creates a limited identity-solidarity, which is capable of uniting people only in small groups (kin, clan, tribe and so on). In Modern society the fairy tale unites families and gangs. In that perspective it is not odd that the *mafia* means “family”. The communicative (social) memory based on the fairy tale narrative is quite shallow. People with strong kinship ties even now are able “to trace their patrilineal ancestors back seven to ten generations”⁷⁶, but it means not much more than 250 years. For ‘modernized’ people it is usually limited to “the time span of three interacting generations or 80–100 years”⁷⁷. The identity-solidarity in accordance with which ‘our own’ are the only members of a family or a gang, creates the ethics of an egoistic attitude towards the world outside them, which is based on materialist values of survival⁷⁸.

The Deception of the Heroic Myth

In the epoch, when agriculture (the food-producing economy) became a necessary foundation of the state, the heroic myth (myth of others-sacrifice) was brought to the fore. The identity-solidarity of this myth unites more people than the fairytale does. In the epoch of the Ancient and Medieval states, the “national” identity of the heroic myth was predominantly intrinsic to the members of a sacral and military elite⁷⁹ and “they evince no. interest in disseminating their ethnic culture to outlying groups or lower strata”⁸⁰. It was even common to stress the foreign origin of the upper strata of medieval monarchies, which differentiates them from the majority of the non-noble population. During the industrial Modernity identity-solidarity of the heroic myth became much wider and managed to embrace all citizens of the nation-state.

“Political memory” (Jan Assmann) is the core of Agrarian and Industrial Societies’ mnemonic practices. It subsequently became deeper. In traditional societies the memory reached

⁷³ Philpott 2014, 320.

⁷⁴ Burkert 1996, 58–63.

⁷⁵ Carr 2008, 20.

⁷⁶ Ismailbekova 2014, 377.

⁷⁷ Assmann 2010, 122.

⁷⁸ Inglehart 2018.

⁷⁹ Hroch 2020, 9.

⁸⁰ Smith 1999, 192.

the state's founders according to the first chronicles. During Modernity memory refers to archaeological sources and occasionally reaches the Paleolithic era in the search for the origins of a nation.

The ethics of the heroic myth has a dual nature. In relation to “our own” it becomes altruistic, simply because it teaches sacrifice of one's own life for the sake of “our people”. In relations to “strangers”, however, it becomes even more selfish and hostile than the ethics of the fairy tale, because the purpose of the heroic myth is to sacrifice (kill) the enemy.

The heroic myth is a clear example of manipulation through “false consciousness” (Friedrich Engels) of ideology. Benedict Anderson⁸¹ writes that the nation-state is imagined by “philologists” in the interests of the bourgeoisie, using consanguineous rhetoric: “We all are the children of a singular Motherland”. That “implicit biologism, which assumes that nations are derived from direct genetic descent”⁸², is a fictive reference to kinship societies, based on the fairy tale (myth of booty)⁸³. At the same time, the aim of real kinship societies for getting booty and the problem of sharing the booty are not part of the nation-state agenda. The citizen must paradoxically sacrifice his own life “on behalf of the nation” in order “to fight against occupation by a foreign state-nation”⁸⁴, regardless of his own interests. This “fictive kinship”⁸⁵ strategy serves the interests of the ruling classes not only because it allows them to increase their wealth at the cost of ordinary people's lives as a result of external wars, but also because it protects the ruling minority from civil wars by transforming social tensions into hate against “not with our blood” strangers.

Julien Benda⁸⁶ writes that the citizens of democratic nation-states are more prone to wage wars than the medieval monarchs' subjects. Michael Mann⁸⁷ points out that the practice of the genocides of Modernity is largely due to the changes in the concept of sovereignty from the idea of a God-given sovereign to the principle of people's sovereignty. Ancient and medieval rulers were usually satisfied with their multiethnic subjects paying taxes regularly and resorted to genocidal violence only when confronted with disobedience: “When thou comest nigh unto a city to fight against it, then proclaim peace unto it. And it shall be, if it make thee answer of peace, and open unto thee, then it shall be, that all the people that is found therein shall be tributaries unto thee, and they shall serve thee. And if it will make no. peace with thee, but will make war against thee, then thou shalt besiege it: And when the Lord thy God hath delivered it into thine hands, thou shalt smite every male thereof with the edge of the sword”⁸⁸. Whereas, “the sovereign people” of the Modern nation-state consider themselves the exclusive owners of their state, who have a full right to govern their own country. This includes the right to oppress, expel and even exterminate the “strangers,” that is, ethnic and other minorities. Mann recalls that for a long time the democratic American state was engaged in the massive extermination of Native Americans and it exploited Black Slaves, but since then the situation has changed and Native and Black Americans were given official apologies for historic violence and injustices inflicted upon them. The former “internal strangers” are gradually becoming “our own”.

At the same time, however, the US and its European allies, in other words, the most developed liberal democracies, continue to have a cynical attitude towards “external strangers”. During the twenty-first century the Iraqi, Afghanistan and Libyan regimes were overthrown under the pretext of defending human rights. Western media refrained from sharing information about the catastrophic consequences of these “attempts to establish democracy,” which

⁸¹ Anderson 2006, 136, 143–144.

⁸² Rigney 2018, 252.

⁸³ In kinship societies blood relationship never played the main role (Sabean 2013).

⁸⁴ Hroch 2020, 16.

⁸⁵ Winter 1999.

⁸⁶ Benda 2014, 16.

⁸⁷ Mann 2005, 55–110.

⁸⁸ Deut. 20:10–13.

have left those countries “in chaos”⁸⁹. If humanitarian purposes were the real motivation for the above-mentioned interventions, then the US should have reprimanded their long-term Persian Gulf monarchy allies, where the Universal Declaration of Human Rights is violated *in accordance* with the “medieval” legislation, which is in practice in these countries.

This does not mean that US invasions are “bad” and Russian ones are “good”. In comparison to Russia, where according to the “social estates” medieval tradition only the ruling class members are viewed as “our own” by government officials⁹⁰, Western democracies, which consider all their fellow citizens as “our own,” represent an important step forward. The US gives an excellent example of the ultimate extension of identity-solidarity, which can exist in a society based on the aggressive narrative of the heroic myth. The collective of “our own,” where the altruistic norms are applicable, is limited to the national boundaries. The nation-state is not capable of crossing that frame.

The Dead End of Modernity

Benedict Anderson⁹¹, Ernst Gellner⁹², Eric Hobsbawm and Terence Ranger⁹³ write that the nation-state is a product of Modernity, which arose during the nineteenth century but proclaimed itself to be “primordial” (the ancient origin) reality. However, the idea that capitalism is also a phenomenon of the nineteenth century lies beyond the scope of their research. Martin Albrow⁹⁴ argues that the nation-state is tightly connected with capitalism, and the two are different sides of the same process of modernization. Unlike the nation, capitalism is more attuned to its longevity in the future.

In my opinion the assumption that such phenomena of Modernity like nation-state and capitalism are transitory is sufficient to show that they have generated problems that have no solution within their framework. The nuclear threat, environmental degradation and growing inequality are at the forefront of many global challenges, where nation-state and capitalism are not capable of providing an adequate answer.

Russian and Western scholars claim that there will be no winners in a nuclear war⁹⁵. It is pointless to create additional effective anti-missile systems, simply because humankind will die regardless of on whose territory nuclear explosions occurred. Even if the leaders of the nuclear powers have enough sense not to use these weapons, there is a high probability that terrorists will be able to get hold of them. Despite that, the development of more powerful weapons of mass destruction continues. Security is a false pretext for the current *arms race*. The real reasons for it are the profits that have been made by arms manufacturers, who traditionally have close ties with governments.

Nuclear weapons could destroy humankind in an instant, whereas the environmental threat is not as obvious and therefore could be even more dangerous. The main reason behind environmental degradation is the conspicuous *consumption race*, which is caused by expanded reproduction required by capitalist economies. It provokes various damaging consequences such as *fashion*, in other words, the compulsion to throw away good clothes and other items, or the planned obsolescence of appliances breaking down shortly after the warranty has expired. Satisfying conspicuous consumption-based needs is leading to the exhaustion of irreplaceable resources, disastrous pollution of the environment and a massive waste of public time and energy: “The great industrial cornucopia has not only been polluting the earth with wastes and poisons; it has also been spewing forth increasingly shoddy, costly and defective

⁸⁹ Inglehart 2018, 114.

⁹⁰ Kordonsky 2016.

⁹¹ Anderson 2006.

⁹² Gellner 1983.

⁹³ Hobsbawm 2013.

⁹⁴ Albrow 1996.

⁹⁵ Robock 2007, 112 (D13).

goods and services”⁹⁶. We can take care of the ecology of our own country, but if water, soil and air are polluted in other parts of our planet, the devastating consequences will affect the entire humankind.

Growing inequality is related to the fact that modern development of technologies makes it possible to replace almost all routine operations, called “labor,” by machines and different artificial intelligence devices. In a society based on the formula “goods — money — goods,” technological progress has been perceived not as the liberation of humankind from hard labor, but as a tragic loss of jobs, which requires “developing successful strategies *to cope with* artificial intelligence”⁹⁷. The conflict of modern “Luddites” is articulated as “robots against workers”⁹⁸. Within the framework of nation-state and capitalism it is impossible to overthrow the Social Darwinist ideology, according to which the right to creative activity is only for selected “Elois,” whereas the masses of “Morlocks” (Herbert G. Wells) are doomed to labor, which is meaningless under the new technological conditions⁹⁹.

The Transformation from Quantity to Quality

The first step to solve the problems that the nation-state and capitalism are incapable of solving is to imagine post-state and post-capitalist forms of memory, identity-solidarity and ethics which would correspond to our global epoch of information civilization. The transition to the Global Age represents an unprecedented change in the goals of social activity. Until now, for most people the largest part of time has been spent on acquiring material goods. The difference between the hunter-gatherer economy and the agrarian and industrial stages is only the number of goods produced per unit time.

The information revolution represents a case of “transformation from quantity to quality” in the full sense of Hegel’s formula, because, according to Ronald Inglehart¹⁰⁰, it is the most radical transformation of personal values in World history: “from Survival values to Self-expression values”. Current polls show that materialist values are inherent in members of agrarian and industrial societies, whereas in developed countries, which are undergoing the transformation to the global information civilization, we can see a permanently increasing number of people for whom “the self-actualization and the post-materialist values” have gradually become more important than material motivation¹⁰¹. In accordance with these surveys the carriers of post-materialist values are less connected with nation-state identity and strive to identify themselves with global humankind, whereas “materialists” are xenophobic patriots of their nation-states¹⁰², according to Karl Marx’s maxim: “Patriotism is the ideal form of their sense of property”.

Limitations in material resources and goods lead to fierce struggles for them. The transition from “savagery” to “civilization” led to the state’s “monopoly of the legitimate use of violence” (Max Weber) and the regulation of competition in accordance with private property rights. Society’s obsession with material needs has expanded into the intellectual and artistic spheres in the form of copyrights, which are a perverted “materialization” of the spiritual nature of creativity. Marx’s attempt to define creativity as a kind of “skilled labor,” which is ‘multiplied simple labor,’ turned out to be an intellectual defeat of the genius. It showed the extent to which the “economic materialism” of Communism’s prophet was determined by the bourgeois spirit of the Industrial era. The poverty of the majority of artistic geniuses and the prosperity of their mediocre colleagues revealed that “innovative” spiritual creativity,

⁹⁶ Harris 1978, 8.

⁹⁷ Inglehart 2018, 216. Italics added.

⁹⁸ Byhovskaya 2016, 30.

⁹⁹ Graeber 2018.

¹⁰⁰ Inglehart 2018, 1.

¹⁰¹ Norris 2009, 307.

¹⁰² Inglehart 2018, 176–188.

unlike “routine” material labor, does not correspond to the calculation principles of a market economy.

There is a fundamental difference between material and spiritual production. The first one, from the perspective of the limited natural resources of our planet, is a zero-sum game; the second one is as unlimited as our imagination. We must divide material products between us, spiritual ones are able to multiply in the minds of each and every one of us: “If you have an apple and I have an apple and we exchange these apples, then you and I will still each have one apple. But if you have an idea and I have an idea and we exchange these ideas, then each of us will have two ideas”¹⁰³. Ideas, in contrast to material products, are not goods. Therefore, it is impossible to alienate them and, by their own nature, they cannot be the property of either a person or a group.

While most people were involved in labor — the production of material goods, creativity — the production of ideas (information) was forced to adapt to private property interactions. In the Global Age the majority of people are engaged in the production of information. Therefore, the marginal, for the information civilization, material production and property-based interactions will be gradually defined by the “image and likeness” of the “spiritual” principles of creativity.

We can see today that the so-called “aspirational class” is transferring the focus of social prestige from material conspicuous consumption to non-material ones: learning and reading, classical and contemporary art, travelling and sports¹⁰⁴. Despite the awkward efforts to adapt the bourgeois style of conspicuous consumption to the spiritual realities of the information civilization, these processes reflect a transition away from models based on the priority of material values.

Benedict Anderson¹⁰⁵ writes that ‘print-capitalism’ played a leading role in the formation of Modernity. Marshall McLuhan¹⁰⁶ clarifies that “printing from movable types was the first mechanization of a complex handicraft, and became the archetype of all subsequent mechanization”. Printing craft was not constrained by medieval guild regulations and right from the beginning was developed on the basis of market relations. The need to expand the market had forced the transition from books printed in “international” Latin to “national” vernacular books. The vernacular literature markets predetermined the future borders of the nation-states¹⁰⁷. Marshall McLuhan¹⁰⁸ describes the social consequences of the printing press: “The typographic extension of man brought in nationalism, industrialism, mass markets, and universal literacy and education”.

During the Global Age, the internet plays a similar role as a “vehicle” of new technologies, new social relations and a new type of community. A precondition for the formation of the ubiquitous identity-solidarity of the “digital globalized age”¹⁰⁹ is the global coverage and the ability to communicate in real time. This means that globalization is the flip side of digitalization. Unlike “print capitalism”, the internet creates opportunities for non-market information exchange. Powerful “co-pirate” resources, such as Academia.edu, Google Scholar, ResearchGate and Sci-Hub, have already been established. They allow scholars to exchange their ideas for free. And this is only the beginning!

¹⁰³ Groundlessly attributed to George Bernard Shaw. See: URL: <http://quoteinvestigator.com/2011/12/13/swap-ideas/> (Accessed: 01.12.2021).

¹⁰⁴ Currid-Halkett 2017.

¹⁰⁵ Anderson 2006, 18.

¹⁰⁶ McLuhan 1994, 170.

¹⁰⁷ Anderson 2006, 33–35.

¹⁰⁸ McLuhan 1994, 172.

¹⁰⁹ Reading 2011, 143–162.

“I Felt Sorry for Humans” or “For their Sakes I Sanctify Myself”

The global information civilization needs its own mythic narrative. What is it going to be?

The narrative of the heroic myth (others-sacrifice) is the fairy tale (myth of booty), where the goal of booty is excluded. Subsequently, exclusion of the goal of others-sacrifice leads to the narrative's transformation in which the goal is self-sacrifice. This end does not justify the means but cancels them instead. Thus, the myth of self-sacrifice is realizing the dream of young Marx to overcome alienation. This is the most valuable and still relevant part of his heritage.

European culture contains two reliable stories of self-sacrifice. According to Aeschylus Prometheus sacrificed his own liver, because the Titan felt “compassion for humans”. And Christ “gave himself a ransom for all”. Both versions of the self-sacrifice narrative show that “our own” are neither Hellenes nor Jews, but all humankind: “In the Christian view the history of salvation is no. longer bound up with a particular nation, but is internationalized because it is individualized”¹¹⁰. This is a crucial insight: in order to be global, you should become a unique individual, that is, a person, whose leading identity is a Human and hence transcends national, ethnic, religious, class and other group limitations. On such a foundation we can build global memory, identity-solidarity and ethics. That will allow us to overcome the borders of the nation-state and of the capitalist economy, which are disastrous for modern society. Humankind will die out if we do not realize that all people are “our own” and our “fatherland” is the Earth.

The space of the self-sacrifice narrative is “global” and its identity-solidarity differs from the “family” and “national” ones, which are subsequently based on the fairy tales and the heroic myth. The global frame of a broad human identity determines the temporal dimension of the global “cultural memory” (Jan Assmann), which begins with the “Big Bang”. The global ethics, which takes humankind to be “our own”, engenders revolutionary changes in consciousness. It equates wars with such “tabooed” crimes as incest and cannibalism (Sigmund Freud) and it makes us terrified that efforts of the best minds still bring nuclear, ecological and economic catastrophes closer. Ethics based on the self-sacrifice narrative declares that self-actualization is not the exclusive right of the so-called “elite”, but the duty of all of us. Despite the unprecedented development of technologies, we all should be ashamed that many of our contemporaries earn their living either as a muscular extension for hand tools or as a nervous system for machines and computers. For the Information age work means humiliation of human dignity: “Where the whole man is involved there is no. work. Work begins with the division of labor and the specialization of functions and tasks in sedentary, agricultural communities. In the computer age we are once more totally involved in our roles. In the electric age the ‘job of work’ yields to dedication and commitment”¹¹¹. The human being should not work, he / she must create.

Some critics argue that the global identity-solidarity is a non-viable concept because “every identity is relational and that the affirmation of a difference is a precondition for the existence of any identity, i. e., the perception of something *other* which constitutes its *exterior*”¹¹². The word “exterior” suggests that “the affirmation of a difference” between “us” and “others” is constituted in the spatial dimension. In accordance with that approach, the ‘others’ should be located either in a geographical space outside our nation-state borders or inside them in a social space separated from “us” by ethnic, religious, class and other differentiations. Chantal Mouffe is a principal opponent of far-right intellectuals, but in that case she involuntarily gets closer to the rhetoric of the “friend-enemy distinction” (Carl Schmitt), using them against the global identity-solidarity concept: “You cannot imagine ‘us’ without ‘others’. If entire humankind are ‘us’, who then are ‘others’, maybe the penguins?” I guess the fellow nationalists do not pay enough attention to the fact that it is possible to imagine the relational communities of “us” and “others” not only in the spatial dimension. I believe that we are able to construct

¹¹⁰ Löwith 1957, 195.

¹¹¹ McLuhan 1994, 138.

¹¹² Mouffe 2013, 316. Italics added.

the global identity in both dimensions: space and time. The current global community of “us” includes the majority of living people and previous generations, including all victims of the past. The community of “others” in that case includes modern fascists and far-right politicians, who exasperate enmity and also the perpetrators of the past. I hope the number of fascists and far-rights will gradually diminish and in the near future the temporal dimension will become the main boundary between relational global communities of “us” and “others”.

Global memory, identity–solidarity and ethics of the myth of self-sacrifice are the embodiment of a dream that gradually becomes a “material force” (Karl Marx). Currently, memory studies represent a number of approaches, which observe memory from a “transnational”¹¹³, “cosmopolitan”¹¹⁴, “prosthetic”¹¹⁵, “transcultural”¹¹⁶, “global”¹¹⁷, “multidirectional”¹¹⁸, “digital”¹¹⁹, “globital”¹²⁰, “travelling”¹²¹, “subtitled”¹²², “palimpsestic”¹²³, “multi-scalar”¹²⁴ and other perspectives. They are grounded in the recognition that the phenomenon of national memory, brilliantly described by Pierre Nora, less and less corresponds to the “globalizing” reality. Present-day memory does not fit into the container of the nation-state: “In recent years, there has been a concerted effort to go beyond methodological nationalism and explore alternative social frameworks for memory. Many of these initiatives have involved upscaling to frameworks that are larger than that of the nation with an emphasis on ‘transcultural’ processes that transcend the boundaries of languages and national cultures”¹²⁵.

A crucial example of global memory is the memory of Holocaust¹²⁶, which is an “engine” of growing compassion for not only Jewish but for all victims of World history, who are traditionally regarded as “strangers” within the frame of the modern nation-state heroic narrative. We can see the emergence of new “icons” in global memory, including victims of capitalist colonialism and the communist Gulag, of numerous wars and genocides, of undemocratic regimes’ terror and “grassroots” terrorism, etc.¹²⁷ Global identity-solidarity is formed through a gradual understanding that there is no such thing as victims who are “not our own”. All victims of violence, including the lion’s share that is committed by states, are “our own”. The “politics of regret”¹²⁸ is the real challenge to the ethics of the nation-state, which is based on the narrative of the myth of others-sacrifice and prescribes the sacrificing of “strangers” for the sake of “our own”.

The deconstruction of the nation-state mythic narrative and the demonstration of the disastrous results of its “instructions” have an obvious objective: “Never Again”, which means to “prevent the repetition of violence in the future”¹²⁹; but this is only the first step to establishing the global narrative of memory, identity-solidarity and ethics. The myth of global information civilization cannot be concerned solely with the remembering of traumatic experience, simply because “negative simulations are remembered more poorly over time” compared with positive

¹¹³ White 1995.

¹¹⁴ Levy 2002.

¹¹⁵ Landsberg 2004.

¹¹⁶ Briere 2004

¹¹⁷ Stepinsky 2005.

¹¹⁸ Rothberg 2009.

¹¹⁹ Garde-Hansen 2009.

¹²⁰ Reading 2011.

¹²¹ Erll 2011.

¹²² Rigney 2012, 622.

¹²³ Silverman 2013.

¹²⁴ De Cesari 2014

¹²⁵ Rigney 2018, 249.

¹²⁶ Assmann 2010.

¹²⁷ Rothberg 2014.

¹²⁸ Olick 2007.

¹²⁹ Bickford 2010, 67.

simulations¹³⁰, hence ‘the thought of looking ahead’ should “inspire, not fear, but hope”¹³¹. We need a dream for an optimistic future!

Shakespeare is Ours!

What is “optimistic” about the myth of self-sacrifice? The answer can be found by contrasting the military and political heroes of different nation-states to the heroes of culture who are healing the schisms between nations.

The cult of Genghis Khan, for example, is unacceptable for Russians, just as Suvorov is for Poles, Napoleon for Spaniards and Churchill for Indians. Politicians who, according to the strategies of Modernity, are trying to redistribute limited material resources in favor of “their own” at the expense of “strangers,” cannot be examples for global humanity.

In opposition to them are those who create inalienable spiritual values, which are the main product of the global information civilization. Memory about those *creators* fully corresponds to Jan Assmann’s term of “cultural memory”. The heroes of world culture — thinkers and writers, scientists and artists, inventors and explorers and so on — should be the key figures in the pantheon of global memory, which is based on the myth of self-sacrifice narrative. The association of creativity and self-sacrificial ethics becomes obvious for those who have themselves experienced creative inspiration: “The goal of creativity is self-giving” (Boris Pasternak). The impulse of creativity never is a longing for material wealth. The real creator creates simply because he / she cannot stop creating and continues to do that even in such circumstances when the nation-state tests his / her devotion to creativity through misery, exile, imprisonment and even extermination. Art requires “self-sacrifice of the artist”¹³².

When commemorating creative people of the past, we should not forget our contemporaries. Ann Rigney¹³³ writes that “literature and the audiovisual arts play a key role in involving people in “the lives of others,” and hence in shaping common places of memory of distant nations¹³⁴.

During the transition period the pantheon of national memory should be reshaped according to the accommodation for a global scale. The heroes of national culture, people who made a significant contribution to world heritage, should get priority in collective memory instead of politicians. For Russians the prime rank of national memory luminaries should be Tolstoy and Dostoevsky, Tchaikovsky and Shostakovich, the creators of Russian medieval icons and the Russian avant-garde, Mendeleev and Bakhtin, Zvorykin and the Russian explorers of the Universe. The day of Gagarin’s space travel (12 April 1961) should become the main public holiday of the Russian Federation. The memory of Gagarin directs the Russian people towards the future.

Compassion towards the victims in world history and admiration for the heroes in world culture form the foundations of global memory, identity-solidarity and ethics. The memory students Anna Reading and Tamar Katriel¹³⁵ have aptly remarked that “our name is *humankind*, not *humancruel*”. *Humankind* is an excellent definition of the highest stage of *Homo sapiens*.

It is obvious that the *conditio sine qua non* for creating an effective pantheon of global culture’s creators is the common knowledge about them and hence the global shift from political to cultural frameworks of memory. In the current situation, when the powerful global media are not only the message but the memory as well¹³⁶, that trans-global task does not look insolu-

¹³⁰ Schacter 2007, 688.

¹³¹ Kuipers 2011, 2.

¹³² Lacoue-Labarthe 1988, 78.

¹³³ Rigney 2012, 621–622.

¹³⁴ Cf.: Landsberg 2004.

¹³⁵ Reading 2015, 1.

¹³⁶ Hoskins 2009.

ble, because a similar one was successfully solved on the European scale during the nineteenth century, when the nation-state builders reshaped the traditional fairy tale's memory and representations of the agrarian majority in accordance with the requirements of the political "Civic religion" of industrial Modernity. For example, in the beginning of the nineteenth century French peasants had never heard about Vercingetorix, but through the efforts of general education actors their heirs were transformed into "Frenchmen"¹³⁷, who were willing to sacrifice their lives during the First World War due to inspiration by the heroic deeds of Vercingetorix, Chlodwig, Charlemagne and other political heroes of the national past.

Witch-hunts of Today?

"Rational pragmatists" have doubts about the realization of the dream of a united humanity. They support "incontestable" arguments with reference to the current rise of nationalism experienced in many Western countries. This can be answered by referring to historical analogies. Catholics and Protestants were engaged in "medieval" witch-hunts not at the height of the Middle Ages, but during the Early Modernity of the sixteenth and seventeenth centuries. Tens of thousands were executed in Europe and North America under accusations of witchcraft. Historians explain that irrational reaction through confusion over challenges posed by the transition to Modernity¹³⁸.

We are now experiencing a similar process. The post-modern nation-state, like the early-modern religious institutions, is unable to respond adequately to the current challenges. Trying to maintain its influence, it blames globalization for problems, which the nation-state and its capitalist economy generated themselves: nuclear threat, ecological collapse and growing inequality to name a few. Agents of the state, who condemn "global capitalism" and at the same time keep stolen money offshore, are emblematic of this epoch.

The nation-state is not really able to promote public prosperity but it is still capable of unleashing new witch-hunts against "anti-national elements," which in turn could result not in tens of thousands, but in tens of millions of victims: "High-income societies are currently regressing toward the xenophobic authoritarian politics," which "obscures the fact that the key conflict in contemporary high-income societies is between the majority and the one percent" of the richest people. "If developed societies excluded all foreigners and all imports, secure jobs would continue to disappear, since the leading cause — overwhelmingly — is automation"¹³⁹, which, it should be clarified, is performed in the obsolete frames of nation-state and capitalism. If history is able to teach us anything, we must make every effort to ensure that an inevitable transition to a global civilization would not include modern witch-hunts

Narodniks of the Global Scale

Is there a social group that can achieve the revolutionary transition from the material mode of production to the spiritual one?

Marx persistently searched for a "driving force" that could "remove" the alienation of a world hypnotized by conspicuous consumption. His bet on industrial workers was not justified. Even geniuses are not always sufficiently gifted to foresee the future. Today we do not need to be geniuses. It is good enough simply to observe the world around us. We are witnessing the appearance of the self-sacrifice narrative's "carriers".

By this I mean the fast-growing volunteer movement, which has crossed national borders and which, for example, has involved at least 20 percent of the current UK population¹⁴⁰. The names of NGOs, such as Care International and Doctors without Borders, do speak for themselves. Volunteers do the same as the Russian Narodniks (Populists) of the nineteenth century

¹³⁷ Weber 1976.

¹³⁸ Behringer 2004.

¹³⁹ Inglehart 2018, 214–215.

¹⁴⁰ Rochester 2010, 38.

by providing medical care, education and other help to the poor. The difference is that for many volunteers of our time the meaning of “their own people” has expanded beyond the nation-state boundaries and covers the entire globe.

Volunteers are still a “class-in-itself”. They act in accordance with the ethics of the self-sacrifice narrative, not fully realizing that they share the values of global memory, identity-solidarity and ethics. The objective of people of science, literature, and art, of public intellectuals, journalists, and teachers is to formulate and provide that memory and identity to the carriers of volunteer ethics, to transform them into the “class-for-itself,” the conscious vanguard of modern humankind. There is no controversy between academic profession and social prophecy, because the activities of scholars in the humanities are inseparable from the reshaping of social reality. Rephrasing Michael Rothberg’s¹⁴¹ reference to Marx’s famous *Theses on Feuerbach*: “scholars and activists need both to interpret memory, identity-solidarity and ethics and to transfigure them”. Therefore the “orientation to the future” should “cease to be a predicament and should become a program”¹⁴². That path faces a huge number of obstacles, but if we do not persevere, we will not move from the absurdity of conspicuous consumption to the rationality of *everyday self-sacrifice*, meaning different volunteer activities for the benefit of global humanity.

DISCLOSURE STATEMENT

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

ACKNOWLEDGMENTS

I am very grateful to James Wertsch, Tyler Wertsch, Stefan Berger, Boris Mironov, Victor Shnirelman, Milica Popovic, Natalija Majsova, Ann Rigney and Dmitry Panchenko for their very insightful comments on earlier versions of this paper, but of course the usual disclaimers apply. I would like to acknowledge the important contribution made by Oleg and Sharon Pekar towards translation of my article. This article is inspired by James Wertsch’s (2004) insights regarding the role of narrative as a mediation tool between individual and collective memory. His seminal approach is a starting point for my own research on the third (after specific narrative and schematic narrative template) level of narrative memory structure, which I call base mythic narrative. I view my findings as a set of hypotheses and invite colleagues to discuss them. Such a discussion could help to revise the concept of collective memory.

REFERENCES

- Albrow, Martin. 1996. *The Global Age: State and Society beyond Modernity*. Cambridge: Polity Press.
- Alderfer, Clayton P. 1972. *Existence, Relatedness and Growth: Human Needs in Organizational Settings*. New York: Free Press.
- Alderson-Day, Ben, and Charles Fernyhough. 2015. “Inner Speech: Development, Cognitive Functions, Phenomenology, and Neurobiology.” *Psychological Bulletin* 141, no. 5: 931–65.
- Anderson, Benedict. 2006. *Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London; New York: Verso.
- Assmann, Aleida. 2010. “The Holocaust – a Global Memory? Extensions and Limits of a New Memory Community.” In *Memory in a Global Age. Discourses, Practices and Trajectories*, edited by Aleida Assmann and Sebastian Conrad, 97–117. Basingstoke, UK; New York: Palgrave Macmillan.

¹⁴¹ Rothberg 2019, 203.

¹⁴² Unger 2007, 41.

- Assmann, Jan. 2010. "Globalization, Universalism, and the Erosion of Cultural Memory." In *Memory in a Global Age. Discourses, Practices and Trajectories*, edited by Aleida Assmann and Sebastian Conrad, 121–37. Basingstoke, UK; New York: Palgrave Macmillan.
- . 1997. *Moses the Egyptian: The Memory of Egypt in Western Monotheism*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Behringer, Wolfgang. 2004. *Witches and Witch-Hunts: A Global History*. Cambridge: Polity Press.
- Bell, Duncan S. A. 2003. "Mythsapes: Memory, Mythology, and National Identity." *The British Journal of Sociology* 54, no. 1: 63–81.
- Benda, Julien. 2014. *The Treason of the Intellectuals*. Translated by R. Aldington. New Brunswick; London: Transaction Publishers.
- Berger, Stefan. 2019. "Agonistic memory is Open-Endedly Dialogic in a Bakhtinian Sense." *Istoricheskaya Expertiza*. <https://www.istorex.ru/post/stefan-berger-agonistic-memory-is-open-endedly-dialogic-in-a-bakhtinian-sense-1>. (Accessed: 01.12.2021).
- Berger, Stefan, and Christoph Conrad. 2015. *The Past as History: National Identity and Historical Consciousness in Modern Europe*. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan.
- Bickford, Louis, and Amy Sodaro. 2010. "Remembering Yesterday to Protect Tomorrow: The Internationalization of a New Commemorative Paradigm." In *Memory and the Future: Transnational Politics, Ethics and Society*, edited by Yifat Gutman, Adam D. Brown and Amy Sodaro, 66–86. New York: Palgrave Macmillan.
- Booker, Christopher. 2006. *The Seven Basic Plots: Why We Tell Stories*. London: Continuum Books.
- Briere, Eloise. 2004. "Transcultural Memory: Putting the Ghosts of Haiti to Rest." *International Journal of Canadian Studies = Revue Internationale D'études Canadiennes* 29: 63–73.
- Broad, William, and Nicholas Wade. 1983. *Betrayers of the Truth: Fraud and Deceit in the Halls of Science*. New York: Simon & Schuster.
- Burkert, Walter. 1996. *Creation of the Sacred: Tracks of Biology in Early Religions*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Byhovskaya, Anna. 2016. "Robots versus Workers. Towards an Open, Equitable and Inclusive Digital Economy." *OECD Observer* 307: 30.
- Campbell, Josef. 2004. *The Hero with a Thousand Faces*. Princeton: Princeton University Press.
- Carr, David. 2008. "Narrative Explanation and Its Malcontents." *History and Theory*. 47, no. 1: 19–30.
- Conway, Martin A., and Catherine Loveday, and Scott N. Cole. 2016. "The Remembering-Imagining System." *Memory Studies* 9, no. 3: 256–65.
- Currid-Halkett, Elizabeth. 2017. *The Sum of Small Things. A Theory of the Aspirational Class*. Princeton: Princeton University Press.
- De Cesari, Chiara, and Ann Rigney. 2014. "Introduction." In *Transnational Memory: Circulation, Articulation, Scales*, edited by Chiara De Cesari, and Ann Rigney, 1–25. Berlin: De Gruyter.
- Dumézil, Georges. 1958. *L'Idéologie Tripartite des Indo-Européens*. Brussels: Latomus Collection.
- Eliade, Mircea. 1987. *The Sacred and the Profane: The Nature of Religion*. San Diego; New York; London: Harvest Book.
- Erll, Astrid. 2018. "Media and the Dynamics of Memory. From Cultural Paradigms to Transcultural Premediation." In *Handbook of Culture and Memory*, edited by Brady Wagoner, 305–24. New York: Oxford University Press.
- . 2011. "Travelling Memory." *Parallax* 17, no. 4: 4–18.
- Fogu, Claudio, and Wolf Kansteiner. 2006. *The Politics of Memory and the Poetics of History. The Politics of Memory in Postwar Europe*. Durham, NC: Duke University Press.
- Frantzen, Allen J. 2004. *Bloody Good: Chivalry, Sacrifice, and the Great War*. Chicago; London: University of Chicago Press.

- Garde-Hansen, Joanne, and Andrew Hoskins, and Anna Reading. 2009. *Save As... Digital Memories*. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan.
- Gedi, Noa, and Yigal Elam. 1996. "Collective Memory — What is it?" *History and Memory* 8, no. 1: 30–50.
- Gellner, Ernest. 1983. *Nations and Nationalism*. Oxford: Blackwell.
- Gordon Rouse, Kimberly A. 2004. "Beyond Maslow's Hierarchy of Needs. What Do People Strive for?" *Performance Improvement* 43, no. 10: 27–31.
- Graeber, David. 2018. *Bullshit Jobs: A Theory*. New York: Simon & Schuster.
- Guldi, Joanna, and David Armitage. 2014. *The History Manifesto*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Halbwachs, Maurice. 1968. *La Mémoire Collective*. Paris: Presses Universitaires de France.
- . 1992. *On Collective Memory*, translated and edited by L.A. Coser. Chicago: University of Chicago Press.
- . 1980. *The Collective Memory*. New York: Harper & Row.
- Harris, Marvin. 1978. *Cannibals and Kings. The Origins of Cultures*. London: Fontana; Collins.
- Hartog, Francois. 2015. *Regimes of Historicity: Presentism and Experiences of Time*. New York: Columbia University Press.
- Hirsch, Marianne, and Leo Spitzer. 2015. "Small Acts of Repair: The Unclaimed Legacy of the Romanian Holocaust." *Journal of Literature and Trauma Studies* 4, nos. 1–2: 13–42.
- Hobsbawm, Eric, and Terence Ranger. 2013. *The Invention of Tradition*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hollinger, David A. 2006. "From Identity to Solidarity." *Dædalus* 135, no. 4: 23–31.
- Hoskins, Andrew. 2009. "The Mediatisation of Memory." In *Save As... Digital Memories*, edited by Garde-Hansen, Joanne, and Andrew Hoskins, and Anna Reading, 27–43. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan.
- Hroch, Miroslav. 2020. "The Nation as the Cradle of Nationalism and Patriotism." *Nations and Nationalism* 26, no. 1: 5–21.
- Inglehart, Ronald. 2018. *Cultural Evolution: People's Motivations Are Changing, and Reshaping the World*. New York: Cambridge University Press.
- Ismailbekova, Aksana. 2014. "Migration and Patrilineal Descent: The Role of Women in Kyrgyzstan." *Central Asian Survey* 33, no. 3: 375–89.
- Joyce, James. 1939. *Finnegans Wake*. New York: Viking Press, Inc.
- Kammen, Michael. 1993. *Mystic Chords of Memory: The Transformation of Tradition in American Culture*. New York: Vintage Books.
- Kansteiner, Wulf. 2002. "Finding Meaning in Memory: A Methodological Critique of Collective Memory Studies." *History and Theory* 41, no. 2: 179–97.
- Keightley Emily, and Michael Pickering. 2017. *Memory and the Management of Change: Repossessing the Past*. London: Palgrave Macmillan.
- . 2012. *The Mnemonic Imagination: Remembering as Creative Practice*. London: Palgrave Macmillan.
- Kermode, Frank. 2000. *The Sense of an Ending: Studies in the Theory of Fiction*. New York: Oxford University Press.
- Klein, Kerwin L. 2000. "On the Emergence of Memory in Historical Discourse." *Representations* 69, no. 1: 127–50.
- Kordonsky, S. G. 2016. *Socio-Economic Foundations of the Russian Post-Soviet Regime. The Resource-Based Economy and Estate-Based Social Structure of Contemporary Russia*. Stuttgart: Stuttgart-Verlag.
- Kuipers, Ronald A. 2011. "Turning Memory into Prophecy: Roberto Unger and Paul Ricoeur on the Human Condition. Between Past and Future." *The Heythrop Journal* 52, no. 2: 1–10.

- Lacoue-Labarthe, Philippe, and Jean-Luc Nancy. 1988. *The Literary Absolute: The Theory of Literature in German Romanticism Intersections*. Albany, NY: State University of New York Press.
- Landsberg, Alison. 2004. *Prosthetic Memory: The Transformation of American Remembrance in the Age of Mass Culture*. New York: Columbia University Press.
- Levy, Daniel, and Natan Sznaider. 2002. "Memory Unbound. The Holocaust and the Formation of Cosmopolitan Memory." *European Journal of Social Theory* 5, no. 1: 87–106.
- Löwith, Karl. 1957. *Meaning in History: The Theological Implications of the Philosophy of History*. Chicago; London: University of Chicago Press.
- Mann, Michael. 2005. *The Dark Side of Democracy. Explaining Ethnic Cleansing*. Cambridge: Cambridge University Press.
- McLuhan, Marshall. 1994. *Understanding Media: the Extensions of Man*. Cambridge, Massachusetts; London, England: Massachusetts Institute of Technology Press.
- Mouffe, Chantal. 2013. "The Ethics and Politics of Democracy. An Agonistic Approach." In *Ethics, Society, Politics: Proceedings of the 35th International Wittgenstein Symposium, Kirchberg am Wechsel, Austria, 2012*, edited by Hajo Greif and Martin Gerhard Weiss, 313–28. Berlin; Boston: De Gruyter Ontos.
- Nora, Pierre. 1989. "Between Memory and History: Les lieux de mémoire." *Representations* 26 (Spring): 7–25.
- Norris, Pippa, and Ronald Inglehart. 2009. *Cosmopolitan Communications. Cultural Diversity in a Globalized World*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Novick, Peter. 2007. "Comment Delivered at the Twentieth Annual Lecture of the GHI." *GHI Bulletin* 40: 27–31.
- Olick, Jeffrey K. 1999. "Collective Memory: The Two Cultures." *Sociological Theory* 17, no. 3: 333–48.
- . 2007. *The Politics of Regret: Collective Memory in the Age of Atrocity*. New York: Routledge.
- Persinger, Michael, and C. F. De Sano. 1986. "Temporal Lobe Signs: Positive Correlations with Imaginings and Hypnosis Induction Profiles." *Psychological Reports* 58, no. 2: 347–50.
- Philpott, Carey. 2014. "Developing and Extending Wertsch's Idea of Narrative Templates." *International Journal of Research and Method in Education* 37, no. 3: 309–23.
- Polti, Georges. 1921. *The Thirty-Six Dramatic Situations*. Translated by Lucile Ray. Franklin, Ohio: James Knapp Reeve.
- Popper, Karl. 1992. *In Search of a Better World: Lectures and Essays from Thirty Years*. London; New York: Routledge.
- Propp, Vladimir. 1968. *Morphology of the Folktale*. Translated by L. Scott. Austin: University of Texas Press.
- Reading, Anna. 2011. "Globalisation and Digital Memory: Global Memory's six Dynamics." In *On Media Memory: Collective Memory in a Digital Age*, edited by Motti Neiger, and Eyal Zandberg, and Oren Meyers, 143–62. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan.
- Reading, Anna, and Tamar Katriel, eds. 2015. *Cultural Memories of Nonviolent Struggles*. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan.
- Ricœur, Paul. 2006. *Memory, History, Forgetting*. Chicago; London: The University of Chicago Press.
- . 1996. *The Hermeneutics of Action*. London: Sage Publications Ltd.
- Rigney, Ann. 2018. "Remembrance as Rremaking: Memories of the Nation Revisited." *Nations and Nationalism* 24, no. 2: 240–57.
- . 2012. "Transforming Memory and the European Project." *New Literary History* 43, no. 4: 607–28.

- Robock, Alan, and Luke Oman, and Georgiy L. Stenchikov. 2007. "Nuclear Winter Revisited with a Modern Climate model and Current Nuclear Arsenals: Still Catastrophic Consequences." *Journal of Geophysical Research* 112 (D13). <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2006JD008235/full>.
- Rochester, Colin, Angela E. Paine, Steven Howlett, Meta Zimmeck. 2010. *Volunteering and Society in the 21st Century*. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan.
- Rønning, Anne H. 2009. "Some Reflections on Myth, History and Memory as Determinants of Narrative." *Coolabah* 3: 143–51.
- Rothberg, Michael. 2009. *Multidirectional Memory. Remembering the Holocaust in the Age of Decolonization*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- . 2019. *The Implicated Subject. Beyond Victims and Perpetrators*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Rumsey, Abby S. 2016. *When We are no. More. How Digital Memory is Shaping Our Future*. New York: Bloomsbury Press.
- Sabeian, David W., and Simon Teuscher S. 2013. "Introduction." In *Blood and Kinship. Matter for Metaphor from Ancient Rome to the Present*, edited by Christopher H. Johnson, Bernhard Jussen, David W. Sabeian, and Simon Teuscher, 1–17. New York: Berghahn Books.
- Schacter, Daniel L., and Donna R. Addis, and Randy L. Buckner. 2007. "Remembering the Past to Imagine the Future: The Prospective Brain." *Nature Reviews. Neuroscience* 8, no. 9: 657–61.
- Schacter, Daniel L., and Donna R. Addis, Demis Hassabis, et al. 2012. "The Future of Memory: Remembering, Imagining, and the Brain." *Neuron* 76: 677–94.
- Schwartz, B. 1982. "The Social Context of Commemoration: A Study in Collective Memory." *Social Forces* 61, no. 2: 374–402.
- Shapira, Anita. 1996. "Historiography and Memory: Latrun, 1948." *Jewish Social Studies. New Series* 3, no. 1: 20–61.
- Silverman, Max. 2013. *Palimpsestic Memory: The Holocaust and Colonialism in French and Francophone Fiction and Film*. New York: Berghahn Books.
- Smith, Anthony D. 1996. "Memory and modernity: Reflections on Ernest Gellner's Theory of Nationalism." *Nations and Nationalism* 2, no. 3: 371–88.
- . 1999. *Myths and Memories of the Nation*. New York: Oxford University Press.
- Sontag, Susan. 2003. *Regarding the Pain of Others*. New York: Picador; Farrar, Straus and Giroux.
- Stepinsky, Jeffrey. 2005. "Global Memory and the Rhythm of Life." *American Behavioral Scientist* 48, no. 10: 1383–402.
- Szpunar, Piotr M., and Karl K. Szpunar. 2016. "Collective Future Thought: Concept, Function, and Implications for Collective Memory Studies." *Memory Studies* 9, no. 4: 376–89.
- Tobias, Ronald B. 2012. *20 Master Plots (and How to Build Them)*. Cincinnati, Ohio: Writer's Digest Books.
- Unger, Roberto M. 2007. *The Self Awakened: Pragmatism Unbound*. Cambridge, MA; London: Harvard University Press.
- Uther, Hans J. 2004. *The Types of International Folktales. A Classification and Bibliography*. 3 vols. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica.
- Weber, Eugene. 1976. *Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France, 1880–1914*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Wertsch, James V. 2008. "A Clash of Deep Memories." In *Profession*, (2008): 46–53. New York: Modern Language Association.
- . 2004. *Voices of Collective Remembering*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wertsch, James V., and Henry L. III Roediger. 2008. "Collective Memory: Conceptual Foundations and Theoretical Approaches." *Memory* 16, no. 3: 318–26.

- White, Geoffrey M. 1995. "Remembering Guadalcanal: National Identity and Transnational Memory-Making." *Public Culture* 7, no. 3: 529–55.
- Winter, Jay. 1999. "Forms of Kinship and Remembrance in the Aftermath of the Great War." In *War and Remembrance in the Twentieth Century*, edited by Jay Winter, and Emmanuel Sivan, 40–60. Cambridge: Cambridge University Press.
- Zipes, Jack D. 2006. *Why Fairy Tales Stick: The Evolution and Relevance of a Genre*. New York; London: Routledge.
- Zwigenberg, Ran. 2014. *Hiroshima: The Origins of Global Memory Culture*. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

Научная статья

Три базовых мифологических нарратива памяти, идентичности-солидарности и этики (приглашение к дискуссии о нарративном ядре коллективной памяти)

СЕРГЕЙ ЭРЛИХ

Издательство «Нестор-История», Санкт-Петербург, Россия

АННОТАЦИЯ

Какие формы памяти, идентичности и этики соответствуют нашей информационной цивилизации? Отвечая на этот вопрос, автор обращается к мифологическим нарративам, которые являются «носителями» не только памяти, но также идентичности и этики. Бесконечное число специфических нарративов памяти может быть сведено к трем базовым мифологическим нарративам: волшебная сказка соответствует родовой организации (ныне — семье), героический миф соответствует государственным формам (ныне — нации), миф самопожертвования (Прометей и Христос) соответствует глобальной организации человечества. Можно отметить три главных последствия этих трех шагов эволюции. Во-первых, идентичность, которая предусматривает солидарность, становится всё шире, включая в число «наших» всё больше людей: «род» (семья), «народ» (нация), «человечество». Во-вторых, память становится глубже, ее начала последовательно перемещаются от «основателей рода» к «основателям государства», к «палеолитическим предкам» и даже к «Большому взрыву». В-третьих, этика постепенно эволюционирует от эгоистических ценностей выживания к альтруистическим постматериалистическим ценностям самореализации (Рональд Инглхарт).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: специфический нарратив, схематический нарративный шаблон, базовый мифологический нарратив, волшебная сказка (миф добычи), героический миф (миф жертвоприношения), миф самопожертвования, глобальные формы памяти, идентичности-солидарности и этики

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Эрлих С.Э. Три базовых мифологических нарратива памяти, идентичности-солидарности и этики (приглашение к дискуссии о нарративном ядре коллективной памяти) // *History HSE*. 2022. № 1. С. 137–160.

ПОСТУПЛЕНИЕ СТАТЬИ: 04.07.2021 | **ПРИНЯТИЕ К ПУБЛИКАЦИИ:** 17.10.2021

ЗАЯВЛЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

БЛАГОДАРНОСТИ

Я чрезвычайно признателен Джеймсу Верчу, Тайлеру Верчу, Штефану Бергеру, Борису Миронову, Виктору Шнирельману, Милице Попович, Наталье Майсовой, Энн Ригни, Астрид Эрл и Дмитрию Панченко за их плодотворные комментарии к прежним вариантам моей статьи. Разумеется, только автор несёт ответственность за написанный им текст. Я также признателен Олегу и Шэрон Пекарь за огромную помощь, оказанную ими при переводе статьи на английский язык. Эта статья вдохновлена идеями Джеймса Верча о роли нарратива как инструмента опосредования между индивидуальной и коллективной памятью. Его плодотворный подход стал исходной точкой моего исследования третьего (после специфического нарратива и схематического нарративного шаблона) уровня структуры памяти, который я назвал базовым мифологическим нарративом. Я рассматриваю мои находки как набор гипотез и приглашаю коллег обсудить их. Такая дискуссия поможет пересмотреть понятие коллективной памяти.

Обзор

Международный центр антропологии факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ: историческая антропология между отечественной научной традицией и современными мировыми трендами

Анастасия Банщикова ^а 

Дмитрий Бондаренко ^{а,б} 

^а Международный центр антропологии, факультет гуманитарных наук НИУ ВШЭ, Москва

^б Институт Африки РАН, Москва

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Банщикова А.А., Бондаренко Д.М. Международный центр антропологии факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ: историческая антропология между отечественной научной традицией и современными мировыми трендами // History HSE. 2022. № 1. С. 161–165.

ПОСТУПЛЕНИЕ: 04.09.2021 | **ПРИНЯТИЕ К ПУБЛИКАЦИИ:** 15.10.2021

Международный центр антропологии на базе Школы исторических наук факультета гуманитарных наук, созданный в феврале 2018 г. под руководством члена-корреспондента РАН Д. М. Бондаренко, объединил исследователей различных регионов Старого и Нового Света: культурных антропологов, историков, археологов и других специалистов, чье участие обеспечивает междисциплинарность и широту охвата материала. Основные сферы деятельности центра — изучение общественных институтов, форм политической организации, культуры народов прошлого и настоящего в исторической динамике, в контексте локальной и всеобщей социокультурной истории. Сотрудники являются специалистами по физической, эволюционной, политической, социальной, городской, лингвистической и исторической антропологии.

Основные цели деятельности центра — научные и образовательные. Образовательная деятельность направлена на обогащение антропологическими знаниями будущих и начинающих историков, культурологов, философов, лингвистов, социологов, политологов. Центр также намерен различными путями способствовать становлению и возмужанию нового поколения антропологов, которые готовы сохранить рвущуюся связь отечественной антропологии с историей и одновременно стремятся превратить российскую антропологию в органичную часть мировой антропологии, оказавшись в ее авангарде. В связи с этим важнейшей задачей центра является встраивание российской антропологической науки в новейшие, едва намечающиеся, но очень важные тенденции мировой науки при одновременном сохранении и использовании тесной связи с

исторической наукой в качестве положительного аспекта наследия отечественной научной традиции в области социальной антропологии (этнографии) прошлой эпохи. Главным результатом деятельности центра на данном этапе должна стать разработка новой концепции социокультурной истории человечества, основанной на выявлении ключевых факторов социоисторической динамики и механизмов их взаимодействия, постулатах о множественности направлений и форм общественной эволюции и существенной роли человеческой субъективности в так называемых объективных культурно-исторических процессах.

В основе методологии работы центра лежит понимание антропологии как дисциплины исторической, но изучающей историю не событийную (политическую), а институциональную — историю общественных институтов: социальных, политических, культурных, экономических и других. Этим определяется и набор конкретных методов из арсенала исторической и антропологической наук, который используется в ходе исследования.

За время существования центра его сотрудники провели множество полевых исследований антропологической, археологической, эпиграфической и лингвистической направленности: Д. М. Бондаренко и А. О. Лапушкина в Уганде, М. Л. Бутовская, А. А. Банщикова, О. В. Иванченко в Танзании, Д. А. Зеленова в ЮАР, А. И. Давлетшин и Д. Д. Беляев в Мексике и Гватемале. Остановимся подробнее на исследованиях по физической, социальной и исторической антропологии.

Второй сезон полевых исследований в Уганде в 2018 г. (в столице Кампале, деревнях Накабаале, Кисоджо, Капеке) был посвящен изучению феномена угандийского православного старообрядчества в социокультурном аспекте. Этот сезон явился продолжением полевой работы, начатой Д. М. Бондаренко и А. О. Лапушкиной в 2017 г. В России о существовании в Уганде православных, в т. ч. старообрядцев, почти не известно, а новый и необычный феномен угандийского старообрядчества никогда не подвергался научному анализу. Собраны структурированные интервью, проведено анкетирование, составлен фотоархив, сделаны видеозаписи богослужений и свадебного обряда народа ганда, а также венчания в столичной старообрядческой церкви. Респондентами являлись прихожане трех старообрядческих общин — это люди разных возрастов, профессий, этнического происхождения, а также различных религиозных деноминаций в прошлом, до перехода в старообрядчество. Вопросы для удобства интервьюируемых было немного, но их последовательность и характер отвечали основной задаче — понять и проанализировать, насколько глубоко угандийцы усвоили учение Русской православной старообрядческой церкви, а также насколько осознанным был выбор этой христианской деноминации. Также, наряду с местным фольклором, фиксировалась обыденная жизнь населения в поселках, где проживают старообрядцы: приготовление пищи, шитье, глажка одежды, сбор кофе, работа на птичьей ферме и т. п.

Многочисленные экспедиции в Танзанию 2018–2019 гг. члена-корреспондента РАН М. Л. Бутовской продолжили проводившуюся ранее работу и широко охватили географию этой страны: исследования проводились в Аруше, Маньяре, Букобе, Кагере, Дар-эс-Салааме, Мджини Магариби (Занзибар) и в районе озера Эйяси. Работа велась среди представителей неиндустриализированных традиционных обществ: хадза (охотники-собиратели), датоба (скотоводы), масаи (скотоводы), ирак (земледельцы и скотоводы), хая и меру (земледельцы); в Дар-эс-Салааме объектами изучения стали представители индийской диаспоры. Комплексная исследовательская программа включала в себя сбор антропометрических данных и фотосъемку, социодемографические опросы и интервью, экономические игры и тесты с предъявлением визуальных стимульных изображений. Тематика исследований также отличалась большим разнообразием: молекулярно-генетические и морфофизиологические маркеры агрессивного поведения и депрессивных расстройств; эволюционно-психологические и социокультурные механизмы кооперации и альтруизма; коммуникативные аспекты танатологических практик и верований,

современные похоронные церемонии и поминовение предков. Были взяты глубинные и экспертные интервью, использовался метод включенного наблюдения, велась фото- и видеосъемка.

Также в Танзании в 2018–2019 гг. провели два сезона полевых исследований А. А. Банщикова и О. В. Иванченко. Их проект посвящен исторической памяти об арабской работорговле в Восточной Африке в XIX в. и современным взаимоотношениям между танзанийцами и арабами, живущими в стране. Были взяты формальные и неформальные интервью в пяти городах и населенных пунктах Танзании — это Дар-эс-Салам, Занзибар, Багамойо, Пангани и Танга. Исследование продолжается, в ходе следующих сезонов география будет расширена и охватит западную, южную и центральную части страны.

Полевое исследование Д. А. Зеленовой в ЮАР в ноябре 2019 г. было посвящено изучению коллективной памяти о борьбе с апартеидом и оценке роли СССР в этих событиях. Зеленова провела серию глубинных интервью с жителями тауншипа Соуэто в Йоханнесбурге, ветеранами борьбы с апартеидом и активистами профсоюзных движений 1980–1990-х гг. В отличие от тех, кто находился в подполье за пределами страны в тренировочных центрах Африканского национального конгресса (АНК) или в ссылке, рядовые жители тауншипов вели борьбу с апартеидом на местах всеми доступными им способами. Респонденты должны были ответить на ряд вопросов, касающихся участия разных стран в борьбе против апартеида и вклада СССР в это движение. Полученные материалы позволили поставить вопрос о формировании официального нарратива и низовой памяти о борьбе с апартеидом. К примеру, почему активная поддержка СССР подпольной боевой организации АНК «Умконтове Сизве», о которой написано много научных работ, сегодня вообще никак не представлена в Музее апартеида? Как создается современный нарратив о борьбе с апартеидом и что вспоминают сами борцы за свободу? В этом аспекте была рассмотрена «музейная память», а именно экспозиции двух музеев: Музея апартеида в Йоханнесбурге и музея Шестого квартала в Кейптауне.

С июля по сентябрь 2018 г. А. И. Давлетшин проводил полевые исследования в Гватемале, поддержанные Музеем университета Сан-Карлос. Состоялась разведывательная этнографическая поездка к индейцам покомчи в селение Сан-Кристобаль-Верапас и селение Тактик департамента Альта-Верапас (народ майя, кичеанская подгруппа), а также к гарифуна в селение Ливингстон департамента Исабаль (смешанная группа, состоящая в основном из африканцев и индейцев и говорящая на аравакско-карибском креоле с большим количеством французских и английских заимствований). Работа с покомчи была посвящена оценке степени сохранности фольклорной традиции и языка. Целью работы с гарифуна было описание хозяйственного уклада группы и ее взаимодействия с другими индигенными группами. Нетривиальным результатом исследования является наблюдение перехода майя-кекчи, выходцев из департамента Петен, от одного культурно-хозяйственного типа к другому — аравакскому — в районе реки Рио-Дульсе.

В рамках центра ведет работу Кабинет исторической географии и картографии. В настоящий момент его сотрудники А. А. Немировский и А. С. Щавелёв работают над созданием пошаговых (с шагом в 20–50 лет) детальных геоэтнополитических карт мира и макрорегиональных зон X в., на которых будут визуализированы также различные этнологические и антропологические феномены и их типы (например, распределение гаплогрупп и иных генетических маркеров, демографических состояний, этносов и генетически выделяемых языковых общностей, контактных культурных зон и «цивилизаций», типов политической организации, хозяйственно-культурных типов, экономических моделей и норм эксплуатации, систем письма и т. д.).

Деятельность центра ориентирована на сотрудничество с зарубежными учеными, одной из форм которого является написание коллективных монографий на английском языке с широчайшим международным составом участников. Так, в 2019 г. вышла в свет монография «Непреодолимое прошлое. Историческая антропология Африки

и африканской диаспоры» (The Omnipresent Past. Historical Anthropology of Africa and African Diaspora. Moscow: LRC Publishing House, 2019) под редакцией Д. М. Бондаренко и М. Л. Бутовской, посвященная многообразию форм и каналов влияния исторического прошлого на современные африканские общества — через историческую память, наследие доколониальных и колониальных социальных и политических институтов и т. д. Среди авторов этой монографии, помимо сотрудников центра, — ученые из России, Австралии, Бенина, Италии, США, Танзании и ЮАР. Осенью 2020 г. в издательстве Springer (Шам, Швейцария) опубликована обобщающая монография «Эволюция социальных институтов: междисциплинарные перспективы» (The Evolution of Social Institutions: Interdisciplinary Perspectives) под редакцией Д. М. Бондаренко и американских антропологов С. Ковалевски и Д. Смолла, в написании которой наряду с сотрудниками центра приняли участие коллеги из других подразделений НИУ ВШЭ, научных учреждений и университетов России, Нидерландов, Мексики и США. В этом труде представлен новый подход к социальной эволюции человеческих обществ от древности до Нового времени сквозь призму развития социальных институтов.

В рамках центра действует постоянный научный семинар Homo sapiens historicus, на котором, помимо сотрудников центра, выступают ученые из других московских и российских вузов и приглашенные специалисты из-за рубежа. Образовательная деятельность центра представлена в форме майнора «Антропология», в рамках которого студентам предлагается изучить курсы «Физическая антропология с основами эволюционной антропологии», «Городская антропология», «Политическая антропология» и «Историческая антропология цивилизаций Старого и Нового Света». Постоянной популярностью среди студентов пользуется англоязычный курс С. В. Костелянца по этноконфликтологии (Ethnoconflictology).

ЗАЯВЛЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Review

International Center of Anthropology at the HSE Faculty of Humanities: Historical Anthropology between Russian Academic Tradition and Modern Global Trends

ANASTASIA BANSHCHIKOVA ^a

DMITRI BONDARENKO ^{a, b}

^a International Center of Anthropology, Faculty of Humanities, HSE University, Moscow

^b Institute for African Studies of the Russian Academy of Sciences, Moscow

FOR CITATION: Banshchikova, Anastasia, and Dmitri Bondarenko. 2022. "International Center of Anthropology at the HSE Faculty of Humanities: Historical Anthropology between Russian Academic Tradition and Modern Global Trends." *History HSE* 1: 161–165.

SUBMITTED: 04.09.2021 | **ACCEPTED FOR PUBLICATION:** 15.10.2021

DISCLOSURE STATEMENT

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

SUMMARY

The International Center of Anthropology was founded in February 2018 as a research unit within the School of History, Faculty of Humanities, National Research University Higher School of Economics. The Center studies social institutions, forms of political organization and cultures of peoples of the past and present in historical dynamics, in the context of local and global sociocultural history. The Center's basic activities are fundamental studies of societies of different epochs, geographic areas and sociocultural types, elaboration and fulfillment of international research and educational projects in the field of historical anthropology, organization of academic conferences, seminars and summer schools for Russian and foreign post-graduate students, young university teachers and researchers. One of the main objectives of the Centre is active involvement of young scholars in its activities, resulting in the increase of their professional level and early intellectual and organizational integration into the global academic community (through participation in international research projects, etc.).

Обзор

Международная лаборатория региональной истории России НИУ ВШЭ

ЕКАТЕРИНА БОЛТУНОВА 

Школа филологических наук, факультет гуманитарных наук НИУ ВШЭ, Москва, Россия
Международная лаборатория региональной истории России, факультет гуманитарных наук НИУ ВШЭ, Москва, Россия

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Болтунова Е. М. Международная лаборатория региональной истории России НИУ ВШЭ // History HSE. 2022. № 1. С. 166–170.

ПОСТУПЛЕНИЕ: 08.08.2021 | **ПРИНЯТИЕ К ПУБЛИКАЦИИ:** 07.09.2021

Международная лаборатория региональной истории России была открыта в феврале 2019 г. под руководством ее заведующего Екатерины Болтуновой и научного руководителя проекта Вилларда Сандерленда. Реализуемые лабораторией проекты направлены на комплексное изучение социального и общественно-политического развития российских регионов в XVIII–XX вв. Последние включают в себя исследование таких вопросов, как сложившееся территориальное позиционирование, возникновение и развитие историко-географических форм, трансграничные процессы и обмены, освоение территорий, социальная инженерия, практики регионального управления, создание и развитие человеческого капитала, а также формирование региональных идентичностей, ментальных карт, локальные презентационные модели и позиционирование полицентричности. В территориальном отношении исследование направлено на изучение всей страны в каждый из периодов ее существования. Приоритет, однако, отдается изучению регионов, составляющих территорию современной Российской Федерации (особенно крупных, таких как Центральная Россия, Поволжье, Урал, Сибирь и Дальний Восток). Хронологические рамки изучения охватывают XVIII–XX вв. (Российская империя, СССР и Россия). В отдельных случаях, впрочем, хронологическая граница оказывается сдвинута в период Московского царства (исследования Сибири), а при изучении некоторых материалов в поле зрения членов коллектива попадают события последних десятилетий.

В рамках проекта понятие «регион» используется как абстрактная аналитическая единица (без прямой связи с категориями этнического или языкового порядка), а именно — как территория, населенная разными людьми со сложившимся укладом. Такая установка позволит в перспективе разработать аналитический язык для описания региональной ситуации в России в XVIII–XX вв. Последнее, в свою очередь, поможет решить ряд методологических проблем российской исторической регионалистики.

В настоящий момент работа исследовательского коллектива ведется по трем главным направлениям: (1) иерархия территорий и историко-географические презентационные

модели, (2) политические и социальные практики в регионах России (XVIII–XX вв.) и (3) рефлексия в регионах и о регионах. Первое направление связано с анализом процесса конструирования презентационных моделей применительно к истории российских регионов XVIII–XX вв. Такие исследования предполагают введение в оборот и развитие терминов «регион», «область», «край», «царство», «пограничье», «фронтир», а также изучение влияния на восприятие региона значимых историко-культурных конструкций («Север», «Юг», «Восток», «Запад», «Европа», «Азия», «ориентализм» (в терминологии Э. Саида), «центр», «периферия», «(несостоявшаяся) столица», «провинция», «маргинальность» и др. Наряду с этим сотрудники лаборатории изучают ментальные карты, терминологические смещения и интерпретационные модели в исторической перспективе. Анализ этих позиций позволяет понять, каким образом (в рамках властных оценок, принятых стандартов, распределения экономических ресурсов, а также в контексте общественного восприятия) складывались разные иерархии территорий. Это также дает возможность осмыслить динамику подобных процессов и увидеть, как структуры такого рода появлялись, развивались, менялись или, напротив, остались неизменными при радикальной смене политического и культурно-исторического контекста. В рамках второго направления изучения проводится анализ стратегий и практик управления регионами России, дается оценка общего и различного в принятых стандартах управления, исследуются взаимоотношения «центр — регион», а также межрегиональное взаимодействие вне апелляции к столичному центру (уровень «регион — регион»). Третье направление работы ориентировано на изучение политической и историко-культурной рефлексии в регионах и о регионах. С одной стороны, речь идет об исследовании процессов получения знания о регионах России в рамках развития разных дисциплин (например географии и этнографии) и презентации последних (музеефикация и визуальная репрезентация), в т.ч. и инициированных из центра. С другой — этот сегмент анализа связан с определением того, как видел себя сам регион и те, кто выступал от лица той или иной территории. Более предметно рассматриваются позиции, связанные с трансфером идей и формированием локальной культурно-исторической памяти. Реализация перечисленных исследовательских задач осуществляется коллективом историков из России, Европы, США и Японии.

В рамках изучения этой проблематики сотрудники лаборатории проводят интенсивные архивные изыскания, в т.ч. в региональных архивохранилищах страны. Собранный материал формирует основу источниковой базы проводимого исследования, а также частично размещается на ресурсном портале лаборатории (подробнее об этой части проекта см. ниже). Подобные поиски осуществляются как в индивидуальном порядке, так и в рамках коллективных выездов. Так, в 2020 г. была проведена экспедиция «Источники и историография истории России (Владимир, Иваново, Кострома)» (в рамках проекта «Открываем Россию заново»), целью которой был отбор архивных и библиотечных материалов по истории Владимирской, Ивановской и Костромской областей, создание базы источников и краеведческой литературы, а также проведение выборочного описания надгробий старше 100 лет. Кроме сотрудников лаборатории, участниками экспедиции стали студенты, магистранты и аспиранты факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ.

Лаборатория регулярно проводит крупные конференции по исторической регионалистике. Первым из таких мероприятий стала Международная конференция «Регионы Российской империи: идентичность, репрезентация, (на)значение» (21–24 октября 2019 г.). Организаторы конференции стремились собрать группу исследователей, заинтересованных в анализе истории Российской империи как пространства, в основе которого лежит разнообразие — этническое, языковое, социокультурное, экономическое. Этим исследователей также объединяет стремление уйти от устойчивого общественного восприятия, в рамках которого региональная перспектива часто оказывается замкнутой

в пределах семиотических оппозиций «центр — периферия». В центре внимания участников конференции были такие вопросы, как изменение локальной идентичности и моделей репрезентации и в целом региональное измерение российского опыта в имперский период (XVIII — начало XX в.). В мероприятии приняли участие российские (как столичные, так и региональные) историки, а также исследователи из Европы и США, в их числе Юрий Акимов (НИУ ВШЭ, СПбГУ), Пол Верт (Университет Лас-Вегаса, США), Сорен Урбански (Германский исторический институт в Сан-Франциско, США).

Во время работы Молодежной секции конференции аспиранты и молодые ученые получили возможность обсудить представленные доклады. Конференции предшествовал воркшоп для студентов региональных вузов — партнеров лаборатории, на котором студенты из Смоленска, Томска, Саратова и Владивостока смогли обсудить текущее состояние региональных исследований.

Главным мероприятием лаборатории в 2020 г. стала Международная конференция «Российское побережье: морские берега и речные области в российской истории, 1700–1991» (18–21 ноября 2020 г.), целью которой было обсуждение истории прибрежных и речных регионов России в региональном и локальном контекстах. В основном российские регионы определяют исходя из «сухопутной» перспективы исследований — по территориальному отношению к центру или к границам государства, этноконфессиональному составу населения и структуре экономики. Тем самым внимание неизбежно сосредоточивается на физической географии региона. И хотя некоторые регионы имеют протяженную морскую границу или через них проходит тот или иной речной торговый путь, эти водные ресурсы редко оказываются в центре внимания историков. Организаторы конференции, напротив, исходили из представления о том, что близость к морю или внутренним водоемам во многих случаях является определяющим фактором в жизни той или иной территории. На конференции выступили Юлия Лайус (НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург) и Джанет Хартли (Лондонская школа экономики, Великобритания).

Сотрудники лаборатории также организовали и провели воркшоп «Политическое пространство в региональном измерении» (10–11 сентября 2020 г.). Участники этого мероприятия обсудили возможности и перспективы изучения политической топографии на региональном материале применительно к позднеимперскому, советскому и постсоветскому периодам. Одной из главных тем стала проблема семиотического присутствия власти в российском региональном пространстве (город, регион, территория), а также вопрос о том, каким образом решение политических задач или продвижение идеологических установок оказывалось увязано с локальным пространством, существующей архитектурной традицией или устоями, исторической памятью конкретного региона, актуальными пространственными образами и коннотациями.

У лаборатории есть постоянно действующие лекторий и семинар для молодых ученых. В рамках работы лектория проводятся лекции российских и иностранных специалистов. В 2019–2021 гг. результаты своих исследований представили Сергей Антонов (Йельский университет, США), Владислав Боярченков (НИУ ВШЭ), Павел Гребенюк (Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт ДВО РАН), Сергей Глебов (Эмерст-колледж, Смит-колледж, США), Владимир Круглов (Институт российской истории РАН), Доминик Ливен (Лондонская школа экономики, Великобритания), Альберто Масоеро (Туринский университет, Италия), Эрика Монахан (Университет Нью-Мексико, США), Норихиро Наганава (Университет Хоккайдо, Япония), Наталия Родигина (Новосибирский государственный педагогический университет), Анатолий Савченко (Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН), Виллард Сандерленд (НИУ ВШЭ, Университет Цинциннати, США), Сорен Урбански, Джанет Хартли, Джеффри Хоскинг (Лондонская школа экономики), Николай Цыремпилов (Назарбаев университет, Казахстан), Александр Эткинд (Европейский университетский институт, Италия). Организованный лабораторией семинар для молодых

ученых, работающий параллельно с лекториумом, способствует профессиональному росту молодых ученых (как постоянных сотрудников лаборатории, так и приглашенных исследователей) и соответствию их проектов мировой научной повестке дня.

Значимой задачей лаборатории является создание интеллектуального пространства, объединяющего исследователей в сфере изучения региональной истории России имперского, советского и постсоветского периодов. К настоящему моменту в лаборатории создана сеть региональных университетов-партнеров, в которую входят 13 вузов и исследовательских центров страны: Дальневосточный федеральный университет (Владивосток), Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН (Владивосток), Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова (Элиста), Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Пермский государственный национальный исследовательский университет, Петрозаводский государственный университет, Псковский государственный университет, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, Смоленский государственный университет, Тихоокеанский государственный университет (Хабаровск), Национальный исследовательский Томский государственный университет, Чеченский государственный университет (Грозный), Уральский государственный педагогический университет (Екатеринбург). Лаборатория также активно взаимодействует с пятью зарубежными институциями (Индианский университет, США; Германский исторический институт, Москва; Школа славянских и евразийских исследований Университета Хоккайдо, Япония; Туринский университет, Италия; Институт исследований Восточной и Юго-Восточной Европы им. Лейбница, Германия).

В рамках этого сотрудничества лаборатория провела несколько мероприятий. В их числе Международный симпозиум «Tsars' Regions between Literary Imaginations and Geopolitics» (совместно с Университетом Хоккайдо) (12–13 декабря 2019 г.), Международная конференция «Люди империи — империя людей: персональная и институциональная история азиатских окраин России», посвященная 65-летию профессора А.В. Ремнёва (совместно с Омским государственным университетом) (3–6 декабря 2020 г.) и Международная конференция «The Russian Far East: Regional and Transnational Perspectives (19th — 21st cent.)» (совместно с Германским историческим институтом в Москве и Институтом истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН) (28–31 марта 2021 г.).

Симпозиум «Tsars' Regions between Literary Imaginations and Geopolitics» объединил историков и филологов, исследующих региональную перспективу, и стал продолжением первой конференции лаборатории «Регионы России в исторической перспективе». Цель конференции «Люди империи — империя людей» состояла в том, чтобы дать оценку современного состояния и развития региональных исследований в рамках имперской истории, привлечь внимание научного сообщества к значимости в современных политических условиях исследований истории и историографии сопредельных государств, а также охарактеризовать вклад профессора А.В. Ремнёва в современные исследования по имперской тематике, исторической регионалистике, сибиреведению. Конференция «The Russian Far East» объединила исследователей, занимающихся историей Дальнего Востока. В разное время регион был плацдармом Российской империи на Тихом океане, перспективным центром международного партнерства, точкой притяжения для мигрантов и закрытой милитаризованной территорией. Целью конференции стало рассмотрение места российского Дальнего Востока в истории Азиатско-Тихоокеанского региона и определение особенности развития этой территории, в т. ч. в рамках складывания локальной идентичности.

В 2020 г. лаборатория открыла ресурсный портал «Регионы России в исторической перспективе». Этот ресурс планируется последовательно наполнять текстовыми и визуальными материалами, отражающими процессы развития российских регионов на

протяжении трех столетий. Из наиболее ценных материалов, размещенных на портале, можно отметить оцифрованный архив известного сибирского областника Н. М. Ядринцева из Отдела рукописей и книжных памятников Научной библиотеки Томского государственного университета (Фонд № 3). Архив содержит творческие рукописи, материалы служебной деятельности, изобразительные материалы, документы А. Ф. Ядринцевой, а также документы их родственников. Оцифровка этих источников была проведена лабораторией в сотрудничестве с Томским государственным университетом.

К настоящему моменту Международная лаборатория региональной истории России НИУ ВШЭ является базой для проведения исследований в сфере регионалистики, компаративных исследований и исторической русистики, а также площадкой для профессионального диалога историков, представляющих российские столичные и региональные, а также зарубежные университеты и исследовательские центры.

Исследовательский проект осуществляется при поддержке Фонда Михаила Прохорова.

ЗАЯВЛЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Review

The International Lab “Russia’s Regions in Historical Perspective” of HSE University

ЕКАТЕРИНА BOLTUNOVA

School of Philology, Faculty of Humanities, HSE University, Moscow, Russia

International Lab “Russia’s Regions in Historical Perspective”, Faculty of Humanities, HSE University, Moscow, Russia

FOR CITATION: Boltunova, Ekaterina. 2022. “The International Lab ‘Russia’s Regions in Historical Perspective’ of HSE University.” *History HSE* 1: 166–170.

SUBMITTED: 08.08.2021 | **ACCEPTED FOR PUBLICATION:** 07.09.2021

DISCLOSURE STATEMENT

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

SUMMARY

The International Lab “Russia’s Regions in Historical Perspective” aims to provide a comprehensive look at the social and political development of regions within Russia from 18th to late 20th century. The research team examines a range of issues, including the existing geographic positioning, the rise and transformation of imperial/Soviet/Post-Soviet historical and geographical entities, cross-border developments and exchanges, land cultivation, social engineering, regional administrative practices and the creation and growth of human capital. Also covered is the rise of regional identities, mental maps, local presentation models and the fashioning of polycentrism. An important objective is found in the development of an analytical language to describe the regional situation in Russia from 18th to late 20th century — a language which can help solve crucial methodological issues in the discipline of historical regional studies in Russia.

Обзор

В поисках научных приоритетов: исторические исследования в пермском кампусе НИУ ВШЭ

Динара Гагарина^{а, б} 

Илиана Исмакаева^{а, б} 

Анна Кимерлинг^а 

Сергей Корниенко^{а, б} 

Виталий Мингалёв^а 

^а Кафедра гуманитарных дисциплин социально-гуманитарного факультета НИУ ВШЭ, Пермь, Россия

^б Сектор исторических исследований Научно-учебной лаборатории междисциплинарных эмпирических исследований НИУ ВШЭ, Пермь, Россия

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: В поисках научных приоритетов: исторические исследования в пермском кампусе НИУ ВШЭ / Д. А. Гагарина, И. Д. Исмакаева, А. С. Кимерлинг и др. // History HSE. 2022. № 1. С. 171–179.

ПОСТУПЛЕНИЕ: 02.12.2021 | **ПРИНЯТИЕ К ПУБЛИКАЦИИ:** 03.12.2021

Становление исторического направления в пермском кампусе

Исторические исследования в НИУ ВШЭ — Пермь ведутся на кафедре гуманитарных дисциплин и в секторе исторических исследований Научно-учебной лаборатории междисциплинарных эмпирических исследований.

Кафедра гуманитарных дисциплин была создана в НИУ ВШЭ — Пермь в 1999 г. Изначально в ее составе преобладали историки, представляющие разные направления и школы. Кафедра занимается подготовкой в бакалавриате и магистратуре на основе образовательных программ по истории, а также преподаванием истории как дисциплины общего цикла для всех направлений подготовки кампуса. Сектор исторических исследований реализует научные проекты различной тематики и активно взаимодействует с кафедрой гуманитарных дисциплин.

С 2008 по 2014 г. кафедру возглавлял кандидат исторических наук А. А. Борисов. В этот период профессорско-преподавательский состав кафедры значительно усилился, в пермском кампусе НИУ ВШЭ были открыты бакалавриаты «История» и «Политология», в 2011 г. состоялся первый набор студентов. Открытие новых направлений шло

при активном участии московских коллег — деканов факультетов истории А. Б. Каменского, прикладной политологии А. Ю. Мельвиля. Кафедра и сейчас активно включена в межкампусное взаимодействие — как научное, так и образовательное. Студенты бакалавриата «История» постоянно участвуют в академических мероприятиях в Москве и Санкт-Петербурге, совместных археологических практиках и экспедициях, а также слушают межкампусные курсы.

С 2014 по 2018 г. кафедрой руководила кандидат исторических наук, доцент А. С. Кимерлинг — специалист по периоду сталинизма и истории политических репрессий. На кафедре собрался коллектив молодых ученых, многие из которых уже проявили себя в области гуманитарного знания: Д. В. Офицеров-Бельский — международник, специалист по европейской политике; Ю. В. Василенко — исследователь испанского консерватизма, переводчик научных трудов с испанского; А. В. Чашухин — исследователь истории советской повседневности; В. Р. Гуцин — специалист по античной истории; В. В. Мингалёв — археолог; А. А. Каменских — специалист по истории философии, философским и религиозным движениям поздней Античности. В этот период началось активное сотрудничество с Государственным архивом Пермского края, крупнейшими музеями и другими культурными институциями региона. В этих учреждениях студенты занимаются проектной деятельностью и проходят практику, а их специалисты являются приглашенными преподавателями по программам бакалавриата и магистратуры.

В 2018 г. кафедру гуманитарных дисциплин возглавила кандидат педагогических наук, специалист в области цифровой истории и digital humanities Д. А. Гагарина. Под ее руководством началось обновление образовательной программы бакалавриата по истории, была открыта магистратура «Цифровые методы в гуманитарных науках», цель которой — подготовка специалистов, которые владеют современными инструментами работы с цифровыми данными и технологиями и применяют их при работе с гуманитарными объектами. В 2019 г. Д. А. Гагарина стала деканом социально-гуманитарного факультета, а кафедру возглавил доктор исторических наук, профессор С. И. Корниенко — специалист в области исторической информатики и применения информационных технологий в исторических исследованиях, руководитель множества научных проектов в этой области.

В 2018–2020 гг. на кафедру пришли новые преподаватели: специалист по политической истории России начала XX в. А. В. Глушков, специалист по российскому консерватизму конца XIX — начала XX в. М. Н. Лукьянов, культуролог А. А. Суворова, экономический историк А. В. Сметанин. Благодаря этому появились новые образовательные курсы — как для историков, так и в форматах факультативов и майноров. В этот же период коллектив пополнился несколькими молодыми преподавателями.

В настоящее время на кафедре сложились и активно развиваются два научных направления: изучение теоретической и прикладной проблематики цифровых гуманитарных исследований и экономическая и социальная антропология советского общества. Оба направления являются приоритетными для пермского кампуса ВШЭ.

Теоретические и прикладные проблемы цифровых гуманитарных исследований

Активная работа в области цифровых гуманитарных наук (digital humanities) и цифровой истории в НИУ ВШЭ — Пермь ведется на кафедре гуманитарных дисциплин, в секторе исторических исследований лаборатории междисциплинарных эмпирических исследований. Реализуется несколько научных проектов, поддержанных конкурсами РФФИ и НИУ ВШЭ, открыта магистратура «Цифровые методы в гуманитарных науках», ведется подготовка кандидатских диссертаций. Направление представлено несколькими тематическими векторами.

Изучаются теоретико-методологические аспекты digital humanities. Так, применительно к историческим исследованиям вводится понятие «цифровая оптика», под которым понимается совокупность основанных на цифровых технологиях подходов, методов, инструментария, допускающих «масштабирование» рассматриваемых объектов, событий и периодов, изучение их в различных временных и пространственных интервалах, изменение этих интервалов в пределах одного исторического исследования¹. Результаты работы в данном направлении имеют существенное значение с точки зрения понимания и реализации важного принципа сочетания микро- и макроподходов в исторических исследованиях.

На основе теоретического осмысления цифровых методов в гуманитарных науках вообще и в истории в частности, а также в ходе педагогических экспериментов² был реализован ряд образовательных проектов и ресурсов, в т.ч. учебно-методический проект «Изучаем Digital Humanities»³ и массовый открытый онлайн-курс «Цифровая история»⁴, идет подготовка одноименного учебника.

Создание исторических информационных систем

Результатом исследований парламентской истории, земской истории, истории губернской периодической печати стал целый ряд исторических информационных систем научно-образовательного характера.

Под руководством профессора С. И. Корниенко созданы такие ресурсы, как «Пермская губернская периодика», «Историко-ориентированные информационные системы», «Земское самоуправление в России» и др. Работа над этими проектами была начата в Центре цифровой гуманитаристики Пермского университета и продолжается в НИУ ВШЭ — Пермь.

В ходе реализации проектов разработаны не только сами информационные системы, но и методики их использования в будущих научных исследованиях, проведена апробация этих методик, разработаны обобщенные модели исторических информационных систем и методы их оценки, собран и проанализирован массив из почти 1 000 ресурсов⁵, вышла монография «Исторические информационные системы: теория и практика»⁶.

Изучение миграций в СССР средствами digital humanities

С 2020 г. НИУ ВШЭ — Пермь совместно с Балтийским федеральным университетом им. И. Канта реализует проект «Миграции как фактор социальной трансформации регионов СССР в период послевоенного восстановления: анализ средствами digital humanities». Проект предусматривает сравнительный анализ природы, видов, характера, динамики миграций в различных по своему административному делению и географическому положению регионах. Исследование позволит полнее и глубже описать роль этих миграций в социально-экономических и культурных процессах.

При реализации проекта активно используются цифровые методы. Основой проекта станет комплексный научно-образовательный ресурс для исследования проблем послевоенных миграций, будут разработаны и внедрены специальные приложения для обработки и визуализации данных цифровыми методами. Предусматривается широкое использование технологий и инструментария баз данных, корпусной лингвистики, контент-анализа, социально- сетевого анализа. С помощью технологий 3D-моделирования будет осуществлена научная реконструкция «мира вещей» переселенца.

¹ Гагарина 2019.

² Гагарина 2020.

³ Гагарина 2017.

⁴ Гагарина 2019.

⁵ Гагарина 2016.

⁶ Корниенко 2021.

Проект вошел в число 14 победителей первого конкурса «Зеркальные лаборатории» НИУ ВШЭ и предполагает создание двух научных лабораторий в университетах-партнерах, «зеркальных» по тематике и задачам. В проект вовлечены историки С. И. Корниенко, Д. А. Гагарина, И. Д. Исмакаева, А. С. Кимерлинг, А. В. Сметанин, лингвисты Т. М. Пермякова, Е. А. Смирнова, представители компьютерных наук, а также студенты-историки.

История земского самоуправления и парламентаризма

Целью проекта «Земское самоуправление и парламентское представительство как ключевые явления социокультурной и политической трансформации России во второй половине XIX — начале XX в.» является изучение истории земства и прообразов парламентских учреждений в России (Государственной думы и Государственного совета). Их появление знаменовало начало коренного преобразования политической системы российского общества и государства, социальных и культурных основ государственного и общественного строя. Такой ракурс исследования позволяет понять сущность и содержание этих явлений с точки зрения новых социальных и политических процессов, формирования когорты принципиально других общественных деятелей и политиков, а также дает возможность ответить на вопрос, почему заложенные основы эволюционного пути модернизации и трансформации государства и общества не получили дальнейшего развития и в конечном счете не были реализованы.

Проект поддержан конкурсом РФФИ на лучшие научные проекты фундаментальных исследований в сфере общественно-политических наук, выполняемые талантливой молодежью под руководством ведущего ученого-наставника. В коллектив проекта входят С. И. Корниенко, И. Д. Исмакаева, А. В. Сенина, Е. С. Наймушина, Л. А. Бекасова.

Статистические методы в археологии

Археология работает с огромными массивами данных, в т.ч. фрагментированными. Использование статистики и компьютерных методов широко применяется в этой науке; одна из задач заключается в структуризации объектов материального мира (артефактов) в агломератные структуры. Основой археологических исследований, выполняемых в пермском кампусе НИУ ВШЭ под руководством В. В. Мингалёва⁷, является использование статистических методов (кластерный анализ, дискриминантный анализ, факторный анализ) при обработке массового материала. Это позволяет преобразовывать археологические данные в управляемые единицы и отслеживать изменения системы при вводе новых данных.

В ходе теоретических и полевых исследований в рамках ландшафтно-археологического подхода активно применяются ГИС-технологии. Исходя из того, что поведение социальных групп и сообществ всегда рационально, а структура поселений зависит от окружающей среды и технологического уровня развития социума в конкретный период, строятся математические и имитационные модели, распределяющие массивы выявленных поселений в границах социально-хозяйственной агломерации. Множественный регрессионный пространственный анализ позволяет выстраивать зависимость между расположением обнаруженных поселений и переменными геоморфологического и гидрологического характера как важнейшими факторами, влияющими на принятие решений по заселению определенной локации. Это позволяет получить серию моделей расселения, выстроить зависимость, определить ряд поселений, не укладывающихся в модель, предположительно из-за асинхронности и/или разной хозяйственной направленности. В результате «перебора» нескольких независимых переменных в отношении одной зависимой (локации памятников), с учетом определенной палеоэкономической модели и экологической ситуации, выстраиваются асинхронные имитационные модели

⁷ Мингалёв 2009, 2016; Васильева 2018.

структуры поселений. Занимаясь реконструкцией палеоэкологии, помимо статистических методов, исследователи НИУ ВШЭ — Пермь активно обращаются к естественным наукам.

Археологические исследования выполняются в НИУ ВШЭ — Пермь совместно с Пермским университетом, Институтом археологии им. А.Х.Халикова Академии наук Татарстана и другими организациями.

Экономическая и социальная антропология советского общества

Экономическая и социальная антропология советских институтов на стыке с историей повседневности объединяет исследовательские проекты А.С.Кимерлинг, А.В.Сметанина и А.В.Чашухина. Направление стало приоритетным в НИУ ВШЭ — Пермь в 2020 г., в его рамках работает научно-учебная группа «Экономическая антропология советского общества послевоенного периода», в которую входят А.С.Кимерлинг, А.В.Сметанин и студенты направления «История». Группа проводит регулярные научные семинары, где выступают не только ее участники, но и приглашенные специалисты. В 2021 г. к научно-учебной группе присоединился проф. Н.Ссорин-Чайков (НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург) с несколькими магистрантами.

Предметом изучения является экономическая и культурная жизнь СССР, которая начала меняться в позднюю сталинскую эпоху и претерпела значительные изменения в поздний советский период. Денежная реформа, экономические преобразования, возрастающая урбанизация, изменение характера мобилизационных кампаний, рост благосостояния, изменение потребительского поведения выявили недостатки плановой экономики, усилили теневой экономический сектор. Провинциальный журналист из города Березников Молотовской области Михаил Данилкин писал, что появившаяся аристократия нарядилась в мундиры, а блат стал сильнее Совнаркома⁸. В конце 1940-х гг. появились стилиаги, дети номенклатурных работников нашли в новой системе потребления, в радикальном облике и поведении альтернативную фронтовую форму мужественности⁹. В результате у молодежи сместились акценты с общественно-идеологического на личное — любовь и дружбу¹⁰. Публикация А.С.Кимерлинг о стилиагах для 20-томного сборника Института российской истории РАН «История России» находится в печати.

Однако исследований по истории послевоенного и позднесоветского периодов не так много, особенно в сфере экономической антропологии, в рамках которой реконструируется и анализируется экономическое поведение советских граждан. Экономическая антропология определяет спектр теоретических подходов и исследовательских инструментов. Исследования сосредотачиваются на истории повседневных практик экономических акторов и смыслах, которые они вкладывают в эти практики, дают понимание того, как формировались и эволюционировали ценностные установки советских граждан.

Политические кампании в позднюю сталинскую эпоху были значимым механизмом управления обществом. Они оказывали влияние не только в политической или идеологической сфере, но и в экономической. Каждая кампания мобилизационного типа включала в качестве значимого компонента борьбу за подъем трудового энтузиазма и перевыполнение всеми предприятиями планов¹¹.

Проводимые коллективом исследования показывают, что вся плановая экономика СССР основывалась на соотношении формальных и неформальных практик. Советская

⁸ Кимерлинг 2019.

⁹ Edele 2002.

¹⁰ Зубкова 2000.

¹¹ Кимерлинг 2017.

хозяйственная система действовала весьма своеобразно. Официальные отчеты были полны приписок, результаты выполнения планов завышались, пропаганда и реальность сильно отличались друг от друга. Действовать только в рамках формальных процедур было невозможно. Более или менее эффективно функционировала эта система только при наличии неформальных практик ведения хозяйственной деятельности¹².

Исследовательская работа по социальной антропологии ведется в рамках межкампусного проекта «Как это работало? Социальная антропология институтов в позднем СССР» (руководитель проекта проф. Н. В. Ссорин-Чайков), а также совместно с проектной группой Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий, занимающейся исследованием социальных сетей в позднесоветском обществе (1953–1991) (руководители М. Л. Майофис, И. В. Кукулин). В пермском кампусе этим направлением руководит А. С. Кимерлинг.

Одно из тематических направлений в рамках указанных проектов — изучение состояния медицины в позднем советском обществе. С антропологической точки зрения, авторов проекта интересуют не только медицинские практики, но и мотивация их носителей, а также докса (П. Бурдьё), лежащая в их основе. Проведенные исследования свидетельствуют, что медицина играла особую роль: с одной стороны, она выступала одним из оплотов рационального знания в общем контексте советской модерности, с другой — одной из первых получила определенную (относительную) автономию от идеологических установок. Это делает ее изучение интересным с точки зрения понимания функционирования всего советского общества.

В рамках проекта по социальной антропологии проводил исследования и А. В. Чашухин, изучающий деятельность института образования, а также агитационно-пропагандистские практики 1940–1950-х гг. В 2019 г. был реализован проект «Советский человек между идеологией и повседневностью: агитационно-пропагандистские практики 1940–1950-х в советской провинции». Его целью было исследование коммуникаций власти и населения как особых театральных действий, формирующих социальную реальность поздней сталинской эпохи, выявление практики отстаивания своих социальных позиций через официальный дискурс у представителей агитпропа и руководителей регионов¹³.

Перспективы развития

За последние годы роль кафедры гуманитарных дисциплин НИУ ВШЭ — Пермь значительно выросла в исторических исследованиях и проектах. Это стало возможным благодаря как вовлечению новых сотрудников, так и активному участию в межкампусных проектах. В 2020 г. была открыта магистратура по истории, впервые за многие годы на кафедре подготавливаются кандидатские диссертации.

В ближайшие годы в задачи кафедры входит открытие аспирантуры по истории, а также увеличение числа междисциплинарных проектов и проектов в партнерстве с другими университетами и институциями. Это позволит преодолеть естественные ограничения, существующие для кафедры небольшого размера и обусловленные составом образовательных программ.

ЗАЯВЛЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

¹² Кимерлинг 2013.

¹³ Чашухин 2018, 27–34; 2019.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

- Васильева, А. В., Мингалёв, В. В., Перескоков, М. Л.* Комплекс построек гляденовского времени на Мокинском I поселении-могильнике в контексте развития прикамского домостроительства // Вестник Пермского университета. Серия: История. 2018. № 1 (40). С. 44–61.
- Гагарина, Д. А.* Цифровая история: онлайн-курс // Открытое образование: [сайт]. 2019. URL: <https://openedu.ru/course/hse/DIGHIST/> (дата обращения: 01.12.2021). Режим доступа: для авториз. пользователей.
- Гагарина, Д. А., Исмакаева И. Д.* Изучаем Digital Humanities: [сайт]. 2017. URL: <http://dhumanities.ru/> (дата обращения: 01.12.2021).
- Гагарина, Д. А., Корниенко, С. И.* Цифровая оптика: микро и макро в историческом исследовании // Вестник Пермского университета. Серия: История. 2019. № 3. С. 175–183.
- Гагарина, Д. А., Корниенко, С. И.* Digital Humanities: образовательный ландшафт // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2020. № 3 (89). С. 1–15. URL: <https://doi.org/10.18254/S0002188-5-1>
- Гагарина, Д. А., Корниенко, С. И., Поврозник Н. Г.* Информационные системы в цифровой среде исторической науки // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2016. Т. 7. № 51. С. 1–12.
- Зубкова, Е. Ю.* Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945–1953. М.: РОССПЭН, 2000. 230 с.
- Кимерлинг, А. С.* Водонагревательный котел в обмен на шесть лошадей: повседневные неформальные практики управления советским предприятием в послевоенные годы // Повседневность российской провинции XIX–XX вв.: материалы всерос. науч. конф. (г. Пермь, 5–6 ноября 2013 г.). В 2 ч. Ч. 2. Пермь: Пермск. государств. гум.-педагог. ун-т, 2013. С. 230–236.
- Кимерлинг, А. С.* Выполнять и лукавить: политические кампании поздней сталинской эпохи. М.: Изд. дом ВШЭ, 2017. 211 с.
- Кимерлинг, А. С., Лейбович, О. Л.* «Я вырос в сталинскую эпоху»: политический автопортрет советского журналиста. М.: Изд. дом ВШЭ, 2019. 364 с.
- Корниенко, С. И., Гагарина Д. А., Поврозник, Н. Г.* Исторические информационные системы: теория и практика. М.: Изд. дом ВШЭ, 2021. 231 с.
- Мингалёв, В. В.* Керамика Чазевского I могильника // Труды камской археолого-этнографической экспедиции / под общ. ред. А. М. Белавина. Вып. VI: Пермские финны и угры Урала в эпоху железа. Пермь: ПГПУ, 2009. С. 125–133.
- Мингалёв, В. В., Перескоков, М. Л.* Хронология и культурная принадлежность Калашниковского курганного могильника (по материалам раскопок 1982 г. и 2012 г.) // XV Бадеровские чтения по археологии Урала и Поволжья: материалы всерос. науч.-практ. конф. (г. Пермь, 9–12 февр. 2016 г.). Пермь: Пермск. государств. науч.-исслед. ун-т, 2016. С. 145–154.
- Чащухин, А. В.* «Вот называется друг, — мерзавец, а еще сидел рядом с товарищем Сталиным». О драматургии политических коммуникаций послевоенного времени // Вестник гуманитарного образования. 2018. № 3 (11). С. 27–34.
- Чащухин, А. В.* Социальные статусы работников агитпропа и нормы идеологической работы в годы Великой Отечественной войны // Вестник Пермского университета. Серия: История. 2019. № 4. С. 95–104.
- Edele, M.* Strange Young Men in Stalin's Moscow: The Birth and Life of the Stiliagi, 1945–1953 // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. Neue Folge. 2002. Bd. 50, H. 1. S. 37–61.

Review

Looking for Scientific Priorities: Historical Research at the Perm Campus of HSE University

DINARA GAGARINA ^{a, b}

ILIANA ISMAKAEVA ^{a, b}

ANNA KIMERLING ^a

SERGEI KORNIENKO ^{a, b}

VITALIY MINGALEV ^a

^a Department of Humanities, Faculty of Social Sciences and Humanities, HSE Campus in Perm, Russia

^b Group for Historical Research, Laboratory of Interdisciplinary Empirical Studies, HSE Campus in Perm, Russia

FOR CITATION: Gagarina, Dinara, and Iliana Ismakaeva, and Anna Kimerling, and Sergei Kornienko, and Vitaliy Mingalev. 2022. "Looking for Scientific Priorities: Historical Research at the Perm Campus of HSE University." *History HSE* 1: 171–179.

SUBMITTED: 02.12.2021 | **ACCEPTED FOR PUBLICATION:** 03.12.2021

DISCLOSURE STATEMENT

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

SUMMARY

This essay discusses the stage-by-stage process of the formation of the Department of Humanities at the Perm campus of HSE University. The authors pay main attention to two priority areas of work, these are theoretical and applied problems of digital humanitarian research, economic and social anthropology of Soviet society.

REFERENCES

- Edele, M. 2002. "Strange Young Men in Stalin's Moscow: The Birth and Life of the Stiliagi, 1945–1953." *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, Neue Folge* 50, no. 1: 37–61.
- Chashchukhin, A. V. 2018. "Vot nazyvaetsya drug, — merzavets, a eshche sidel ryadom s tovarishchem Stalinym." *O dramaturgii politicheskikh kommunikatsiy poslevoennogo vremeni.* *Vestnik gumanitarnogo obrazovaniya* 3: 27–34. (In Russ.).
- . 2019. "Sotsial'nye statusy rabotnikov agitpropa i normy ideologicheskoy raboty v gody Velikoy Otechestvennoy voyny." *Vestnik Permskogo universiteta. Seriya: Istoriya* 4: 95–104. (In Russ.).
- Gagarina, D. A. "Tsifrovaya istoriya: onlayn-kurs." *Otkrytoe obrazovanie.* <https://openedu.ru/course/hse/DIGHIST/> (Accessed 01.12.2021). (In Russ.).
- Gagarina, D. A., and I. D. Ismakaeva. 2017. *Izuchaem Digital Humanities.* <http://dhumanities.ru/> (Accessed 01.12.2021). (In Russ.).

- Gagarina, D. A., and S. I. Kornienko. 2019. "Tsifrovaya optika: mikro i makro v istoricheskom issledovanii." *Vestnik Permskogo universiteta. Seriya: Istoriya* 3: 175–83. (In Russ.).
- . 2020. "Digital Humanities: obrazovatel'nyy landshaft." *Elektronnyy nauchno-obrazovatel'nyy zhurnal 'Istoriya'* 3: 1–15. (In Russ.).
- Gagarina, D. A., and S. I. Kornienko, and N. G. Povroznik. 2016. "Informatsionnye sistemy v tsifrovoy srede istoricheskoy nauki." *Elektronnyy nauchno-obrazovatel'nyy zhurnal 'Istoriya'* 7, no. 51: 1–12. (In Russ.). <https://doi.org/10.18254/S0002188-5-1>
- Kimerling, A. S. 2013. "Vodonagrevatel'nyy kotel v obmen na shest' loshadey: povsednevnye neformal'nye praktiki upravleniya sovetskim predpriyatiem v poslevoennye gody." In *Povsednevnost' rossiyskoy provintsii XIX–XX vv.: materialy vseros. nauch. konf. (g. Perm', 5–6 noyabrya 2013 g.)*, edited by E. S. Subbotina, pt. 2, 230–36. Perm': Permskiy gosudarstvennyy gumanitarno-pedagogicheskiy universitet. (In Russ.).
- . 2017. *Vypolnyat' i lukavit': politicheskie kampanii pozdney stalinskoy epokhi*. Moscow: Izdatel'skiy dom NIU VShE. (In Russ.).
- Kimerling, A. S., and O. L., Leybovich. 2019. *'Ya vyros v stalinskuyu epokhu: politicheskiy avtoportret sovetskogo zhurnalista*. Moscow: Izdatel'skiy dom NIU VShE. (In Russ.).
- Kornienko, S. I., and D. A. Gagarina, and N. G. Povroznik. 2021. *Istoricheskie informatsionnye sistemy: teoriya i praktika*. Moscow: Izdatel'skiy dom NIU VShE. (In Russ.).
- Mingalev, V. V. 2009. "Keramika Chazevskogo I mogil'nika." In *Permskie finny i ugry Urala v epokhu zheleza*, 125–33. Vol. 6 of *Trudy kamskoy arkheologo-etnograficheskoy ekspeditsii*. Perm': PGPU. (In Russ.).
- Mingalev, V. V., and M. L. Pereskokov. 2016. "Khronologiya i kul'turnaya prinadlezhnost' Kalashnikovskogo kurgannogo mogil'nika (po materialam raskopok 1982 g. i 2012 g.)" In *XV Baderovskie chteniya po arkheologii Urala i Povolzh'ya: materialy vseros. nauch.-prakt. konf. (g. Perm', 9–12 fevr. 2016 g.)*, 145–54. Perm': Permskiy gosudarstvennyy nauchno-issledovatel'skiy universitet. (In Russ.).
- Vasil'eva, A. V., and V. V. Mingalev, and M. L. Pereskokov. 2018. "Kompleks postroek glyadenovskogo vremeni na Mokinskom I poselenii-mogil'nike v kontekste razvitiya prikamskogo domostroitel'stva." *Vestnik Permskogo universiteta Seriya: Istoriya* 1: 44–61. (In Russ.).
- Zubkova, E. Yu. 2000. *Poslevoennoe sovetskoe obshchestvo: politika i povsednevnost'. 1945–1953*. Moscow: ROSSPEN. (In Russ.).
-

Рецензия

Туманова А. С. **Общественные организации в России: правовое положение. 1860–1930-е гг.** М.: Проспект, 2019. 480 с.

Владимир Комаров 

Институт советской и постсоветской истории НИУ ВШЭ, Москва, Россия

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Комаров В. С. [Рецензия] // History HSE. 2022. № 1. С. 180–184. Рец. на кн.: Туманова А. С. **Общественные организации в России: правовое положение. 1860–1930-е гг.** М.: Проспект, 2019. 480 с.

ПОСТУПЛЕНИЕ: 07.05.2021 | **ПРИНЯТИЕ К ПУБЛИКАЦИИ:** 01.09.2021

Книга А. С. Тумановой посвящена правовой истории взаимоотношений государственной власти и общественных организаций. Хотя данная монография тематически продолжает предыдущие работы автора¹, новизна исследования очевидна. Подробно анализируется ход обсуждения в общественных и правительственных кругах права подданных на создание союзов, существенное внимание уделяется влиянию общественных организаций на формирование соответствующего законодательства. Использован широкий и разнообразный круг источников: нормативно-правовые акты, делопроизводственные документы, личные архивы, периодическая печать.

Автор трактует понятие гражданского общества с современных позиций, предполагающих, что его основой являются добровольные ассоциации. Развитость гражданского общества определяется посредством анализа форм общественных объединений и степени вовлеченности в них населения. В отличие от большинства исследователей, рассматривающих развитие гражданского общества на материале отдельных губерний России или отдельных сообществ, А. С. Туманова стремится к объемной реконструкции, соединяя макро- и микроисторический подходы, что позволяет выявить локальные модели общественно-государственного взаимодействия. Преимущественно автор обращается к таким влиятельным объединениям, как Вольное экономическое общество, Русское техническое общество и Московское общество сельского хозяйства.

Хотя главным предметом рассмотрения является эволюция правового положения общественных организаций, обсуждаются также их функционирование и персональный состав. Особое внимание уделяется обществу юристов и их участию в других профессиональных объединениях. Это связано с высокой степенью сплоченности юридического

© Комаров В. С., 2022  vkomarov@hse.ru

¹ Туманова 2006, 2008, 2011(а), 2011(б), 2014.

сообщества и его активным участием в общественных инициативах по совершенствованию законодательства. А. С. Туманова рассматривает не только проекты юристов, стоявших на либеральных позициях (а таких проектов было подавляющее большинство), но и немногочисленные предложения консервативных деятелей.

Не оставляя без внимания случаи успешного сотрудничества общества и государства, автор более подробно исследует конфликтные ситуации, поскольку именно в вопросах правового регулирования добровольных организаций власть и общество крайне редко находили общий язык.

Условно книгу можно разделить на три неравные части, соответствующие качественно отличным периодам: последняя треть XVIII в. — конец XIX в., конец XIX в. — 1917 г., 1917 г. — 1930-е гг. В первом блоке характеризуется состояние институтов гражданского общества при разрешительном (концессионном) принципе учреждения добровольных организаций. Большая часть книги посвящена периоду расцвета обществ в дореволюционной России, их деятельному участию в жизни страны и изменениям в подходах к учреждению добровольных организаций.

Перелом в их положении обозначился в 1890-е гг. Инициатором изменений на первых порах выступало чиновничество. Согласно А. С. Тумановой, бюрократия вполне осознавала, что существовавшие правовые нормы не позволяли контролировать все формы общественных объединений. Частные лица активно включались в решение проблем национального масштаба (например, в борьбу с голодом в 1891–1892 гг.), причем их деятельность нередко оказывалась продуктивнее усилий государственного аппарата.

Тем не менее бюрократия, настаивая на необходимости контроля над добровольными объединениями и противясь расширению права населения на самоорганизацию, не принимала в расчет какие-либо перспективы партнерства. Попытки существенного изменения законодательства по западным образцам, в частности путем создания Гражданского уложения, не были успешными. Вплоть до введения в 1906 г. Временных правил об обществах и союзах продолжал реализовываться разрешительный принцип, основанный на таких ключевых для власти постулатах, как «целесообразность» того или иного общества, «благонадежность» учредителей, членов и направления деятельности организаций, возможность контроля над ними.

По мнению А. С. Тумановой, чем интенсивнее происходило взаимодействие власти с общественностью, тем острее становилась их конфронтация. Отчасти это объясняется более широким участием населения в общественных организациях. Впрочем, не все общества противостояли власти. Выявление контактов общественных деятелей с бюрократией, в т. ч. неофициального характера, помогло бы лучше понять причины настороженного отношения чиновничества к общественным инициативам.

В период Первой русской революции 1905–1907 гг. вопрос об изменении правового положения организаций оказался составной частью общей задачи по реформированию всей политической системы, направленной на расширение гражданских прав населения, включая и право на свободу объединений. Стремясь выбить из рук оппозиции это оружие, правительство решилось пойти на уступки.

Процесс пересмотра существующих установлений, происходивший в период революционного подъема, был достаточно поспешен. С одной стороны, власть лишилась контроля над образованием объединений, а с другой — общество не получило полную свободу учреждать организации. В качестве временной меры, призванной успокоить оппозицию, вводился регистрационный и явочный порядок вместо концессионного режима. Несомненной заслугой А. С. Тумановой является детальный анализ процесса ликвидации старых норм и выявление ведущей роли общественных сил.

Согласно Временным правилам об обществах и союзах от 4 марта 1906 г., для создания таковых отныне достаточно было подать прошение в специально образованные присутствия по делам об обществах и союзах. Для получения прав юридического лица

требовалось также зарегистрировать устав общества. В описанном в книге алгоритме регистрации следует отметить одну неточность. Обязанность присутствий указывать учредителям «на все допущенные неправильности» не была установлена Временными правилами (с. 268), а была введена позднее указом Сената от 6 июня 1907 г.² А.С. Туманова упоминает этот указ, но уделяет ему недостаточно внимания, как и причинам, по которым подобные нормативные акты появлялись (они были ответом на жалобы учредителей обществ и местных властей на неполноту и неточности закона). Это явление, демонстрируя существование действенных механизмов для разрешения противоречий между властью и обществом, на наш взгляд, заслуживает более пристального рассмотрения.

Случаи конструктивного диалога нельзя считать исключениями. Многие старые общества, например Вольное экономическое общество, за свою долгую историю прошли путь от тесного взаимодействия с государством до открытой конфронтации. Объединения, сами зачастую не отличаясь законопослушностью, обвиняли власти в «охранительстве». Власти, в свою очередь, вменяли им в вину злоупотребление свободами, нередко предвзято относились к учредителям добровольных организаций и противодействовали их свободной работе. Тем не менее возникающее после знакомства с книгой впечатление об антагонизме между социумом и государством не вполне верно. Если полемика бюрократии с крупными обществами велась постоянно, то локальные организации, не претендовавшие на участие в политической жизни, например многочисленные общества благоустройства дачных местностей, пользовались поддержкой местного чиновничества. Больше внимание к подобным случаям позволило бы полнее охарактеризовать представления властей о том, какие общества следовало считать полезными.

Первым шагом на пути сотрудничества между правительством и обществом должно было стать издание постоянного закона об организациях. В его разработке можно отметить два этапа: первый завершился смертью инициатора закона – П. А. Столыпина, второй – Февральской революцией 1917 г. В первые годы подготовки закона предпринимались попытки привлечь к его обсуждению общественность: премьер-министр лично включил в состав Особого межведомственного совещания по замене Временных правил представителей крупных промышленных и торговых обществ, а подготовительные материалы направлял на отзыв редактору «Московских ведомостей» Л. А. Тихомирову. Однако о реальном участии общественности в работе совещания в книге не говорится. После гибели Столыпина общественные круги к разработке закона не привлекались.

В кругах бюрократии не было единства мнений. Так, предложения Министерства внутренних дел неизменно встречали критику со стороны Министерства юстиции, которое не соглашалось на расширение полномочий полиции и выступало за облегчение процедуры регистрации обществ. Ни один из составленных чиновниками проектов не поступил на рассмотрение Государственной думы. В качестве противовеса правительственной инициативе думская фракция Партии народной свободы в 1912 г. подготовила собственный проект, который в переработанном виде рассматривался в 1916 г. комиссией Государственной думы о собраниях. В ответ Министерством внутренних дел в кратчайшие сроки был подготовлен проект, составленный товарищем министра В. А. Балльцем. Обсуждение этих проектов прекратилось после февраля 1917 г.

Некоторое примирение сторон наблюдалось в период патриотического единения в начале Первой мировой войны 1914–1918 гг., в 1915 г. сменившись еще более жесткой конфронтацией. Общественность все более полагалась на негосударственные институты, тогда как власть относилась с растущим подозрением к общественным начинаниям. Особую роль в этом противостоянии сыграли всероссийские земский и городской союзы. Хотя А.С. Туманова не оценивает степень зрелости гражданского общества,

² РГИА, ф. 1284, оп. 187, 1906, д. 76 «В», л. 46 об.

динамика общественной самоорганизации указывает на значительный прогресс в его формировании. Однако противостоять новым вызовам революционного времени институты гражданского общества оказались не в состоянии.

При Временном правительстве, с исчезновением государственного контроля над общественными организациями, они заняли ведущее положение в подготовке различных реформ. В разработке нового законодательства активно участвовали либерально настроенные юристы. Проекты, предполагавшие установление явочного способа регистрации обществ и ликвидацию их исключительно в судебном порядке, остались нереализованными.

Пришедшие к власти большевики не были заинтересованы в объединениях, способных составить оппозицию новому режиму. Раньше других свое отношение к перевороту обозначили просветительские и профессиональные общества. Уже в ноябре 1917 г. резолюции, осуждавшие действия большевистского правительства, приняли Лига аграрных реформ, Общество имени А. И. Чупрова для разработки общественных наук, Общество печатников и различные юридические объединения. Оппозиционные организации, такие как всероссийские земский, городской и учительский союзы, были ликвидированы в первый год советской власти. Общества скаутов ликвидировались по настоянию Российского коммунистического союза молодежи. При этом на первых порах большевики не исключали полностью возможность сотрудничества. Часть обществ, особенно в области естественных и точных наук, продолжала свою работу и даже пользовалась государственной поддержкой.

В 1920-е гг. началась постепенная ликвидация старых добровольных ассоциаций. Некоторые из них, например Общество спасения на водах, были упразднены после создания организаций аналогичного профиля под партийным руководством. В начале 1930-х гг. на смену добровольным ассоциациям пришли массовые организации, в которых принцип самодеятельности подвергся деформации. Не исключено, что специалисты из дореволюционных обществ вступали в новые организации, однако для определения масштаба этого явления требуется сопоставление их персонального состава. Сохранившиеся немногочисленные дореволюционные общества были встроены в советскую систему и утратили свое былое влияние.

Добровольные общественные организации просуществовали в России немногим более полутора веков, эволюционировав от небольших элитарных кружков до массовых объединений, покрывавших сеть отделений всю страну. Несомненно, остается еще немало белых пятен в их истории. Монография А. С. Тумановой восполняет один из самых существенных пробелов, определяя правовое положение обществ на различных этапах их взаимодействия с государственной властью, но также ставит ряд вопросов, на которые предстоит ответить.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

РГИА — Российский государственный исторический архив

ЗАЯВЛЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

РГИА. Фонд 1284 (Департамент общих дел МВД).

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

- Самоорганизация российской общественности в последней трети XVIII — начале XX в. / отв. ред. А. С. Туманова. М.: РОССПЭН, 2011(а). 887 с.
- Туманова, А. С. Общественные организации и русская публика в начале XX века. М.: Новый хронограф, 2008. 326 с.
- Туманова, А. С. Общественные организации России в годы Первой мировой войны (1914 — февраль 1917 г.). М.: РОССПЭН, 2014. 327 с.
- Туманова, А. С. Правительственная политика в отношении общественных организаций России, 1905–1917 гг.: дис. д-ра ист. наук. Тамбов, 2006. 400 с.
- Туманова, А. С., Киселёв Р. В. Права человека в правовой мысли и законотворчестве Российской империи второй половины XIX — начала XX века. М.: Издательский дом ВШЭ, 2011(б). 279 с.

 Book review

Obshchestvennyye organizatsii v Rossii: pravovoe polozhenie. 1860–1930-e gg., by A. S. Tumanova, Moscow, Prospekt, 2019, 480 pp.

VLADIMIR KOMAROV

Institute for Advanced Soviet and Post-Soviet Studies, HSE University, Moscow, Russia

FOR CITATION: Komarov, Vladimir. 2022. Review of *Obshchestvennyye organizatsii v Rossii: pravovoe polozhenie. 1860–1930-e gg.* by A. S. Tumanova. *History HSE* 1: 180–184.

SUBMITTED: 07.05.2021 | **ACCEPTED FOR PUBLICATION:** 01.09.2021

DISCLOSURE STATEMENT

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

ARCHIVAL SOURCES

RGIA. Fond 1284 (Departament obshchikh del MVD). (In Russ.).

REFERENCES

- Samoorganizatsiya rossiyskoy obshchestvennosti v posledney treti XVIII — nachale XX v.* 2011. Edited by A. S. Tumanova. Moscow: ROSSPEN. (In Russ.)
- Tumanova, A. S. 2008. *Obshchestvennyye organizatsii i russkaya publika v nachale XX veka.* Moscow: Novyy khronograf. (In Russ.).
- . 2014. *Obshchestvennyye organizatsii Rossii v gody Pervoy mirovoy voyny (1914 — fevral' 1917 g.).* Moscow: ROSSPEN. (In Russ.).
- . 2006. “Pravitel'stvennaya politika v otnoshenii obshchestvennykh organizatsiy Rossii, 1905–1917 gg.” PhD diss., Tambov University. (In Russ.).
- Tumanova, A. S., and R. V. Kiselev. 2011. *Prava cheloveka v pravovoy mysli i zakonotvorchestve Rossiyskoy imperii vtoroy poloviny XIX — nachala XX veka.* Moscow: Izdatel'skiy dom NIU VShE. (In Russ.).
-

АВТОРЫ

Банщикова Анастасия Алексеевна, кандидат исторических наук, заместитель директора Международного центра антропологии факультета гуманитарных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Москва, Россия | abanshchikova@hse.ru

Болтунова Екатерина Михайловна, кандидат исторических наук, профессор Школы филологических наук, заведующий Международной лабораторией региональной истории России факультета гуманитарных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Москва, Россия | ekboltunova@hse.ru

Бондаренко Дмитрий Михайлович, доктор исторических наук, директор Международного центра антропологии, профессор Школы исторических наук факультета гуманитарных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», член-корреспондент Российской академии наук, Москва, Россия | dbondarenko@hse.ru

Боровков Дмитрий Александрович, кандидат исторических наук, свободный исследователь, Москва, Россия | brancaleone85@mail.ru

Верт Пол, Ph.D., профессор департамента истории Невадского университета в Лас-Вегасе, США | werthp@unlv.nevada.edu

Гагарина Динара Амировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин социально-гуманитарного факультета, заведующий сектором исторических исследований Научно-учебной лаборатории междисциплинарных эмпирических исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Пермь, Россия | dagagarina@hse.ru

Долбилов Михаил Дмитриевич, кандидат исторических наук, доцент департамента истории Мэрилендского университета в Колледж-Парке, США | dolbilov@umd.edu

Исмакаева Илиана Дамировна, преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин социально-гуманитарного факультета, стажер-исследователь сектора исторических исследований Научно-учебной лаборатории междисциплинарных эмпирических исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Пермь, Россия | idismakaeva@hse.ru

Кимерлинг Анна Семёновна, кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин социально-гуманитарного факультета Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Пермь, Россия | akimerling@hse.ru

Комаров Владимир Сергеевич, стажер-исследователь Института советской и постсоветской истории Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Москва, Россия | vkomarov@hse.ru

АВТОРЫ

Корниенко Сергей Иванович, доктор исторических наук, профессор и заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин социально-гуманитарного факультета, ведущий научный сотрудник сектора исторических исследований Научно-учебной лаборатории междисциплинарных эмпирических исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Пермь, Россия | sikornienko@hse.ru

Мингалёв Виталий Викторович, старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин социально-гуманитарного факультета Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Пермь, Россия | vmingalev@hse.ru

Петрухин Владимир Яковлевич, доктор исторических наук, профессор Школы исторических наук факультета гуманитарных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», главный научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук, Москва, Россия | vpetrukhin@hse.ru

Рошак Станислав, prof. dr. hab., декан факультета гуманитарных наук Торуньского университета Николая Коперника, Польша | sroszak@umk.pl

Туторский Андрей Владимирович, кандидат исторических наук, доцент кафедры этнологии исторического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Россия | tutorski@mail.ru

Эрлих Сергей Эфроимович, доктор исторических наук, генеральный директор издательства «Нестор-История», Санкт-Петербург, Россия | ehrlich@mail.ru

CONTRIBUTORS

ANASTASIA BANSCHCHIKOVA, Candidate of Sciences (History), Deputy Director of the International Center of Anthropology at the Faculty of Humanities, USE University, Moscow, Russia | abanshchikova@hse.ru

EKATERINA BOLTUNOVA, Candidate of Sciences (History), Professor of the School of Philological Studies, Head of International Laboratory “Russia’s Regions in Historical Perspective”, Faculty of Humanities, HSE University, Moscow, Russia | ekboltunova@hse.ru

DMITRI BONDARENKO, Doctor of Sciences (History), Director of the International Center of Anthropology, Professor of the School of History, Faculty of Humanities, HSE University; Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia | dbondarenko@hse.ru

DMITRIY BOROVKOV, Candidate of Sciences (History), independent researcher, Moscow, Russia | brancalone85@mail.ru

MIKHAIL DOLBILOV, Candidate of Sciences (History), Associate Professor of the Department of History, University of Maryland – College Park, USA | dolbilov@umd.edu

SERGEY EHRLICH, Doctor of Sciences (History), “Nestor-History” Publishing House, St. Petersburg, Russia | ehrlich@mail.ru

DINARA GAGARINA, Candidate of Sciences (Pedagogy), Associate Professor of the Department of Humanities at the Faculty of Social Sciences and Humanities, Head of the Group for Historical Research of the Laboratory of Interdisciplinary Empirical Studies, HSE University, Perm, Russia | dagagarina@hse.ru

ILIANA ISMAKAEVA, Lecturer of the Department of Humanities at the Faculty of Social Sciences and Humanities, Research Assistant of the Group for Historical Research of the Laboratory of Interdisciplinary Empirical Studies, HSE University, Perm, Russia | idismakaeva@hse.ru

ANNA KIMERLING, Associate Professor of the Department of Humanities at the Faculty of Social Sciences and Humanities, HSE University, Perm, Russia | akimerling@hse.ru

VLADIMIR KOMAROV, Research Assistant of the Institute for Advanced Soviet and Post-Soviet Studies, HSE University, Moscow, Russia | vkomarov@hse.ru

SERGEI KORNIENKO, Professor of Sciences (History), Head and Professor of the Department of Humanities at the Faculty of Social Sciences and Humanities, Leading Research Fellow of the Group for Historical Research of the Laboratory of Interdisciplinary Empirical Research, HSE University, Perm, Russia | sikornienko@hse.ru

VITALIY MINGALEV, Senior Lecturer of the Department of History at the Faculty of Social Sciences and Humanities, HSE University, Perm, Russia | vmingalev@hse.ru

CONTRIBUTORS

VLADIMIR PETRUKHIN, Doctor of Sciences (History), Professor of the School of History at the Faculty of Humanities, HSE University; Senior Research Fellow at the Institute of Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia | vpetrukhin@hse.ru

STANISŁAW ROSZAK, Prof. dr hab., Dean of the Faculty of History, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland | sroszak@umk.pl

ANDREY TUTORSKI, Candidate of Sciences (History), Associate Professor of the Chair of Ethnology at the Faculty of History, Lomonosov Moscow State University, Russia | tutorski@mail.ru

PAUL WERTH, Ph.D., Professor of the Department of History, University of Nevada, Las Vegas, USA | werthp@unlv.nevada.edu

«History HSE» — рецензируемый научный журнал, публикующий материалы широкого спектра дисциплин, направлений и предметных полей исторической науки. Выходит с 2022 года в Школе исторических наук факультета гуманитарных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Периодичность — четыре раза в год.

Цель журнала — способствовать развитию научного исторического знания путем распространения результатов новаторских исследований и предоставления пространства для обмена мнениями между историками и специалистами из смежных научных областей. Публикации в журнале знакомят специалистов с новыми научными методами, стимулируют междисциплинарные, компаративные и глобальные исследования, соответствующие приоритетам НИУ ВШЭ.

Журнал также публикует рецензии на недавние исследования (монографии, коллективные монографии, сборники статей), учебную и справочную литературу, отзывы о состоявшихся научных мероприятиях. Материалы принимаются на русском или английском языках. Номера размещаются в открытом доступе на сайте журнала.

Правила подачи рукописей можно найти на сайте журнала: <https://history.hse.ru>

Адрес издателя:
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20,
тел. +7 (495) 772-95-90
hse@hse.ru

History HSE is a peer-reviewed quarterly academic journal that publishes academic texts on a range of historical disciplines, sub-disciplines, and subject fields since 2022. The journal was founded by the National Research University Higher School of Economics (HSE) and managed by the School of History at the HSE Faculty of Humanities.

The journal's mission is to advance the development of scholarly knowledge in history by disseminating the results of innovative research and providing a space for an exchange of opinions between historians and specialists from related disciplines and subjects. The articles published in the journal introduce specialists to new academic methods and stimulate interdisciplinary, comparative, and global studies that align with the HSE's priorities.

The journal also accepts reviews of recently issued studies (monographs, collective monographs, collections of articles, etc.), educational and reference books, and reports on recent academic events, e.g., conferences. *History HSE* is an open access online journal that publishes articles in English and Russian on the journal's website.

Submission guidelines are available at the journal's website: <https://history.hse.ru/en>

Publisher's address:
National Research University
Higher School of Economics
20 Myasnitskaya str., 101000 Moscow, Russia
Phone: +7 (495) 772-95-90
hse@hse.ru/en



Владимир Петрухин

Античная традиция и начало славянской историографии: юбилейные заметки

13–30

Станислав Рошак

Культура рукописи в шляхетской Речи Посполитой раннего Нового времени

44–60

Андрей Туторский

Равенство, индивидуализм, холизм: перспективы «дюмоновской» этнографии

61–81

PAUL W. WERTH

In the Flesh: The Grand Tour of Tsesarevich Alexander Nikolaevich in 1837

82–101

MIKHAIL DOLBILOV

A Courtier's Services near the Battlefield: Count Alexander Adlerberg as Empress Maria Aleksandrovna's Epistolary Confidant amid the Russo-Turkish War of 1877–1878

102–136